

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А  
Ш Е С Т А Я  
И Ю Н Ъ

---

М О С К В А  
4 . 9 . 2 . 9

Москва, Главлит А 39799

СТАТ — формат Б/5

Типография им. тов. И. И. Скворцова-Степанова. «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Москва

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр</i>
1. Н. ОГНЕВ. — Фабзяц и смерть, <i>рассказ</i> . . . . .	5
2. Михаил ПРИШВИН. — Журавлиная родина, <i>повесть</i> , про- должение . . . . .	28
3. Вл. ЛУГОВСКОЙ. — Кухня времени, <i>стихотворение</i> . . . . .	41
4. Ник. БЕРЕНДГОФ. — Гроза, <i>стихотворение</i> . . . . .	43
5. Георгий ШТОРМ. — Повесть смутного времени о Ивашке Болотникове, окончание . . . . .	44
6. Я. ШВЕДОВ. — Шторм, <i>стихотворение</i> . . . . .	80
7. А. ДОЛГИХ. — Неукротимость, <i>рассказ</i> . . . . .	81
8. Пантелеймон РОМАНОВ. — Яблоневый цвет, <i>рассказ</i> . . . . .	94
9. Мих. ГОЛОДНЫЙ. — Письмо, <i>стихотворение</i> . . . . .	103
10. Владимир КИРИЛЛОВ. — У Невы, <i>стихотворение</i> . . . . .	104
11. Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ. — Об отравлениях организма . . . . .	105

### ЛЮДИ И ФАКТЫ

12. Мих. НИКИТИН. — Ханнычар-река, <i>очерк</i> . . . . .	120
13. Лев АЛПАТОВ. — Нефть, <i>очерк</i> (с иллюстрациями) . . . . .	137
14. Борис АНИБАЛ. — На отдыхе, <i>очерк</i> . . . . .	148

### ЗА РУБЕЖОМ

15. OUTSIDER. — Итоги «разоружения» . . . . .	159
16. Эгон Эрвин КИШ. — За кулисами статуи Свободы, <i>письма из</i> <i>Америки</i> , продолжение . . . . .	169
17. Г. САНДОМИРСКИЙ. — Экзотический фашизм . . . . .	181

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

18. А. ЛЕЖНЕВ. — Молодежь о молодежи . . . . .	191
19. Н. ЗАМОШКИН. — «Личное и безличное» . . . . .	201
20. Арк. ГЛАГОЛЕВ. — Поэт-стеклящик (Е. Е. Нечаев) . . . . .	212
21. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Обзор стихов . . . . .	216
22. Ф. РОГИНСКАЯ. — Ткани будней (с иллюстрациями) . . . . .	220
23. П. МАРКОВ. — Из литературы о театре . . . . .	231

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С. БОРИСОВ. — Г. Рыклин «С подлинным верно» . . . . .	234
Анна ШАФИР. — Вл. Юрезанский «Костры» . . . . .	234

	Стр.
Ник. БОГОСЛОВСКИЙ. — Петр Жеребцов «Человек разных профессий» . . . . .	235
Борис ГРОССМАН. — Давид Хаит «Перепутье» . . . . .	235
Р. РОШ. — Михаил Джавахишвили «Хизаны Джако» . . . . .	236
И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Григорий Кац «Распахнувшийся мир». . . . .	237
Я. ФРИД. — Клод Мак-Кей «Домой в Харлем» . . . . .	237
Н. ЗАМОШКИН. — Н. Пиксанов «Творческая история» «Горя от ума» . . . . .	238
КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ . . . . .	240

## ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ

ЖУРНАЛА

# НОВЫЙ МИР

*Настоящая 6-я книга „Нового Мира“ является последней для годовых подписчиков „Нового Мира“, подписавшихся с рассрочкой платежа и уплативших только два первых взноса (5 р. 50 к.).*

*Во избежание перерыва в получении журнала „Новый Мир“, необходимо поспешить внесением очередного (третьего) взноса.*

*При посылке очередного взноса в Главную Контору „Известий ЦИК“ следует указать на отрезном купоне перевода точный адрес, по которому „Новый Мир“ получается.*

*Подписчики, уплатившие по своей подписке первые два взноса не Главной Конторе, а местному Отделению „Известий ЦИК“, почтовой конторе или контрагенту, должны внести третий очередной взнос только по месту своей первоначальной подписки.*

*Подписчики „Нового Мира“, срок подписки которых истекает первого июля, должны поспешить возобновлением подписки на ВТОРОЕ полугодие (июль—декабрь), так как в связи с бумажным кризисом очередные книги „Нового Мира“ будут печататься только соответственно поступившим предварительным заказам.*

**Главная Контора Издательства  
„ИЗВЕСТИЯ ЦИК СССР и ВЦИК“**



# Фабзаяц и смерть

Рассказ

(Из книги „Человек с пугачом“)

Н. ОГНЕВ

1

**П**аровоз яростно взревел, дернул вагоны, они застучали буферами, колеса заскрипели по рельсам, и на ступеньки последнего вагона вскочил кондуктор, зачем-то размахивая на бегу ненужным в яркое утро фонарем.

По платформе поплыл пыльный запахок дегтя, антрацитного дыма и нутряного вагонного тепла.

Кассирша поглядела вслед поезду, взвихрившейся пыли, попудрила нос и лениво, вперевалку, направилась в свою будку. На грязной деревянной платформе остались двое: высокий мужчина в клетчатой кепке, с фанерным баулом в руке, и Елена Андревна. Мужчина невнимательно глянул в сторону случайной спутницы, перепрыгнул серую сальную лужу и зашагал по неширокой и пыльной дороге прямо в наполненный солнцем, теплом и сочной летней зрелостью лес.

Елена Андревна, оставшись на платформе одна, растерянно осмотрелась, нерешительно подошла к окошку кассы и тихо в него постучала. Окошко было безмолвно; по его деревянному безглазому лику ползала синяя муха. Где-то вдали мягко рокотал, замирая, уходящий поезд. Женщина постучала громче. Окошко приподнялось на палец, и недовольный женский голос бросил:

— Билеты выдаются за полчаса до поезда... Вам куда?

— Нет, я не то, — заторопилась Елена Андревна. — Я спросить... Скажите, это тот самый полустанок, на котором находится загородная тюрьма?

— Как сами можете видеть, — ответил холодный и недружелюбный кассиршин голос, — никакой тюрьмы на полустанке не предвидится.

— То-есть, конечно, нет, — согласилась Елена Андревна. — Это здесь, вообще, поблизости... в окрестностях где-то... и как-то сокращенно называется, по-советски: исправдом, что ли.

Окошко хлопнуло и замолчало. Елена Андревна постучала еще раз, но безответно. Тогда она огляделась кругом, прошла до самого конца деревянного настила, спустилась на дорожку и медленно пошла в лес. Но едва добралась до первой березы, как где-то впереди, тут

же, близко, хлопнул выстрел. Елена Андревна качнулась в сторону, бросилась к березе и охватила руками ее ствол. Выстрел был тупой и короткий; надо было подождать повторения или крика или, может быть, каких-нибудь человеческих слов, но кругом была только покойная тишина летнего дня. Тогда Елена Андревна робко выглянула из-за березы и прошла несколько шагов по той же дорожке. Высокий кустарник кончился, и за ним обнаружился круглый деревянный киоск. Киоск этот был наглухо закрыт со всех сторон щитами, и только на конусе его крыши, под шпилем, блестела желто-красная реклама: «Папиросы «Здоровье» без вреда для здоровья»; в подтверждение этого изречения на рекламе курила папироску раскрашенная сытая бабища, томно и бессмысленно глазевшая на зрителя. На некотором расстоянии от киоска, в разных местах, были врыты в землю столы и скамейки. Ни одной из скамеек сидел давешний пассажир с баулом и барабанил пальцем по столу.

Елена Андревна подвинулась ближе, хотела что-то спросить, но внезапно киоск заходил ходуном, внутри его послышались глухие удары, и один из щитов, покачавшись, упал на землю. В образовавшейся дыре показался человек в грязной белой кепке и спросил:

— Кто стрелял здесь, а?

Не получив ответа и подозрительно глядя на женщину, человек в белой кепке перемахнул через прилавок, зашел в киоск, где довольно явственно и слышно исправил некоторую свою небольшую нужду, потом подошел к столику и спросил незнакомца:

— Это кто стрелял, а?

— Я стрелял, — спокойно и лениво ответил тот. — Дай нарзану, что ли, я хочу пить.

— Чего же это ты стрелял? — протирая глаза, спросил хозяин киоска. — Здесь женщины ходят, дети, а ты стреляешь?

— Тебя иначе не разбудишь. Дай нарзану, пить хочу! — Сдвинув клетчатую кепку на затылок, поджарый обнаружил пожилое породистое крупное лицо. — Проснуться не можешь, Чорт Мефодьич!.. Ты поколотишь башкой о дерево: помогает.

— Нет, ты не имей права здесь стрелять, — тянул свое хозяин киоска, обмахивая со столов мусор и ранний летний палый лист. — За стрельбу могут взгреть знаешь как... А кстати, и мне за компанию попреет...

— Скажите, пожалуйста, — решила, наконец, Елена Андревна. — Где здесь этот... исправдом находится? Обратиться совершенно не к кому, на станции кассирша разговаривать не хочет.

Хозяин киоска набрал в рот воды из бутылки, полил себе на руки и плюхнул лицо в горсти; вода брызнула в стороны, хозяин извлек из-за прилавка длинную грязную тряпку, тщательно вытер лицо и только тогда ответил:

— Сейчас там приему нет; все закрыто; рано. А вы чего: на свидание?

— Дашь ли ты мне нарзану, мизерррабль?! — взревел внезапно породистый посетитель так, что Елена Андревна вздрогнула опять как от выстрела; у нее была застарелая неврастения, и вздрагивала она от малейшего пустяка.

— Чего орешь? — спросил хозяин киоска, упершись тряпкой в бок. — Думаешь, тебя испугались, что ты орешь? Пришел, стреляет, орет... Тут гражданка пришла, ей справку дать надо, а он орет черной коровой. Ты не имей права орать: у меня еще не открыто. Я по закону должен открывать в девять часов утра... По за-ко-ну! А сейчас сколько? То-то и есть.

— А когда начинается там... прием? — спросила Елена Андревна. — Вы извините... спросить больше некого.

— Сейчас, гражданка, сейчас. Вы, мадамочка, может, присядете, — вопросительно уставился хозяин на Елену Андревну, и она с безразличием отметила мелькнувшее в его мутных глазах привычное в мужчинах оценивающее выражение. — Вы сразу не поймете, это объяснить надо, посидите чуток, я вот только сейчас этому безроговому... гражданину...

Ключом он вскрыл всячий замок на двери киоска, проник внутрь, достал бутылку нарзана, вернул штопор и, хлопнув пробкой, поставил вспенившийся нарзан на столик перед посетителем. Затем он присел перед Еленой Андревной и, внимательно глядя ей в глаза, спросил:

— Вам, явно, на свидание. Но только это сегодня не удастся. Сегодня не свидательный день. Это в четверг нужно приехать. Но, промежду прочим, позвольте узнать: с кем на свидание?

— А это есть... или должен быть тут... один заключенный, — с большим трудом выговорила Елена Андревна. — По делу о растрате... в банке. Я даже, собственно, не знаю, к чему он приговорен; я только что из Сибири.

— Фамилия? — деловито спросил хозяин киоска.

— А зачем вам моя фамилия? — насторожилась Елена Андревна.

— Да не ваша, а его, его фамилия, — воровато оглянувшись назад, сказал хозяин киоска.

— Да вам зачем? — уже враждебно глянула Елена Андревна; ей, уже многое испытавшей, усталой несколько от жизни, внезапно показались противными масляные, мутные, но какие-то ищущие глаза хозяина.

— Свидание сегодня же могу устроить, — пополз шопот в лицо Елены Андревны, и козырек грязной и белой кепки почти коснулся ее лица; но она не отодвинулась — нужным и дорогим показался ей этот человек в то мгновение. И она собралась сейчас же, быстро и шопотом, изложить все, что ей было нужно, но с отдаленного стола раздался резкий крик:

— Эй, ты! Мефодьич! Получай за нарзан!

Хозяин киоска вскочил, ласково шепнул: — сейчас — и побежал

к посетителю. Тот высыпал на ладонь мелочь, сошвырнул на столик две монетки, потом сунул руку в карман, порылся, вытащил черный какой-то предмет — и внезапно выстрел, направленный прямо в лицо Мефодьичу, хлопнул по лесу и отдался где-то за станцией.

— Что ты, чорт, что?.. — заорал Мефодьич, упав на четвереньки. Елена Андревна вскопчила; она и не замечала, что дрожала вся — мелкой, собачьей дрожью.

— Это тебе на чай, — сказал посетитель, надвинул на нос громадную клетчатую кепку, схватил баул и зашагал в лес; перед тем как скрыться обернулся и крикнул: — Шуток, сволочь, не понимаешь!

— Какие шутки? Какие шутки? — кричал ему вслед Мефодьич, отряхивая землю с колен. — Я тебе дам шутки; я на тебя подам! Иссволочил всего, живого места не осталось, и бацает прямо в рожу... задрыга несчастная!

— Вы не ранены? — слабым голосом спросила Елена Андревна. — Боже мой, что же это такое?

— Посмеет он ранить, — ворчливо ответил Мефодьич. — Тут раны не может быть, коли у него пугач... Ну, погоди, я ей богу все контролеру расскажу, это так не может остаться, безобразие какое...

— Да кто он такой? — истерически посмеиваясь, спросила Елена Андревна. — Вы напугались... сильно?

— Попробуй он, меня напугай! Я сам кого хошь напугаю! Я, брат, пуганый, мне наплевать! — разговаривал сам с собой Мефодьич, все еще очищая землю с брюк. — Я, если захочу, все его штуки раскрою!

— Какие штуки? — с любопытством спросила Елена Андревна. — Да и кто это такое, в самом деле? Оригинальный тип!

— Аригинальный! Я всю эту аригинальность из него выбью! Долой-неграмотщик, вот он кто. Но только я за ним много кой-чего знаю.

— Что же он, безграмотность ликвидирует?

— Ликвидирует он! Это его ликвидировать надо, а не то что... Раньше все фокусы показывал. Теперь пугач завел. Я еще ему покажу — стрелять прямо в морду... Да вы, дамочка, садитесь, я вам сейчас лимонаду открою. Такой симпатичный вы пупсик, и вдруг — такое безобразие...

— Ну, знаете, с пупсиками-то вы подальше, — опять устало ответила Елена Андревна. — Скажите мне прямо, где этот самый... исправдом находится, и я пойду.

— И не к чему. И рано. И ничего не добьетесь, — успокоительно и ласково усадил ее Мефодьич на скамейку. — Выпейте лимонадцу, а то вы, видать, в волнении. Можно сказать, такой приятный пупсик...

— Я же вам сказала: не смей называть меня пупсиком, — повелительно ответила Елена Андревна и тряхнула рыжими волосами; пыльный парусиновый колпачок она сняла уже раньше. — А то я сейчас же уйду.



— Не хотите — не буду, — согласился Мефодьич, откупорив лимонад, и, усевшись, учительно продолжал: — Наше дело — такое; наше взаимное дело, можно сказать, секретное. Свидание устроить можно, но нужно выяснить, кто такой, и верно ли находится у нас... то-есть, в этом исправдоме. Тут такая детальность есть, только вы не пугайтесь, такая подробность, что некоторые из этих банковских растратчиков приговорены к высшей мере... так не из них ли... Но все равно — все у нас. Все.

Где-то совсем близко, за деревьями, сердито рыча и сопя, шипя невидимым паром, медленно прошел паровоз. Потом как-то все сразу, по команде, зачирикали птицы. Солнце все ярче и пригожей проникло вглубь леса, стрелами огненных росчерков играя даже на грязных, невымытых столах.

— Вы, стало быть, служите в этой тюрьме, что ли?.. — слабо спросила Елена Андревна. — Впрочем, это все равно. Его фамилия — Лапинский. Ну, вот. К чему он приговорен?

— Из серьезных, — помолчал, сказал Мефодьич. — У нас. Может, пивка выпьете? Вчера свежее привезли. Только, дамочка, не нужно волноваться.

— Значит, к... высшей, — задохнувшись, поняла Елена Андревна. — Как же так? Мне говорили...

— Мало что вам говорили, дамочка, — услышала Елена Андревна шопотом над самым ухом; она уже давно ничего не видела; она закрыла глаза, и тепеь красное, багровое море плыло перед ней, покачиваясь. — Мало что; брехни много. Но свидание можно устроить... сегодня же вечером. Ежели вы, дамочка, согласны, то отвечайте.

— Да, я согласна, я... на все согласна... Сколько нужно заплатить?

— Лапинский, — задумчиво повторил Мефодьич и сел рядом с Еленой Андревной. — Ему изоляция строгая. Ну, через-строгая-строгая. Под двумя часовыми находится. Ежели считать каждому часовому по... три, скажем, рубля, да канцеляристу два, да помощнику придется сунуть, всего набежит... около полтора червяка.

— Послушайте, — сказала, открыв глаза, Елена Андревна. — У меня с собой, в сумочке, только десять рублей, червонец. Но я потом достану... достану... Видите, товарищ... он из-за другой растратил, не из-за меня, я в Сибири была в то время, но к ней я просить не пойду, я у родных выпрошу, только будьте добры, уж поверьте, я завтра привезу, вот честное слово, всем святым клянусь, только поверьте, только поверьте...

— Да я поверю, — радостно перебил ее страстный, задыхающийся шопот Мефодьича. — Я и им скажу, они до завтра подождут. Только вот какое дело: часовым — по три... или по четыре. Скажем, по три с полтиной, канцеляристу — три, помощнику — пять... а мне? Моя работа — тонкая, самая ажурная, можно сказать, работа. — Он придвинулся к ней совсем близко, осторожно обнял талию. — Я тоже бесплатно работать не согласен. — Елена Андревна вынула из су-

мочки деньги, положила на стол. — Ну, это так, это все ладно, — прерывисто сказал он и сгреб деньги в карман. — Ну, а вот мне за работу... мне...

Он тяжело и горячо дышал над самым ее ухом.

— Я деньгами взять не согласен, мне деньги нисколько не нужны, а если вот такая дамочка, приятненькая особочка согласилась бы со мной, так я бы все устроил, ууу-тю-тю-тю...

— Да как вы смеете, — порывисто вскопчила Елена Андревна. — Этого еще недоставало! Нахал вы этакий! Вы деньги взяли, и обязаны мне устроить свидание с Лапинским!

— А это еще неизвестно, как обязан, — сердито ответил Мефодьич, глотая слюни. — Как это такое вдруг — обязан? Деньги ваши — вот они. — Он выкинул смятый червонец на стол. — Пожалста, возьмите, никто не набивается.

Схватив веник, Мефодьич с яростью стал обметать столы; потом он прошел в киоск, громко там высморкался и, высунувшись из-за прилавка, сказал:

— А вы, дамочка, здесь не проедайтесь. Ежели желаете заказать лимонаду или сельтерской, то я подам, так и быть, хотя и закрыто. А так — около киоска околачиваться нельзя.

— Экий вы... скот, — с ненавистью сказала Елена Андревна. — Мерзавец вы. Вам названия нет.

— Как так нет названия, — уже весело ответил Мефодьич. — Кому нужно, тот найдет название. А вот вас я даже не знаю, кто вы такая.

— Ну, а если я... донесу, кому следует? — отчетливо выговаривая слова, спросила Елена Андревна. — Тогда что?

— А ничего. Да вы и не донесете, мадамочка. А почему не донесете — во-первых, уголовщина. А второе: где свидетели? Свидетелей нет. Мне-то скорей поверят... Приехала, скажут, и на честных людей доносит, а сама с уголовным растратчиком путается... Это еще — как бы вас не посадили.

— Что, в вас человеческого так ничего и не осталось? — Елена Андревна встала и подошла к прилавку. — Вы даже не понимаете, что вы животное.

— Ух, глазенки горячие! Сердитая дамочка! Да вы, пупсичек, не сердитесь, а? Без меня никакого вам свидания не разрешат. — Мефодьич помолчал, а потом, говоря словно сам с собой, протянул: — Кому высшую припаяли, тот как бы, знаете, уже и не человек. Его, может, сегодня ночью и в расход выведут. Торговаться то вам бы надо бы перестать бы.

— Слушайте... неужели... сегодня ночью? — заикаясь, спросила Елена Андревна. Она побледнела, качнулась. — Я... я не знаю, что...

— Ну вот, так и есть... эх, женский персонал! — укоризненно и быстро заговорил Мефодьич, выскочив из киоска и сажая Елену Андревну на скамейку. — Да ведь пошутил же я... Эх, дамочка, дамочка... Шуток не понимаете... Вот выпейте лимонадцу. Эх, вы...

Елена Андревна закрыла и снова открыла глаза: веселый и золотой лес сумеречно кружился в ее глазах; фужер с лимонадом безучастно стукнулся об ее зубы.

— Разве можно так? — суетился над ней Мефодьич. — Я, дамочка, теперь вспомнил: Лапинского вовсе не к высшей мере — Лапинского к десяти годам со строгой. А вы уж и в обморок. Да тех, которые к высшей, к нам и не привозят... У нас, поймите, исправдом, значит, — мы исправляем социальных граждан и становим их на путь... на путь... вообще, выводим на путь. Вы вот что слушайте, гражданочка: возьмите, дам я вам шоколад «Золотой ярлык», да вы не беспокойтесь, потом заплатите, и с этим шоколадом вы пройдите в парк. Парк у нас очень приятный, и вы там просидите время до вечера. Это время вы прокоробаете, и там будет состязание в футбол, — наша команда, знаменитая по всей железной дороге. А как вечер придет — вы появляйтесь и, как ни в чем не бывало, подходите ко мне; к вечеру все будет сделано. А что касаемо благодарности, то не извольте беспокоиться: для такого приятного пупсика всегда на все готов. Честь имею.

Елена Андревна восприняла все сказанное не слухом, а как-то всем омертвелым телом; механически поднялась, взяла шоколад и двинулась по указанному направлению; посторонний зритель подумал бы, что она тяжело больна: так медленно она передвигала ноги.

Мефодьич посмотрел ей вслед, протирая мокрые бутылки с пивом и выставляя их на солнце: некоторые посетители любили гретое пиво. Когда Елена Андревна скрылась за поворотом в лесу, Мефодьич сказал, обращаясь, вероятно, к самому себе:

— Не удалось — не надо. А то — еще и вправду не донесла бы.

## 2

Суетившийся больше всех капитан, он же центр-хавбек прибывшей на состязание команды, Горячкин успокоился только тогда, когда на поле послышался тревожный и прерывистый ревок спортивной сирены.

— Ну, ребята, вылетай, — пригласил он копавшихся над буцами и подтягивающих трусики игроков. — Только, чур, не ковать, и вообще — без дураков.

— Горячкин! Почему судья ихний? — спросил левый край Шурка Иконников. — Прошлый раз ихний был судья, и сегодня опять также.

— Он не ихний, а из коллегии судей, — успокоил Горячкин. — И ты, Шурка, не отспаривай судью: после можешь сделать заявление.

— Я не то, что оспаривать, а прямо в морду дам, если за них судить будет... Я знаю: он — ихний; он здесь живет и будет судить за них.

— Иконников! Чорт! Будь культурным! — сказал Горячкин. —

Какая же это культурная революция, если каждый норовит в морду?.. И себя и команду опозоришь, — вот что ты сделаешь, дьявол ты эдакий!

— А это культурная революция, когда не офсайт, а свистят офсайт? Или хендса нету, а тебе свистят пендель? Такого судью об ворота головой, — довольно спокойно рассуждал Иконников, но Горячкин знал, что достаточно малейшего повода, чтобы Иконников наделал делов; поэтому решил не спускать с него глаз.

Ребята один за другим стали выходить из караулки. Горячкин знал, что некоторые команды намеренно выбегают на поле сразу, как бы желая сорвать аплодисменты; но Горячкин этого не любил и называл «английским фасоном».

Посреди поля уже стоял судья — высокий и пожилой человек в большой клетчатой кепке. Изредка он посвистывал в сирену, подбрасывал мяч, сейчас же, впрочем, придерживая его ногой, и то и дело глядел на часы-браслетку. Хозяева поля тренировались у дальних ворот так, как это делают в ожидании матча все футболисты: поочередно становились в ворота и пытались отбивать крепкие шютты с близкого расстояния. Горячкин деловито оглядел поле, пробежался до противоположных ворот и вернулся к своим.

Левый край Шурка Иконников, выбежав на поле, сразу заметил, что кожаные ремешки на левом буце ослабли; но поправлять было уже некогда. Раздался свисток, мяч сразу пошел ко вражеским воротам, и Шурка, забыв все на свете, ощутил себя точной, внимательной и необыкновенно нужной частью своей команды, — команды, которая во что бы то ни стало сегодня должна победить. Но одним из обязательных условий победы — Шурка ощущал это всем напрягшимся телом — было то условие, чтобы мяч как можно чаще попадал в ноги именно к нему. Без этого условия победа была трудно достижима хотя бы потому, что наибольшее количество ошибок всегда делалось в центре и на правом фланге. Но, словно на зло, мячом пасовались средние форварда, и даже тогда, когда мяч красивым, но бессмысленным ударом отбил у самых ворот бек хозяев поля, — игра досталась опять средним форвардам и центр-хавбеку.

— Горячкин, пасуй, — ныл Иконников, бегая взад и вперед по каемке поля; ныл он потому, что команда строго-настрого постановила во время игры не кричать. Иконников же всем телом и даже буцами — что дальше, то больше — ощущал, что победа зависит только от него.

Игра то перекатывалась из центра на правый край, то отходила к защите, а Иконников все бегал и бегал без толку, внимательно и молитвенно следя за мячом. — Ну, мяч — ко мне, ко мне, — шептал Иконников, даже пригибаясь к земле, чтобы лучше разглядеть мяч, когда он терялся в ногах игроков. — Эх, Горячкин, мяч ко мне... — Но Горячкин, получив мяч и, видимо, не рассчитав удара, дал здоровенный шютт через головы форвардов в ворота хозяев поля. — На кипера работа-



ешь, Горячкин! — жалобно крикнул Иконников; и верно: как-то особенно изогнувшись, чужой голкипер с фасоном поймал мяч в руки и дал резкую свечу прямо на Иконникова. Какие-то пестрые люди вдоль поля захопали. Разогнавшись, как на стометровом финише, Иконников прыгнул; мяч пролетел над его головой и ляпнулся за чертой. Мальчишка махнул флагом. Шурка, тяжело дыша, остановился, схватил мяч, поданный мальчишкой и, изогнувшись, бросил в поле, в гущу своих. — Теперь ко мне, — шопотом сказал Иконников, но воздух резнула сирена. — Что такое? — удивленно обернулся Шурка; пожилой судья стоял рядом с ним.

— За что же штрафной? — удивленно спросил Иконников.

— Неправильно выбрасываете, — ответил судья.

— То-есть, как это: неправильно?

— Ноги нужно вместе.

— Такого правила нет: за них судишь, — злобно и громко сказал Иконников.

Судья свистнул штрафной; мяч опять пошел в центр, а оттуда — к воротам противника. Иконников плюнул, рассчитанно направив плевков в ноги судьи, но не попал; рысью пустился ко вражескому углу; но мяч, медленно катившийся навстречу, перехватил чужой хавбек и угнал его в центр. Иконникову положительно не везло. Присмотревшись, Шурка заметил, что судья ведет себя как-то странно: все время бегаёт за мячом, даже в самый разгар схватки, в самую гущу игроков. Другие судьи, которых видел на своем веку Иконников, поступали не так: обычно они вежливенько держались на краю поля и старались не замечать случайных хендсов и толчков. А этот все время лез в игру, словно желая принять в ней участие; то и дело свистел спорные — главным образом тогда, когда мяч попадал в него; а как мяч мог миновать судью, если судья все время вертелся около мяча?

И уже хотел крикнуть Иконников: — Долой судью, — как мяч с мягким звоном тюкнулся у самых ног. Шурка нежно и бережно тронул мяч вперед и повел его так, как мог водить только один Шурка во всей команде: мягко, толково, и вместе с тем — все время прорываясь вперед. Какие-то ноги набегали на мяч, но мяч, как живой, вьюном скользил в сторону. Вражеский защитник — здоровенный детина — надвинулся на Шурку, заслонил солнце и мир; но и его тяжелое дыхание осталось где-то в стороне — ненужное и неопасное; мяч послушно мотался туда, куда хотел Иконников; мяч и Иконников стали одним слитным существом и неудержимо устремлялись вперед к победе. Все поле поднялось, встало круглой зеленой воронкой, опрокинулось на Шурку дерном, голыми коленями, полосатыми майками. Но Шурка несколько раз повернулся на собственной оси, — и тотчас все ясно, отчетливо, просто стало на свои места: чужие ворота, голкипер в них, беспокойный и напряженный; линия аута, флажок на углу — вражеский корнер; а все остальное, мешающее мгновению — позади.

— Пас на центр! — донеслось откуда-то далеко, из другого мира.

— К чорту пас, шютт в ворота, — молча ответил Иконников — и точно, дал шютт. Удар был ясен: цель — правый угол ворот; нога не сорвалась — Иконников замер, следя за полетом; на миг мелькнула нелепая, распятая в воздухе, фигура голкипера, — и сирена прорезала воздух...

— Аут, — облегченно вздохнул кто-то чужой над ухом.

— Ну, как тебе давать? — с укоризной крикнул Горячкин. — Нужно пасовать, а ты шутуешь! Коллектив нужно помнить, Иконников!

Шурка смущенно, стараясь не слушать, бежал к середине поля; судья расставил длинные ноги и, казалось, всем телом насмеялся над Шуркой и его неудачей. — За них судишь, сволочь, — с внезапной злобой подумал Шурка, но додумать не успел: впереди него мелькнул мяч и, с силой шлепнувшись об землю, подскочил выше роста. Иконников прыгнул, стараясь достать головой, но в момент прыжка что-то ударило по внутренностям так, что Иконников только охнул; и, уже лежа на земле, увидел подметку чужого буца, пронесшуюся над самыми глазами.

— Толчок, сшибают, — крикнул Иконников, но никто, а главное судья, не обратил внимания. Шурка побегал опять по левой камерке, стараясь сосредоточиться на мяче; но ему уже казалось, что после первой неудачи победы не будет — тем более, что мяч мотался снова где-то в центре и у своих ворот. Сирена свиристела все чаще и чаще; игра то и дело останавливалась.

— Долой судью! — крикнул кто-то за чертой, вне того мира, в котором бегал потный Иконников. — Ага, заметили, — злорадно отметилось в сознании. Но уже мяч, пущенный точным ударом, мягко покатился впереди, к самой линейке; Иконников рванулся вперед, отсекая холодноватый воздух и, поймав мяч, сейчас же паснул в центр. Горячкин передал мяч центр-форварду, а тот датским ударом вновь послал Иконникову. — Вот, сейчас, — закипело во всем теле. — Добежать бы до корнера... — Но маленький чужой хавбек метнулся между Иконниковым и мячом. Чтобы не потерять мяча, Шурка опять паснул в центр; игра быстро подвигалась к чужим воротам. Со страшного разбега Иконников догнал мяч у самого аута; и, шмурыгнув левой ногой по дерну, изо всей силы двинул по мячу. Мяч взвился и повис над воротами. Иконников успел заметить, как, опередя форвардов, кошачьим прыжком взлетел к мячу Горячкин; но тут же под ноги Шурке упало тяжелое тело; нелепо распятились толстые ноги в гетрах — и воздух прорезала торжествующая сирена.

— Гол! — радостно крикнул Иконников.

— Офсайт! — ответил судья, поднимаясь с земли. — Я нарочно упал на землю, чтобы точнее определить офсайт.

— Гол! Гол! — кричали мальчишки за чертой. — Один на ноль!

Судья степенной походкой подошел к чужому голкиперу, взял мяч из его рук и положил на одиннадцатиметровую линию: это означало штрафной удар Шуркиной команде.

— Неправильно! — закричал Горячкин. — Не было офсайта!

— Можете обжаловать в коллегию, — спокойно ответил судья и дал свисток. Мяч полетел куда-то далеко, за середину.

— На землю падает, фасон, — злобно крикнул Иконников судье. — Не было офсайта — гол! У нас офсайты не считаются!

— Конечно, не было, — на бегу поддержал левый средний, Коркин. — Станный какой-то судья...

— Не странный, а за них судит, — хотел сказать, но не договорил Шурка: мяч летел прямо на него, и пришлось принять грудью; но грудной удар Шурка знал в совершенстве: мяч мягко упал на землю тут же, у самых ног. Торжествуя, Иконников тронул мяч, уводя на край. Но опять в слух вошел неприятный ревок сирены.

— Что такое? — спросил Иконников, резко остановившись.

— Хендс, — подбегая, ответил судья.

— У кого хендс?

— У вас хендс, — сказал судья, поймав мяч. — Вы рукой задели.

— Я грудью принял — хендса не было! — крикнул, как ему казалось, на все поле Шурка.

Но уже к мячу бежал чужой форвард — бить штрафной.

— Когда хендс — пусть будет по-настоящему хендс, — размахиваясь и чувствуя слабость в теле, сказал Иконников; судья большими оловянными глазами вопросительно глядел на Шурку. — Сейчас вот врежу в моррду, — с ненавистью продолжал Шурка, но тут в уши вошел настойчивый, повелительный крик:

— Икон-ни-каф! И-кон-ник-каф!!

Между Шуркой и судьей встал Горячкин; крупные капельки пота мутнели на голой его груди.

— Будешь? — спросил Горячкин.

— К чорту! — буркнул Шурка, отходя.

Замершая на минуту игра пошла снова; но игрокам было уже ясно, что благополучно дело не кончится. Поэтому мяч летал все быстрее и ожесточенней. Все знали, что до перерыва остается уже немного. Горячкин с беспокойством, урывками, видел, что Шурка Иконников бегаёт нехотя, почти не следит за мячом; и даже тогда, когда — единственный раз — Шурка взял мяч, то не стал его водить, а бешеным шюттом послал прямо в аут, на целый метр от ворот.

— Плохо дело, — решил Горячкин и на бегу приблизился к Иконникову, чтобы бросить ему несколько слов, предостеречь, ободрить... Но тут-то и произошло неожиданное.

Небольшой парнишка в одних трусиках, из тех школьников, что все летнее время околачиваются на футбольном поле, держал в руках старый, ободранный тренировочный мяч. Сидя в канавке у самой каемки поля, парнишка этот, как видно, заскучал и захотел подшутить. Как раз в тот момент, когда Шурка Иконников немного отошел, принял мяч и повел его левой каемкой — повел уверенно, решительно и успешно, — из канавки навстречу Шурке выкатился другой мяч —

зацепился за ремешок буца и запутался у разбежавшегося Шурки в ногах. Шурка споткнулся и упал. Тотчас же вскочив, он рывком слетел в канавку, — и из канавки на все поле раздался оголтелый мальчишечий визг. А с поля в ответ донеслась прерывистая сирена; игра остановилась; со всех сторон к левой каемке бежали игроки.

— Что такое? Что? — Мальчишку избил? — Безобразия, некультурность! — А он зачем мячи подбрасывает?

— Исключить, — твердо сказал голос Горячкина, и Шурка поднял глаза. Перед ним тесным кольцом стояли игроки, глядели на него — кто сочувственно, кто — осуждающе. Но, конечно, самое важное был — Горячкин. И это именно он сказал: исключить.

— Да, дис-квали-фи-ци-рую, — медленно и важно произнес судья. — Фамилия — Иконников? Товарищ Иконников, вы исключаетесь до конца игры.

— Вали-вали, тебе везет, — ответил Коркин судье, и у Шурки на мгновение пошла горячая волна по телу, но только на мгновение: игроки уже отбегали к своим местам, и мяч, пущенный в воздух сиреной, быстро пошел к воротам Шуркиной команды.

— Теперь-то забьют! — сказал чей-то уверенный голос над самым Шуркиным ухом.

— Еще бы, без игрока, — усмехнувшись, ответил другой. — Гляди, гляди, к самым воротам подвели...

Ощущение стыда и поражения, владевшее Шуркой, мало-по-малу остывало. Он поднял глаза: верно, команда осела к воротам, сгрудилась в кучу и делала отчаянные попытки отвести мяч на середину. Вражеские беки нахально подошли к центральной черте. Даже чужой голкипер вылез из ворот и прохаживался по одиннадцатиметровой, шлепая одной перчаткой о другую. Шурка встал, пытаясь всмотреться в пеструю волну игроков. Мяч взвился на мгновение и пропал; воздух опять резнула сирена.

— Долой судью! — явственно раздалось с поля.

— Долой!

— Долой!

Но судья, непрерывно давая сигналы сиреной, уже шел с поля. Было ясно, что хавтайм кончился. Судья, тяжело дыша, уселся на скамейке, рядом с Шуркой Иконниковым.

И Шуркина и вражеская команда сошлись у ворот и что-то обсуждали.

— Ноль на ноль? — спросил судью побитый Шуркой мальчишка.

— Отстань, — ответил судья, обтирая пот на лице ярко-белым платком. — Вот, вы не поверите, — обратился судья внезапно к сидевшей рядом с ним незнакомой женщине. — Не поверите, насколько разнится современный футбол от старого, довоенного... Я помню Британский Клуб Спорта, Бэкаэс. Его ожесточенным противником была Мамонтовка. Поздней всех побили морозовцы, но ореол Бэкаэс держался очень долго, до самой войны...



— Тогда и пасовать не умели, — угрюмо перебил Шурка.

— Как так пасовать не умели? — удивился судья. — Пасовали так, что куда теперешним! Я помню одно состязание с датчанами...

— Тогда буржуазия только в футбол играла, потому что нужно было сто рублей вносить, — опять настойчиво перебил Шурка.

— Не сто, а только десять, — поправил судья. — Вы напрасно на меня сердитесь, молодой человек: по правилам игры я был обязан нас исключить.

— Я ничего, а вот зачем вы за них судите? — спросил Шурка, ненавидя в этот момент и судью, и его клетчатую кепку, и крупный белый нос. — Таких судей об ворота головой...

— Вот и это, рукоприкладство, — обращаясь к женщине, ответил судья. — Не было этого рукоприкладства в дореволюционные времена, это уж извините. Я не запомню ни одного такого случая... Игра велась благородно. И вполне понятно: соблюдались правила, потому что во всем примером был Британский Клуб Спорта...

Футболисты молчаливой толпой двинулись от ворот прямо по направлению к Шурке Иконникову. И вновь жгучее ощущение стыда и поражения охватило Шурку. — Сейчас об'явят, — мелькало в его голове. — На весь сезон, как миленького... Не имеют права, — слабо сопротивлялось что-то внутри Шурки. — Какое там право: возьмут — и об'явят...

— Товарищ судья! — громко и торжественно сказал капитан чужой команды — высокий и тощий игрок; он и Горячкин подошли и стали у самой скамейки, где сидел судья. Остальные футболисты расположились вокруг. — Товарищ судья! Тут вышло такое дело... Игроки чужие, да и наши тоже... вами недовольны. А потом — у них исключен один игрок... левый край Иконников. Так вот, мы решили... постановили... Не можете ли вы — дальше не судить, второй хавтайм, то-есть?

— Как это дальше не судить? — иронически спросил судья. — Кто же будет судить? Без судьи, что ли? И почему это меня устраниют?

— Неправильно, не по-нашему судите — видимо, волнуясь, продолжал чужой капитан. — Офсайты свистите... и прочее. Хендсы на каждом шагу. Так вот.

— Действительно: так вот, — озираясь, словно ища сочувствия, сказал судья, и на его лице явственно выступили розовые пятна. — Но ведь я от коллегии? С этим-то вы должны считаться?

— Это неизвестно, как коллегия посмотрит, — прерывисто ответил чужой капитан. Мы... вот, товарищ Горячкин и я... да и обе команды... мы свидетели. Впрочем, если вы не доведете до коллегии, то и мы согласны молчать. А вы присмотритесь, как наш будет судить...

— Кто это: ваш? — выкрикнул судья и встал.

— А мы для уравнивания... тоже левого края снимаем, он и будет судить. Так что вы уж отдайте ему сирену, а если можно — часы одолжите. Это ровно будет: десять на десять, по справедливости.

— Чорт знает что такое, — бормотал судья, снимая часы-браслетку. — В первый раз в жизни... Нате вам часы, мне часов не жалко... Но насчет коллегии я обдумую. Это так не может остаться!

— Как хотите, — вежливо и сочувственно ответил чужой капитан. — Это ваше дело. Колька, бери часы и сирену... Да смотри: суди по всем правилам...

Маленький коренастый футболист взял сирену и напялил на руку часы. Молча и несколько смущенно игроки пошли обратно, на поле.

— А это — было? — спросил Шурка Иконников судью.

— Что: это?

— А вот так, чтобы своего игрока снять, если у противника один исключен? Это в Бекаесе вашем — было?

Судья молчал. Шурка, словно с его плеч сняли какую-то громадную каменную тяжесть, встал и закрутил в воздухе руками. — Ничего не значит, сегодня вечером тренировка, наиграюсь... — успокоил он себя — и побежал-было к воротам, чтобы успеть постучать в перерыве. Но судья вдруг крикнул вслед Шурке:

— Эй, вы... как вас там: Иконников, что ли?

— Ну да, Иконников!

— Таких вещей ни в Британском, ни в Морозовском ни в Сокольническом не было. Поймите, что это глупо — снимать игрока, когда есть шансы на победу!

Судья кричал еще что-то, но Шурка уже бежал к воротам, крича во все горло:

— Пас... Пас сюда!

Когда новый судья дал свисток к началу игры, Шурка внезапно вспомнил, что резолюция еще не написана. Шурка сбегал в караулку, достал бумагу и карандаш и, воротившись, принялся сочинять резолюцию.

Судья, сидевший все на той же скамейке, пытался несколько раз заговорить с соседкой, но она не отвечала. Стремясь вовлечь ее в разговор, чтобы отвести душу, судья оказал соседке даже небольшую услугу; так, пустяки: поднял и подал ей выпавший из ее рук шоколад «Золотой ярлык». Но соседка продолжала молчать и, казалось, следить за футболом. Тогда судья увидел под елкой Шурку Иконникова.

— А, вы здесь, — иронически молвил судья. — Стихи сочиняете? Шурка молчал.

— Прежде было немного поэтов, но они были настоящие поэты: Бальмонт, Брюсов, Бунин... — меланхолически продолжал судья. — Перед самой войной появился Северянин, но ведь у него, собственно, какая-то парикмахерская поэзия. Саша Черный был... Гумилев... А теперь — что? В одной Москве, говорят, восемь тысяч поэтов. Сам я их... фабрикатов не читаю, но — воображаю себе! За вкус, как говорится, не ручаюсь, а чтобы горячо было подано.

— Не читаешь, а критикуешь, — оторвал Шурка.

— Да разве возможно прочесть стихи восьми тысяч поэтов? —

обрадовался судья. — Это мозги свихнешь! Вы, молодой человек, поймите. Сейчас перед нами, по правилам ассоциации, происходит игра в футбол. Играют десять на десять, но ведь это случайно, должны были бы играть одиннадцать на одиннадцать...

— Сам исключил!

— Да, но я должен был исключить. Не в этом дело. Вообразите себе, что вместо этих двадцати двух игроков на поле вышли бы все желающие постучать по мячу, включая мальчишек. Ведь это не футбол бы вышел, а свалка.

— Стенка.

— Я не знаю ваших технических терминов, я просто говорю, что получилось бы безобразие. Также и с вашими восемью тысячами поэтов.

— Это все буржуйская хреновина, — ответил, подумав, Шурка. — На все предвидится организация. Места много, команд можно устроить хоть сто тыщ. Играй и не мешай другим.

— Прекрасно, это с командами. А с поэтами — как быть? Их тоже сорганизовать в команды?

— Не знаю, как быть. На это есть лит-кружки. Я этим не интересуюсь.

— Так-таки — совсем не интересуетесь? Жаль! И ни одного стихотворения не знаете?

— Не знаю, как быть. На это есть лит-кружки. Я этим не интерес из газетки списал.

— Какой же стишок? Прочтите, это интересно. — Судья подвинулся ближе и заглянул в блокнот.

— Ты не заглядывай, — враждебно сказал Шурка, стесняясь дочерка. — Я и так прочту. Вот:

*Со старым миром кончено,  
Заброшен он на свалку...  
Но так же все настойчиво,  
Настойчиво, настойчиво  
Сует свою шпаргалку.*

— Ну, — протянул судья. — Гражданский мотивчик! Я думал, что-нибудь про любовь...

Внезапно и резко соседка судьи повернулась к нему:

— Вы думали: про любовь!.. Когда я была молодой девушкой, нам только и делали, что пели про любовь... ваши поэты. И что же вышло? Эта ваша любовь только жизнь мне исковеркала, вот что! Я думала найти светлую радость... как в стихах... А оказалось — грязь, ужас, холод, могила всякой поэзии... Стыдно вам, пожилому человеку, учить молодежь писать про любовь!

— Позвольте, сударыня, я... — смутился судья. — Я и не учу.

Но соседка снова отвернулась. Шурка Иконников привстал, всмотрелся в мотающуюся по полю волну игроков и вдруг со злостью швырнул блокнот о землю.

— Конечно, вам досадно, — сочувственно сказал судья. — Но, повидимому, будет ничья. Ни та, ни другая сторона не может взять верх.

— Да не в том дело, — досадливо ответил Шурка. — Раз вышибли — пусть и играют, как хотят без меня. Это у меня резолюция не выходит...

— Ах, резолюция не выходит? — опять радостно встрепенулся судья. — Что же вы мне, дорогой товарищ, с самого начала не сказали, чудака вы человек?!

— А чем ты мне помощь можешь дать?

— Проще простого, — судья поднялся со скамейки. — Пойдемте ко мне в киоск, и ваша резолюция будет у вас в кармане. А здесь нам обоим все равно делать нечего.

— Чудно чтой-то... Ну — ничего, пойдем.

### 3

Киоск с надписью «Долой неграмотность» был заперт. Судья обошел кругом киоска, подозрительно трогая пальцем щиты, потом вдруг вытащил револьвер, поднял руку вверх и хлопнул в воздух.

— Это зачем же? — строго спросил Шурка.

— Не бойтесь, дорогой товарищ, просто пугач, — отмыкая киоск, сказал судья. — Держу вообще от воров и от одного соседа, который шуток не понимает. Входите.

Шурка втиснулся внутрь киоска и сел на кипы газет. Судья зажег маленькую керосиновую лампочку — сразу запахло копотью — и извлек засаленный листок бумаги.

— Вот, — самодовольно разгладил бумагу судья. — Многие пользовались. Резолюция на все случаи жизни. Годится для какого хотите собрания. У вас, собственно, какое предстоит собрание?

— Фабзайцы, — хмуро ответил Шурка. — А собрание по поводу, во-первых, мастера, что очень грубый, и еще насчет поднятия производительности. Потом броня не соблюдается.

— Ага, не соблюдается. Есть! Сейчас сделаем. Записывайте. «Имея в виду международное наступление капитализма и сплочение пролетарских масс для отпора зарвавшихся акул и хищников империализма, а также принимая во внимание внутреннюю конъюнктуру... конъюнктуру...». Что же вы не записываете?

— А при чем международное положение?

— Обязательно! Всенепременно, дорогой товарищ!! Как же так? Всегда обязательно сначала международное, потом внутреннее, а потом переход к очередным делам.

— Ни к чему это, — вяло сказал Шурка.

— Как ни к чему? — обиделся судья. — Очень к чему, чрезвычайно к чему... Им обязательно нужно международное, они без этого не могут...

— Кому это такое: им?

— А вообще, всем... товарищам. Ну, так вот, пишите. «Имея в виду международное наступление...» Да вы что вскочили?

— Не годится.

— Почему не годится?

— Ну его, — тоскливо ответил Шурка. — Сам напишу... Я пойду. Пить мне хочется.

— Пить — это пивная тут за поворотом, такой же киоск, как мой. А только напрасно вы это. Ни одного случая не было, чтобы отказывались... Два года все пользуются. Только одно и приходится менять: раньше было: «на девятом году революции»; ну, а сейчас вместо: «на девятом» — «на одиннадцатом». Из города приезжают...

Шурка махнул рукой, выскочил из киоска и легкой пробежкой двинулся по дороге. Розовые верхушки деревьев струились в прохладное небо. Придорожные елки, смутнея, прятались в сырые глубины парка. За поворотом Шурку встретил неясный гул многих голосов, отдельные выкрики, писк губной гармошки.

Под деревьями, на столиках, толпились пивные бутылки. За столиками — тесно, плечом к плечу, сидели одинаково темные в сумерках люди. Подбежав, Шурка огляделся: сесть было негде, Шурка решил выпить пива у стойки. Но, уже поднеся стакан к губам, осмотрелся: шум был необычен, приподнят, и люди за столиками как-то уж слишком быстро вливали в себя пиво, словно боясь опоздать. Со всех сторон стучали, требуя еще пива, и заматавшийся пивник, носясь с бутылками то в киоск, то к столикам, еле успевал обтирать фартуком потное лицо.

— Мефодьич, гони еще полдюжины! — то и дело стучали за столами. — И сюда тоже! И нам полдюжины! Мефодьич, чего копаешься!

— Да счас, счас, — отвечал пивник, на лету дергая пробки из бутылок. — Только моя программа — деньги вперед!.. Без денег не отпускаю!

— Что, на поезд торопятся? — спросил Шурка пивника.

— Ка-кой на поезд! Небось, не опоздают! Они к закрытию ворот торопятся, — таинственно подмигнув, бросил на бегу Мефодьич. Шурка степенно налил в фужер пива — и вежливо отодвинулся: к стойке подошла та самая рыжеволосая женщина, которую Шурка видел у футбола, и, оглядевшись, спросила:

— А хозяин где?

— Да вот он я, вот он, — вынырнул перед стойкой Мефодьич. — Ах, это вы, мадамочка! Очень приятно... Вы утром на столе червончик забыли, позвольте вам вручить...

— А свидание?

— Вы, кажется, гражданина Лапинского хотели видеть? Счас! Гражданин Лапинский, дамочка хотят вас видеть! Лапинский! Гррражданин Лапинский!

Но к стойке уже шел, поднявшись с дальнего стола и удивленно разведя короткие руки, полный, приземистый человек в очках. Еще не успел он подойти к женщине, как Мефодыч суетливо выдвинул из-за киоска качающийся столик и три табуретки.

— Садитесь, граждане, здесь. Вам покойно будет. И вы, молодой человек, чем стоять так-то... — Шурка взял свою бутылку, сел. — От хорошо! Поезд еще только через полчаса.

— Елена, — шептал Лапинский, взяв женщину за руки. — Елена, я потрясен! Откуда ты? Как? Это невероятно.

— Но ты, — судорожно смеясь, ответила женщина. — Ты-то... Ведь ты на свободе, Андрюша?.. Как же это?

— Ну-у-у, положим, что не совсем на свободе, — усаживая ее, ответил Лапинский. — Это нас только по круговой поруке выпускают... через воскресенье. Убежит один — все отвечают. Так что — не бегут. Но ты-то, ты... Как ты нашла?

— Значит, тебя.. не к высшей, — не слушая, соображала женщина. — А он сказал — со строгой... изоляцией?

— Кто сказал?

— А вот... хозяин этой пивной.

— Ну, он шутник известный!

— Шутник! Он знаешь с чем ко мне пристал?

— А, пустяки, пустяки, — быстро перебил Лапинский и нагнулся к ней. — Он, знаешь, Елена... Он в долг верит. А без этого — трудно...

— Я... понимаю. Но как же все это случилось? Я была так поражена... Я бросила все: и работу и Котика... и прямо из Сибири прикатила сюда...

— Ну, как Котик? Растет? Здоров? — прихлебывая пиво, торопливо спрашивал Лапинский. — Меня-то он помнит?

— Представь себе — помнит! — радостно воскликнула Елена Андревна, но тут же, искоса взглянув на Шурку, смутилась, понизила голос до шопота: — «Басой папа» — говорит. Басой вместо большой.

— Сам-то он, верно, стал большой?

— Ну, еще бы: четыре года. Но как же ты, как? И вообще, что случилось?

— Елена! — торжественно и глухо сказал Лапинский, взяв себя за лацканы грязного пиджака. — Елена. Я не негодяй. Нет, никогда. Я был вовлечен... понимаешь, вовлечен. Я не растратил ни одной государственной копейки. Я спец, но я честный спец! — Лапинский покоился на Шурку. — Я не продаю своей чести. Нет! Я не негодяй.

— Но... сколько же тебе... лет?

— То-есть, ты спрашиваешь, к чему меня приговорили. Мне припаяли, — прости мне это выражение, — десять лет. Но уже самый факт перевода сюда доказывает успешность моего прохождения тюремного стажа. Видишь, в наш исправдом переводят только тех, кто подает надежды на быстрое исправление. Очевидно, я исправляюсь... — Лапинский горько усмехнулся. — Хотя... от чего мне исправляться?

В сущности, я жертва судебной ошибки. Но почему ты не пьешь пива, Елена? Меня ты прости, я еще закажу... пить, знаешь, хочется; кроме того, мы целый день мнем глину для кирпичей... так что жажда.

— Я уже пила, спасибо. Андрюша, скажи, чего тебе здесь нужно? Я достану, привезу...

— Мерси, Леночка, мне ничего не нужно. Впрочем... Нет, нет. Откуда ты достанешь?

— Но что? Что?

— Помолчим, — снова взглянул на Шурку Лапинский. — Это не к спеху.

Приникнув к Лапинскому, Елена Андревна что-то вложила в его руку. Тот взглянул, засмеялся, покачал головой, сказал: — Нет, нет, — и сунул руку в карман. За столами становилось все шумней и шумней. Шум толкался о темные стволы деревьев, взвивался кверху, куда-то в таинственную гущу ветвей — и падал снова на столы, раскалываясь грохотом разговоров, звоном бутылок, стаканов, тарелок, стуком кулаков о столы.

— Грраждане, Главковерх явился! — Крик вошел в общий шум, еще более расколотив его на отдельные возгласы, ругательства, рукоплескания.

— Главковерх, — замечательно! — совсем уже другим голосом воскликнул Лапинский. — Елена, смотри, это что-нибудь особенное, как выражается Мефодьич... Хо-хо-хо! Ты удачно попала! Тебе будет весело, как никогда в жизни...

— Пьянствуете, мизеррабли?! — раздался звучный голос над столами, и Шурка, взглядевшись в сумерки, узнал футбольного судью все в той же большой клетчатой кепке. — Празднуете мимолетную свободу? Спешите, пока за вами не замкнулись двери узилища? Мефодьич, пива, — и сразу две бутылки! Я сегодня оскорблен, и оскорблен дважды!

— Ха-ха-ха! — заливался Лапинский. — Он оскорблен! Это целое представление... Елена, смотри, а главное, слушай внимательней!

— Я, должно быть, устала: не понимаю, что тут веселого, — уныло ответила Елена Андревна. — Просто пьяный шут какой-то... Лучше ты расскажи про себя...

— Если ты устала, почему другие должны страдать? — внезапно раздражился Лапинский. — Вечно твои капризы... Пойми: ведь это наше единственное развлечение...

— Мефодьич — пива! — повторил судья. — Не слышишь, гном!

— Пива тебе сегодня не будет, — угрюмо ответил Мефодьич из киоска. — Ругается, иссволочил всего, бацает прямо в рожу, и пива ему еще давай!

— Не хочешь — не надо, меня угостят... Кто угощает, мизеррабли? Теперь я трижды оскорблен — и ищу сочувствия. Готовы ли вы отвечать, рпрокамболи?!

Последнее слово пророкотало так густо и забористо, что Шурке внезапно захотелось кричать, петь, хохотать:

— Готовы, — крикнул он вместе со всеми. — Готовы, готовы!

— Прекрасно... — Судья схватил с чьего-то стола бутылку, хлебнул из нее, кашлянул и пропел сочным, красивым баритоном:

— Как жи-ве-те?

— Наплевать! — рывкнул нестройный разноголосый хор.

— Глину мне-те? — продолжал судья.

— Наплевать!!

— Когда выйдете на волю...

— Наплевать!!!

— То меня примите в долю!

— Наплевать! Наплевать! — орал Шурка вместе со всеми, приходя мало-по-малу в нелепо веселое состояние. — И еще раз наплевать.

— Ну, и что же из этого следует? — будничным голосом спросил судья. — Из этого следует, что все вы — самые обыкновенные наплевисты, с чем вас и поздравляю!

— Сюда, сюда, место есть, — засуетились в темноте. — Милости просим, Главковерх Иваныч...

— Ну, мне пора, — встала с места Елена Андревна. — Должно быть, поезд сейчас будет... А я еще не устроилась с квартирой; придется ночевать у сестры... Ты меня не проводишь на станцию, Андрюша?

— Да погоди же, Элен, — переводя дух после очередного фужера, возразил Лапинский. — Куда торопиться? В кои-то веки пришлось увидеться, а ты... Эй, Мефодьич, смени посуду!.. Погоди, Леночка, сейчас еще веселей будет!

— Не могу я, здесь и воздух весь в пиве, — с отчаянием ответила Елена Андревна, — здесь дышать нечем, я так устала, и мне, Андрюша, совсем не весело... Так проводи, милый, — повторила она настойчиво.

— Но, пойми же, Елена, что скоро — конец, — затряс Лапинский лацканы пиджака. — Еще какие-нибудь четверть часа — и... хабен зи гевезен в кутузку. Ведь здесь каждой секундой нужно пользоваться. И мы увидимся же, в конце концов... Ведь ты придешь, да?

— Хабен зи гевезен... Скоро конец... Увидимся... — механически посмеиваясь, повторила Елена Андревна. — Да, да, конечно... А я хотела тебе сказать... Ну, все равно...

Она резко повернулась, пошла. Лапинский встал и дико посмотрел ей вслед; его очки, зловеще блеснув, погасли: это на полустанке зажглись огоньки. Мефодьич вынес из киоска фонарь и пристроил его на березу. Тьма стала сразу густой и непроницаемой. Шурке захотелось теплой человеческой общительности, душевного разговора, сердечных излияний. Он напряженно подумал и спросил:

— Это что же? Все из исправдома?

— Что вы... Ах, да, конечно, — ответил Лапинский. — Да-да... Да-да... Большинство оттуда.

— А за что сидят?



— За разное... Восемьдесят процентов — по делам о растратах, а остальные... по разным другим делам. Не хотите ли со мной пива выпить? Мефодьич! Где ты провалился? Гони еще полдюжины! Да знаю, знаю твою программу... Вот червонец; и за старое получи, и нарежь четверочку копченой, потоньше...

— И всех выпускают?

— Ну... далеко не всех. А вы что, репортер, что ли?

— Я — фабзаяц: Гуляете, значит?

— Гуляем... раз в два месяца. Но к чорту! Все к чорту!! Она еще придет, и не раз! Веселиться надо! Главковерх! Где Главковерх?

Лапинский ухватил по две бутылки в каждую руку и, качнувшись, пропал. Шурка поднялся было за ним, но сел опять, тщательно вглядываясь в темноту, разрываемую нестройным ревом. Откуда-то из глубин парка надвинулась холодная пустая сырость и легла прямо на Шуркино сердце. И сердце послушно заныло; в первый раз в жизни ощутил себя Шурка лишним, выброшенным, никчемным. Ему захотелось убежать в поле, лечь лицом книзу на землю и заплакать так, чтобы могла это услышать только земля.

Но, должно быть, пришел какой-то конец всему этому шуму, веселью, хохоту: сразу, словно по свистку сирены, люди стали вставать из-за столиков; проходя мимо Шурки, они задевали его локтями, пиджаками, неровными движениями; перебивая пивной перегар, в ночную сырость вструились запахи глины, земли, рабочего пота. Мефодьич, убирая, стучал бутылками. Над столиками незаметно возникла мирная тихость безветренной летней ночи.

Шурка, тоскуя, встал, пошел за людьми. Так перебрались они через невысокую насыпь, очутились в поле, на узкой дороге, в густой, едва колосившейся ржи. Над дорогой таяли легкие запахи дегтя, конского навоза, пыли. Здесь было сухо, светло и дышалось еще неостывшим дневным воздухом.

Люди впереди, смутно переговариваясь, терялись в белесой ржи. На молочном горизонте выросли черные фабричные трубы.

— Елки-палки, лес густой, — бодрясь, запел впереди одинокий голос, — ходит Ванька холостой... Если Ванька женится, куда Танька денется...

Голос оборвался, затих. В Шуркин слух внезапно вошел дальний рокот поезда.

— А славно погуляли, — сказал кто-то впереди трезвым голосом. — Жаль — хорошо, да мало...

— Наплевать, — ответил хрипло и отрывисто другой, и Шурка узнал голос Лапинского. Как-то сразу кончилась рожь; прямо на Шурку надвинулся высокий забор с четкими стрелками гвоздей.

— Ну вот, пришли, — раздалось сдержанные голоса. — Все здесь, что ли? Где староста? Становись, считать буду... Четыре, пять... семь, восемь... Где ж десятый? Задерживаете, черти! Десятый, эй, где застрял?!

— Я здесь, здесь, — торопливо шумя рожью, вылез к забору приземистый Лапинский. — Я того... после пива...

— Теперь все. Эй, сторож, отпирай! Заснул, косоротый дьявол!.. Хозяева пришли, а он спит...

— Какая же это тюрьма, — разочарованно думал Шурка, шагая обратно к полустанку. — Это просто кирпичный завод...

Поезд шел уже где-то недалеко, и его ход то усиливался, то замирал, иногда пропадая совсем. — Вот бы под поезд лечь... — брели в Шуркиной голове вялые обрывки мыслей. — Чтоб доказать... Да, докажешь им, чертям... Это не судья виноват, а они — сами выставили... Кабы у меня на буце ремешок не развязался, я бы, пожалуй...

Но поезд внезапно переменял ритм и громогласно застучал совсем по-другому: должно быть, с поля вошел в лес. И Шуркины ноги как-то сами собой задвигались соразмерно ходу поезда, под привычный стук марша.

На полустанке, освещенные яркими фонарями, стеной стояли рядные люди. Шурка втиснулся в их ряды, и тут же его дернули за рукав:

— Ты где, чорт, пропадаешь? Мы думали, ты уже в городе... Знаешь? Мы гол-то все-таки вколотили...

Шурка презрительно фыркнул, глядя в сторону, мимо Горячкина:

— Подумаешь: гол... А я четыре бутылки пива выпил.

— Ребята, Шурка Иконников пива надрался, — озорливо крикнул Горячкин. — Куда же оно в тебя вошло?

Вокруг Шурки столпились возбужденные победой, освещенной станцией, нарядной дачной толпой игроки.

— А жаль, тебя не было, — сочувственно сказал Коркин. — Были, понимаешь, моменты, когда прямо, понимаешь, перед ихними воротами — и мяч, понимаешь, один катится...

— Я бы догнал, — раздувая ноздри, ответил Шурка.

Резкий, отчаянный, отрывистый гудок паровоза грохнул над самым Шуркиным ухом. Пролетавшие вперед вагоны внезапно застонали, застучали буферами и, скрипя, наседали один на другой. Но, вместо того, чтобы садиться, толпа ринулась куда-то вперед, к паровозу. Сдвинутый тесными, горячими телами, Шурка пробежал метров двадцать — и вдруг очутился на самом краешке деревянного настила, над матово блестящими рельсами. Между рельсами, прямо под паровозными фонарями, распростерся причудливый комок, отдаленно напоминавший женское платье. Из комка торчала кверху прямая белая палка.

— Что, голову? — говорили сдержанные голоса. — Ну да, только голову. — Дурак: только; больше ничего и не надо...

— Я ж давал свисток, — нервно твердил бледный чумазый машинист. — Я, товарищи, не виноват... Я тут же задний ход дал...

И только шагнув с платформы на рельсы, разглядел Шурка по другую сторону рельс жалкую человеческую голову со спутанными рыжими волосами.

— Жуть, ребята! — возбужденно крикнул Шурка своим. — По самую шейку отхватило... Теперь сам нипочем не лягу...

— Сама бросилась, — сочувственно вздохнули за спиной.

— Значит, довели... — значительно ответил знакомый голос, и Шурка, обернувшись, увидел футбольного судью.

— Это как: довели? — враждебно насторожившись, спросил Шурка.

— А как у нас доводят: какого происхождения, да чем занимались до семнадцатого, да правильно ли занимаешь жилплощадь, и если нет — то почему...

— А тебе разве не наплевать? — резко сказал Шурка, впрыгнув на перрон. — Она вовсе из-за мужа бросилась, у ней муж растратчик...

Старая обида вспыхнула в сердце; Шурке вдруг почудилось, что этот высокий человек с прямым белым носом, такой спокойный, уверенный в себе, и даже, когда хочет, веселый, — виноват не только в удалении Шурки с поля, а еще и в этой неожиданной, жуткой смерти. Не зная, как выразить эту обиду и неуверенный в том, что ее можно выразить вообще, Шурка добавил вполголоса — так, что его слова слышал только судья:

— Ты еще резолюцию свою прочти... Роканболь!



# Журавлиная родина

Повесть

МИХАИЛ ПРИШВИН

(Продолжение<sup>1</sup>)

## VII. КОНСТАНТИНОВСКАЯ ДОЛИНА

**М**ного труда я вложил уже и в эти листки, чтобы сделать понятными свои блуждания в болотных лесах, окружающих озеро, на дне которого свободно без стебля и корней в виде большого бархатно-зеленого шара живет Клавдофора. Но разве я кому-нибудь мог тогда по всей правде сказать, что вот я укладываюсь, закупая провизию, консервы, готовлю оружие, охотничьих собак, бинокль, термос, компас, снаряжаю настоящую экспедицию, чтобы пожить несколько месяцев около этой водоросли, пересмотреть жизнь всего края, представляя себе Клавдофору героем края, а все остальное лишь фоном, и через это каким-то образом по-особому понять и жизнь человеческую. Я не раз уже делал подобные опыты, дорожка пробита и, хотя я в большой тревоге за свое дело, но мне теперь незачем' ощупывать свою голову с опаской, в нормальном ли она состоянии. А было же время, когда и об этом приходилось подумать, не схожу ли я просто с ума? Нет, я, конечно, не отказался бы от удовольствия сделаться молодым и прожить еще один век, но только при условии начать новую жизнь уже таким же организованным и защищенным, каким я сейчас существую. Теперь прежние страхи для меня стали просто вопросами, не подлежащими до времени огласке, а любопытство окружающих меня людей удовлетворяю так, чтобы сделать им удовольствие. Тем, кто не знает, какие тучи слепней, комаров, мошек и всякого болотного гнуса обитает в этих лесах, я говорю, что еду на дачу. Другим, что учу там собак и охочусь. Лицам, близким к осушению болот, приходится говорить, что собираю материалы для романа, и эта личина романиста самая мне неприятная: роман в лучшем случае понимают как книжку для развлечения, и романист в глазах большинства не работник, а блестящий публичный мужчина. Только крестьянам мне легко называться писателем и в оправдание своего чувства показать свою пригодную для школ и всем понятную книжечку: «Рассказы егеря Михал Михалыча».

Мой большой воз движется на северо-восток от города к Дубне по шоссе, то спускаясь, то поднимаясь на лесистые холмы ледникового происхождения. Много всего придет в голову, когда смотришь

<sup>1</sup>) См. „Новый Мир“, кн. 4 и 5 с. г.

на лес, но если и час, и два, и три все лес и лес, при том в упор направо и налево, то, наконец, затупишься и вспомнишь слова древнерусского колонизатора: «Лес — бес!».

Когда же, наконец, лес расступится и во всем просторе открывается Константиновская долина Дубны со своими поймами и холмами, уходящими в дымчато-лиловую даль лесов и болот, со сверкающими крестами церквей почти на каждом холме, то этот типичный ландшафт среднерусской всхолмленной равнины кажется самым хорошим на свете. Все восхищаются холмами, утопающими в бездне болотных непроходимых лесов, и не раз я слышал восклицания путешествующих дам: «Тироль, настоящий Тироль!».

Мною почти вся долина исхожена. Не раз я любовался ей с высоты моренных холмов, представляя себе эпоху земли, очень от нас отдаленную. За все эти годы нашей революции могу отметить только, что засохла одна очень заметная ветла. Как жаль, что не могу больше найти точку на каком-то холме, где однажды, почти на закате, я, возвращаясь с охоты, остановился. Вдали что-то вспыхнуло ярким светом и некоторое время как бы горело без дыма. Долго спустя, когда я тут уже везде побывал, догадался я, что это Заболотское озеро, несколько приподнятое над этой долиной, но, конечно, невидимое простому глазу, отбросило на меня свет упавших на него лучей вечернего солнца. Возможно, я не нашел в другой раз этой точки и потому, что только раз в год в такой-то день и час бывает благоприятный угол отражения солнечных лучей на вечерней заре.

Оглядывая теперь знакомую долину болот, я припоминаю золотой вечер, и мне хочется отдать это яркое впечатление инженеру Алпатову. Пусть в этот миг к нему подойдет мужичок на коротких ногах, веснучатый, с длинной рыжей бородой, и станет рассказывать, что около Петрова дня, в такой-то час, непременно в той стороне вспыхивает золото и что это память солнышка о Золотой луговине. И примется рыжий на коротких ногах рассказывать о дубах в Дубне, что эти во множестве лежащие теперь в болотах дубы остались с тех пор, когда вся долина была покрыта дубовыми рощами, и река Дубна в одном русле бежала, и берега ее были твердыми и хорошими... Пусть инженер, слушая сказку, вдруг догадается, что золотая вспышка произошла от озера, висящего над болотами, справится со своими топографическими работами и догадается о восстановлении Золотой луговины путем спуска озера.

В записную книжку: согласовать вспышку на озере с внутренней вспышкой и внезапными мыслями. В связи с рассказом Рыжего о Золотой луговине вдруг как бы воспоминание о каком-то утраченном родстве и вслед за этим догадка. Посредством этого выразить мысль, что наука — это сила восстановления: так, у человека сохранилось воспоминание о быстром своем беге на четырех ногах, и он восстанавливает это изобретением паровоза, был он рыбой — и зато делает себе подводную лодку, и птицей был — выдумывает аэроплан...

Мой воз мухой виднелся внизу, а я все сидел под ветлой, любясь долиной, где за десять лет, таких бурных, засохло одно только дерево. Не легко мне догнать теперь этот воз. Лавиной движутся навстречу мне подводы обитателей дубенских болот на базар в Сергиево. Трудно было представить себе кого-нибудь из них, кто, завидев меня с двумя собаками, Кентой и Нерлью в березового цвета рубашках, совсем неразличимых, пятно в пятно, не стал бы тарашить глаза. Но один прохожий с котомкой за спиной, пожилой человек, не обратил на меня никакого внимания, не удостоил даже косого мгновенного взгляда. Лицо у него от ветра и солнца было медно-красное, загар скрыл его внутренний мир и не давал никакой возможности догадаться о его общественном происхождении. Возможно, шел это какой-нибудь раньше высокопоставленный человек, за годы революции потерявший свое положение и оставшийся с одной только радостью мыслить. Возможно и напротив, какой-нибудь совсем простой человек в бурные годы эти был озарен особенной мыслью и так теперь дорожит возможностью широкого раздумья в пути, что не хочет тратить драгоценного времени на случайность точного совпадения пятен на рубашках двух одинаковых охотничьих собак.

За кого же меня принимают все эти люди? Прошлый год я все лето учил на Дубне собак и потом до глубокой осени стрелял целые дни. Никто из них не видал, когда успел я наполнить множество тетрадей своими записками, для них я был только стрелок и охотник. Как представляют меня эти люди, как объясняют они себе возможность столь свободного человека в стране, где с таким трудом доставляется всем кусок черного хлеба? Что они, презирают меня, ненавидят?

Мысль эту я сохранил в себе, пока не настиг свою подводу. Вез мои вещи неглупый крестьянин и хорошо мне знакомый. Я рассказал ему, как мог, и спросил:

— Презирают меня, ненавидят?

— Жалеют, — ответил он.

Я изумился.

— Не звери же люди у нас на Дубне, — сказал хозяин подводы, — понимают, что был человеком сильным: приказывал, — слушались. Может быть, губернатором был, а теперь приказывать некому и не у чего — вот и стреляет!

## VIII. ЗИМНЯК

В своем увлечении живо-писать, значит, всматриваясь в природу и оставляя в ней все на месте, различать или находить в ней лицо, я иногда дохожу до того, что становлюсь в тупик от необходимости переменить имя описываемой личности. Не знаю, почему так приходится в большинстве случаев, что имя, носимое человеком, отвечает внутренним особенностям личности, и при первой записи все испор-

тишь, если возьмешь имя другое: тогда все пойдет вкривь и вкось. А когда потом приживешься к имени, от себя чего-нибудь прибавишь, то и технически трудно бывает заменить: тогда нужно бывает, чтобы в новом имени было непременно столько же слогов, иначе ритм будет нарушен, фраза перестанет звучать. А сколько личных необъяснимых препятствий: Алексея представляешь себе с трубкой в зубах, а поменять на Николая, то Николай почему-то выходит без трубки. И так много всего... К счастью, в большинстве случаев при описании деревенских людей, крестьян, кустарей, рабочих не приходится думать, что обидишь: грехи-то их, плутовство, воровство, пьянство, при бедности жизни, так простительны, что можно смело писать о всех по-хорошему, разве только с легкой улыбкой. Это не идеализация, а скорее терпение золотопромышленника, отмывающего горы песка из-за крупинки золота. И очень часто бывает даже, что и без всякой промывки, с чистой совестью и радостным удивлением называешь человека собственным именем. Так вот совсем не трудно мне назвать хозяина трактира в местечке Зимняк на Дубне, Алексея Никитича Ремизова. Имя это известно далеко за пределами Заболотского края, и скажите любому: «Хороший человек Алексей Никитич!»—всякий согласится и примется о нем рассказывать. С высокой морали, конечно, улыбнулся бы этим качествам, но, по правде сказать, в болотах как-то и не приходит в голову судить людей по высокой морали, радуешься и ветхому завету: не укради, не убий, не прелюба сотвори, не пожелай осла ближнего, ни вола его... Вот был такой случай в трактире. Загулял почтальон, оказался у Ремизова и пропал. Вик с ума сошел: почтальон вез две тысячи рублей! Милиция измучилась, две недели искала, нет почтальона. И вдруг он показывается в трактире. Тут его ждали. Цап-царап! И повели. А Ремизов Алексей Никитич, неспеша, вечную свою трубку изо рта вынимает и говорит почтальону: «Петруша, ты у меня вещицу оставил, возьми, авось, пригодится» — «Какую вещицу?» — «А я не глядел, как сунул ты под прилавок, так и лежит». Оказался же это мешок почтовый, и все печати на нем были целы. Вскрыли: две тысячи рублей, как копеечка. Так можно ли поверить, будто Ремизов так-таки и не знал, какой мешок лежит у него под прилавком. Конечно, знал и дожидался: кто положил, тот и возьмет.

Трактир Ремизова—это ключ ко всей устной словесности Московского Полесья. За сотни верст от местечка Зимняк, часто называемого просто Дубной, в Калязине, в Кашине, Кимрах, в самом Угличе каждый валяло, деревенский бродячий портной, сапожник, башмачник, скорняк, игрушечник, маляр, телятник, всякий, кто вдобавок к скудному крестьянству занимается каким-нибудь ремеслом, а из Москвы торговцы, скупщики, разное начальство и особенно охотники—все останавливаются на постоялом дворе Ремизова и каждый из них считает себя личным приятелем Алексея Никитича. Больше ста лет Ремизовы владеют трактиром, и полвека личных впечатлений живет в памяти Алексея Никитича. В второй, более чистой комнате трактира

из тех же самых стаканов пили чай все охотники и великие князья Романовы, и просто всякие князья и графы, бароны, крупные фабриканты, знаменитый охотник богач англичанин Мерилиз бывал тут постоянно, Ленин был, Троцкий был; Ворошилов, Крыленко и теперь приезжают; под первое августа, день разрешения охоты, автомобили так и шумят, и множество всяких людей с волнением и азартом рассуждают о криквах.

Теперь, наконец, после всех край дождался своего певца, теперь я тут сижу за чайным столом, уложив своих обеих собак Кенту и Нерль. Дверь в собственные покои хозяина открыта. Он холостой и теперь с ним только сестра. Его кабинет, малюсенькая комната, весь увешан литографиями немецких охот, у письменного стола грязненькое ампирное кресло, на столе раскрытая книга «Приключения капитана Гаттераса» с золотыми очками на ней, рядом счеты, у окна букет сирени и в окне длинная деревянная колоннада постоянного двора, утопающая в бездну навоза.

Чайная кипит. Не выпуская изо рта трубки, хозяин непрерывно дает то пару чая, то фунт баранок, то колбасы, он весь в своем призвании: на людях живет, скрывая под тяжелыми черными, по-хохлацки свешенными усами личное свое нравится или не нравится. Залучить его нет возможности. Но из чайной сходятся ко мне утиные охотники. Среди них много знакомых и сам бывший егерь Мерилиза Алексей Михайлович, уже раз описанный мною в очерке «Ленин на охоте». У него прекрасные большие глаза. Никто во всем краю—и сам он тоже—не знает, что, получи он образование, попади на свою полочку, был бы он, как поэт и писатель, известным во всей стране. Теперь дела его совсем плохи, кому - то хотел угодить, у кого-то будто бы волков отманил и посыпал чужую приманку нафталином. Ославили человека. А сколько записал я у него маленьких охотничьих рассказов! Сколько раз набрасывался на его врагов и говорил и защищал: «Да вы послушайте только, как он говорит!». Тогда со смехом и глубочайшим презрением мне ответили: «Это он может, на это он мастер!».

Присоединился к нашей охотничьей компании прежний сторож Армантовых охотничьих и рыболовных угодий Александр Гаврилович Лахин, стриженный коротко по-городскому, в порядочном пиджаке, но босой и всегда в мокрых штанах, тоже большой краснойбай, совсем погубивший себя языком. Я и сам от него потерпел, но прощаю: нет человека, кто бы так хорошо знал все протоки, быстрики, борозды, плесы на Дубне и на озере, нет другого, кто мог бы столько вынести, зябнуть, и, хотя в мокром виде, но все-таки при всяких самых тяжелых условиях жизни стать опять на сухое. Утиных охотников я оставляю, их множество, и их главное призвание—угодить приезшему московскому охотнику.

Для общего разговора я задал тему о криквах.

— Как у них семейная жизнь?

— Семейная жизнь у них неважная,—сказал Лахин.



Алексей Михалыч моргнул мне с понятным смыслом: «послушаем, что скажет трепло, а потом посмеемся».

Но не успел Александр Гаврилович открыть рот для рассказа о семейной жизни крякуш, как из чайной Ремизов привел неизвестного мне охотника, оказалось, Василья Ивановича, хозяина трактира из Федорцова, возле озера Полубарского, и так сказал:

— Этот человек может интересно и правильно рассказать о богаче Мерилизе и бедном мужике Прохоре, не годится ли это вам для журнала «Охотник»?

— Мне все годится,—ответил я.

Василий Иванович присел к нашему столику и начал рассказывать.

### Т а й н а

Наш торгошинский Григорий Иванович, известно, был егерем у Мерилиза. Теперь и барин и егерь—оба на том свете охотятся. Хороший был старичок этот Григорий Иванович, и такой большой охотник, а никогда не врал. Вот, рассказывал он, поехали с Мерилизом они в Вологду на охоту и остановились в деревне. Название этой деревни и по каким зверям была охота—запомню. Кончив охоту, все собрались и велели ставить большой самовар. Григорий Иванович не любил без дела сидеть, врать.

— Я тут,—говорит,—около деревни заметил след русака, давайте-ка, пока самовар поспеет, того зайца возьмем.

Молодые охотники за ружья.

-- И я с вами!—сказал Мерилиз.

Собаки враз подняли русака. Молодые охотники бросились занимать места на дорогах, а Мерилиз, пожилой человек, пошел спокойно к сараям: русак это любит—бежать от собак в деревню к сараям. Но как раз тут возле сараев намело огромный сугроб, и Мерилизу из-за него ничего не было видно в поле... Зима была с хорошей осадкой: снег не проваливался. Мерилиз возьми и поднимись на самый верх. И нужно такому греху выйти, что мужики два года на этом месте под сугробом копали для скота колодезь и воды не достали. На эту глубокую яму положили две-три слуги, на них хворосту, и ладно! От этого самого, что хворост лежал, снежок к нему метелью прибывало, и сугроб на этом месте постоянно был высокий. Не будь он высокий и тяжелый, все, может быть, и обошлось бы, а как он тяжелый, да Мерилиз, когда стал на верхушку, прибавил своего богатого весу, хворост и не выдержит...

Так вот бывает, стоит наверху человек, и вдруг нате: человек этот в пропасти.

Русака не долго гоняли, самовар поспел, и охотники с зайцем являются. Заварили чай, подождали немного хозяина и по стаканчику выпили. Нет его, по второму выпили...

Молодые охотники догадались:

— Опять, — говорят, — Мерилиз подшутил над нами, наверно, прямо на лыжах прокатил к поезду на станцию.

Так все и решили, что хозяин уехал, и сами после чая тоже собирались, но по какой-то причине раздумывали, не помню.

На другой день беднейший мужичок из этой деревни, Прохором звать, был в лесу и нес дрова на себе: верно, и лошади-то не было, одно слово,—последний мужик. Вздумалось этому Прохору в деревню по насту пройти напрямик, и возле сараев попади на глаза ему след человека. Ему невдомек было, что вчера охотились, и след мог быть где-то. Обошел он сугроб,—что за диво, нет выхода! Положил он дрова, следом поднимается на сугроб и видит наверху провалище. Крикнул в дыру:

— Живая душа, отзовись!

Из дыры слабо:

— По-ги-ба-ю.

Прохор шарахнулся вниз. Собрал сходку. И рассказывает мужикам:

— У нас в старом колодезе человек кричит: погибаю.

Григорий Иванович и молодые охотники тоже были на сходке. Смекнули.

— Это Мерилиз!

Обвязали веревкой жердину, чтобы на ней можно было сидеть и руками держаться. Устроили в роде лебедки, всем миром навалились и вытащили наверх человека. Мерилиз был на себя не похож, весь черный. Привели его в избу, стали отогревать.

— Я,—говорит Мерилиз,—не так от холода страдаю, как от дыма. Два раза выстрелил, думал, дым вверх потянет, а он весь сел на меня. Я чуть не задохнулся совсем и с жизнью простился.

Дали ему хорошего вина, чаем напоили. Поел он и спрашивает:

— А скажите мне, кто же это мой спаситель, кто первый крикнул: «Отзовись, живая душа!»

Привели Прохора.

Отозвал он этого Прохора в сторонку, вынул бумажник и сколько-то дал. Потом показал ему бумажник и говорит:

— Смотри, пустой, себе только на дорогу оставляю, а сколько я тебе дал за спасенье своей жизни, никому на свете не говори.

Так все и кончилось. Охотники уехали. Но погодите. Покойный Григорий Иванович хоть и егерь был, а ведь из мужиков, торгошинский, конечно, мужицкая душа его не могла на том успокоиться. Когда приехал из Вологды к себе в Торгошино, стал, конечно, уж всем этот дивный случай рассказывать. И все к нему с одним и тем же мужицким вопросом:

— А сколько он дал?

Прошел год и два, и три года прошло. Людей разных мало ли приходит и уходит. Григорий Иванович всем охотно рассказывает и всякий под конец спрашивал:

— А сколько он дал?..

На четвертую зиму Мерилиз вовсе уже не охотился и, когда начались долгие вечера, стало и самому Григорию Ивановичу неотвязно лезть в голову, в роде как помешательство с ним вышло, худеет, сохнет человек, днем и ночью думает только об одном: «А сколько он дал?». Другой бы стал бога просить освободить его от вопроса этого, но Григорий Иванович однажды утром встал, умылся, встряхнулся— и в Вологду. Конечно, поехал-то он для Мерилиза будто бы медвежью берлогу искать, да это малое дело, главное было найти этого Прохора и спросить.

Приезжает он в ту деревню, спрашивает Прохора мужика.

— Дом Прохора Семеновича?—отвечают ему.—А вот иди, и сам сразу узнаешь: дом этот у нас один под железной крышей, на каменном фундаменте.

Идет Григорий Иванович по деревне и видит действительно: дом большой, пятистенный, под железом, окрашена крыша медянкой, стены дома обшиты и в золотой охре, наличники белые, фундамент высокий, каменный и облицованный. Вход уж, конечно, в таком доме парадный, под навесом, и на двери электрический звонок.

Позвонился Григорий Иванович. Женщина дверь ему открывает с почтением, просит зайти в переднюю. А там в прихожей зеркало и вешалка березовая, хорошо полированная. Женщина эта повесила его шапку и полушубок, дверь открывает, а там светлая большая комната, на окнах кружевные занавески чистые, белые, медные шпингалеты блестят, двери все тоже по белилу наведены лаком, пол крашенный и по нем во все стороны дорожки настелены. А посередине комнаты большой стол, на столе чищенный медный самовар, и там за самоваром сам Прохор Семеныч сидит, в красной рубашке, на красном жилет черный с зеленым отливом, борода расчесана волосок к волоску, на голове пробор и от масла блестит.

Поклонился Григорий Иванович.

— Кто ты такой?—спрашивает Прохор Семеныч.—Откуда и по какому делу пожаловал?

Не узнал. А когда Григорий Иванович напомнил ему, как охотились с Мерилизом, встал, обрадовался бог знает как, стал угощать чаем, вином, закусками разными. Три дня так жили за столом, ели, пили, душевно разговаривали, и все три дня Григорий Иваныч о главном своем деле спросить не смел. В конце третьего дня на расставаньи изрядно выпили и тут, наконец, Григорий Иваныч осмелился и спросил, сколько дал ему Мерилиз. Сразу Прохор Иванович в лице потемнел и говорит:

— Григорий Иваныч, не обижайся, душевно говорю тебе, оставайся у меня, живи хоть месяц, хоть два, и приезжай ко мне во всякое время, днем и ночью, во всякий час будет стол для тебя накрыт, а об этом не спрашивай, с этим я умру и никому не скажу: это моя тайна.

### Командирова кочка

Во время этого рассказа народ из чайной подвалил, слушали стоя и потом сами готовы были рассказывать без конца о старых похороненных временах барской охоты. Но у меня была своя тема о таинственной Клавдофоре, и я завел речь об этом. Долго меня не понимали, но когда я показал руками, какая она, Лахин, Александр Гаврилыч встрепенулся:

— Так это шары?

И так начал о них рассказывать.

— В городе есть син-ди-кат, что это такое?

Я спросил:

— Какой же именно синдикат?

— А я почему знаю. Читал своими глазами вывеску: син-ди-кат.

И еще я читал: аз-вин.

— Это значит: азербайджанское вино.

— Так вот, в городе есть син-дикат и аз-вин, и все двадцать четыре удовольствия. А у нас в Заболотском озере только шары и кряквы. Нет, мало им в городе удовольствий, давайте крякв и шары. Однажды приехал к нам даже из-за границы немец Филей.—«Покажите шары!»—Мы взялись проводить.—«Не надо провожать, я сам!».— Мы говорим: «самому невозможно». А он: «Филей все может, Филею все возможно». Засучил рукава и показал на руках булки. Мы дали ему лодку. На озере известно сто островов и разных плесов. Мы велели ему править на Командирову кочку.

— Что это за Командирова кочка? — спросил я.

И рассказ о путешествии немца Филея перешел на Командирову кочку, о том, что за сутки до разрешения охоты какой-то Пашка и Петька приходят в трактир и сговариваются. После того Пашка берет ружье, садится в лодку и отправляется делать шалашик на этой самой кочке. В ночь под первое августа Петька везет командира, в темноте подплывает к кочке. Петька говорит командиру: «На вашей кочке, товарищ, кто-то уселся» — «Поговори с ним» — отвечает командир. — «Уступи, товарищ» — просит Петька. — «Как же мне уступить, — отвечает Пашка из шалаша, — я тут целые сутки сижу» — «Да мы не задаром» — «А что дадите?». Дают цену. Пашка молчит. — «Ну-ка?» — «Неподходящее». Потом ладят. Командир садится на кочку. Пашка и Петька едут на свои хорошие места, много бьют крякв и везут командиру добывать их серебряной дробью.

### Левушкина тоня

— Благодарю, Александр Гаврилыч! — сказал я. — Извини, что перебил, теперь продолжай о шарах, как немец Филей поехал один и, вероятно, не уладил на Командирову кочку.

— Ну да, ему надо было направо, а он круто взял влево и попал на Левушкину тоню.

— Это что такое?

Тут Алексей Михалыч взял слово, у него давно чесался язык.

— Об этом правильно только я могу рассказать.

И Лахин с почтением слово о Левушкиной тоне предоставил Алексею Михалычу.

-- Название просто вышло, — сказал Алексей Михалыч, — ехал он, Левушка, на лодке уток стрелять, а рыбаки тут невод вытянули и полнехонький. За то и назвали это место Левушкина тона. Одно время каким он мне был приятелем, водой не разольешь! И вот на грех случись, позавидовали мне недруги, в роде как бы за буржуя сочли, и увезли у меня со двора, будто бы на гробы, двадцать семь полувершковых девятиаршинных тесин. Приезжает ко мне Левушка на охоту. Я тут и говорю им: «Вы знаете, кто у меня, подавайте назад!». Только свистнули. После того Коля приезжает. Я опять к ним: «Знаете, у меня кто?». — «Знаем, — говорят, — сейчас вернем». Привозят ко мне тес и сваливают. А я кочевряжусь: «Положите на место и ярусом». Сложили. Приходит зима. По первой пороше катит ко мне Левушка зайцев гонять. Понравилась ему моя собака. Продай и продай! Что с него взять, много по советскому времени никак нельзя, а из уважения... что в нем, какое уважение, если его знаменитое имя не могло мне даже тесу вернуть. «Нет, говорю, продам я вам собаку, а сам с чем останусь?». Вскоре после него является Коля и тоже: «продай!». Ну, я, конечно, не посмел отказать, он юрист и человек полезный. Через две недели установилась санная дорога и показались волчьи следы. Привадил я их, прикормил — и в Москву. Докладываю своему юристу о волках. Обрадовался. «Ах, — говорит, — чуть не забыл: Левушка сказал, когда ты приедешь, так непременно чтобы к нему». Вспомнил я о собаке, и сердце у меня опало. — «Нельзя ли, — говорю, — не ходить?» — «Никак нельзя». Являюсь. Рад он мне, об охоте говорит и виду не показывает. А потом вдруг: «Ты зачем Коле собаку продал?». Молчу. — «Значит, он тебе милей?». Взяло меня за сердце, что, я-то, не хозяин, что ли, своей собаке, кому захочу, тому и продам. Вот я на его слова и говорю: «А ежели и милей? Воля ваша, дорогой мой, а я на тебе не повис!».

### Плес Ленина

Ревниво следил за рассказом соперника Лахин, и только он кончил, сказал:

— Это что! Вот я расскажу. Было это около еврейского праздника Кучки. У меня в садке припасены живые караси, потому что еврей за карасей около этого праздника цену дают непомерную: сколько спросишь, столько дают. Так собираюсь я в Москву и как раз тут является человек и говорит: «К тебе завтра охотники приедут, ты с ними поаккуратней: между ними Ильич». Правда, на другой день приезжает Ильич. Я открыто говорю: «У меня караси, мне в Москву надо, а сын может». Ильич посмотрел на Саньку строго, поморщился и говорит:

«Молод!»—«Пускай,—говорю,—молод, а другому довериться не могу, молод, а надежен и по утиному делу спец».

— Теперь пусть сам он расскажет, как возил Ильича. Санька!

Из чайной пришел молодой человек и прямо сказал:

— Мне рассказывать нечего, а врать я не умею. Сели мы в лодку и поехали бороздой, я веслом пропихиваюсь, он сидит на носу и молчит.

— Сколько времени ехали бороздой?

— С полчаса крутились, потому что заросла она и человек важный, боишься, как бы не замочить.

— Полчаса бороздой ехали, неужели он ничего не сказал, не спросил?

— Ничего, мне самому неловко. Выехали на озеро, солнце вдруг осветило воду, и показались на дне шары—лежат один к одному. Все дивятся нашим шарам, дай, думаю, скажу: «Вот какая диковина у нас в озере!». Глянул на него и не посмел.

— А сам он шары не заметил?

— Ничего я не знаю. Сидит на носу и молчит. Приехали к плесу. Шалаш приготовлен. Сел он в шалаш. Я сказал: «Владимир Ильич, я тут же неподалече буду, если что нужно, крикните, а поутру я сам приеду за вами».

— А он что?

— Ничего! Я от'ехал на соседний плес. На вечерней заре вся утка стороной прошла. Ленин ни разу не выстрелил. На утренней ни одна не присела на плес. Когда солнце поднялось, я под'езжаю к нему и говорю: «Вот диво-то! ни одна не присела». Он ничего не сказал. Сел в лодку и мы приехали. Вот и все.

— Послушай, Саня,—сказал я,—теперь за Лениным, где, что он сказал, каждое слово записывается, вспомни получше, может быть, что -нибудь и сказал, хотя бы самое обыкновенное.

— А что ему говорить с Санькой?—вмешался отец.—Ильич правильно молчал. Было у нас и другое. Один старичок взял его за рукав, потянул к себе: «Мне с тобой, Ильич, поговорить надо». И увел его к бревнам. Сели они с ним на бревна и под ряд часа два без умолку, то один, то другой. Этот старик Ильичу тогда все пересказал.

### Ф и л е й

Случилось самое обыкновенное, что постоянно бывает, когда соберутся вместе много охотников и друг перед другом начнут рассказывать разные разности: основная мысль, из-за чего все началось, бывает потеряна. Ни многочисленные слушатели, ни рассказчики не помнили, что весь сыр-бор загорелся из-за того, что немец Филей, надеясь на свои крепкие мускулы, вздумал по Заболотскому озеру ехать за шарами без проводника и не уладил на Командирову кочку.

Я напомнил об этом, и Александр Гаврилыч с большой радостью закончил этот рассказ. Филей, переезжая с плеса на плес, совсем запутался. А солнце, между тем, поднялось, разогрело воздух, и слепни

целой тучей и с великой яростью набросились на Филея. Немец до того испугался этих огромных мух, что бросил лодку и вплавь с плеса на плес добрался до поймы голый и, когда с версту шел поймой, слепни его добились: пришел, как в морсу. Нашли его лодку, привезли одежду. Понемногу отжил и просит: «Покажите мне русскую печь». Показали, он подивился и срисовал. Еще просит: «Покажите мне русскую баню». Привели его к бане. Срисовал он баню. «Теперь,—говорит,—запрягите лошадь, я поеду» — «А как же шары?»—спрашивают его.—«Можно поехать»—«Нет,—говорит,—не хочу, мухи там очень большие».

### IX. ОБНАЖЕНИЕ ПРИЕМА

На этом месте моя работа по восстановлению пережитого на Дубне в поисках раскрытия очень волнующего меня смысла существования реликта ледниковой эпохи, этой редчайшей, необыкновенной Клавдофоры, внезапно оборвалась: меня вызвали для заключения договора на второе издание собрания моих книг. Я воспользовался случаем, собрал крупнейших писателей и прочитал им всю «Журавлиную родину» главу за главой, от юбилея Максима Горького и до плеса Ленина. Чтение заняло почти три часа, но слушали меня очень внимательно. Мне очень хорошо читалось, и я уже начал было про себя понимать это внимание в пользу моей работы, как вдруг что-то случилось в то время, когда я от глав, посвященных самоисследованию в творчестве, перешел к движению своей экспедиции для исследования края Дубны, а шарообразная, изумрудно-зеленая Клавдофора напомнила всем книгу сказочного моего путешествия по северу за коблом. Начиная с главы *Константиновская Долина*, читать мне стало не только легко, а волшебно приятно, как-будто после езды на недурной, впрочем, телеге с железным ходом и по неплохому шоссе я сел в мягкую кабину аэроплана и полетел. В этот только момент я понял, что вниманием к тем длинным, предшествующим действию главам я обязан был исключительно культурности писательского общества. Червячок сомнения гложет теперь меня и относительно успеха второй части: показалось, конечно, гораздо лучше, чем есть, потому что внезапное облегчение чтения всем напомнило близость всегда отличного ужина нашего хозяина, тоже, как Заболотское озеро свою Клавдофору, сохранившего в реликтовом порядке все очарование простодушного щедрого древнерусского гостеприимства.

Когда чтение кончилось, милая женщина, соединившая чудесным образом в себе даровитого поэта, заботливую мать и отличную хозяйку, пригласила нас в столовую. Некоторое время все молчали о моей работе, но когда голод и жажда были утолены вполне достаточно, один очень опытный литератор, большой мастер, решился высказать первую мысль о моей работе: Он сказал:

— Это обнажение приема.

Я был поражен. Уязвлен. Моим побуждением в работе были непорядки в творчестве родной страны, жестокая обида за обвинение

в жречестве и заговоре молчания, мною руководил отличный задор превратить свою защитительную речь в художественное произведение. И после всей трудной работы оказывается, я своим произведением только иллюстрировал моду формального метода. Я был так наивен, что сказал формалисту:

— Честное слово, я не читал Шкловского и работал своими собственными приемами.

Очень умело, скрывая даже на бритом лице тончайшую улыбку, формалист мне ответил:

— Честного слова нет у художника, вернее, оно есть, но тоже, как прием. И чего вы волнуетесь, у вас вышло очень недурно: после оживленных и современных рассуждений о творчестве обрыв в Константиновскую долину с этим озером и Клавдофорой, в гущу народа, в трактир вышел прямо блестящим. Несомненно это удалось благодаря только обнажению приема. Лет пять тому назад я сам пробовал использовать этот превосходный прием в одной своей повести...

Пришло время и мне подумать о своих усах, чтобы не очень дрогнули от улыбки: настолько все-таки я понимал формальный метод, чтобы его раскрытие приемов ценить за невозможность после того их использовать, за стимул к исканию своего совершенно нового приема.

После формалиста сказал блестящий драматург, благодаря своему большому натуральному таланту, вероятно, никогда и не думавший о каких-то приемах:

— Я признаю твою вещь очень хорошей, но только с тех страниц, когда забыл я об ужине, а все эти рассуждения о творчестве... это не искусство.

Тогда выступили друзья в защиту меня. Один привел в пример Б е с ы Достоевского, где вначале тоже идут многие скучные страницы. Зато как захватывает чтение после них! И сколько всего талантливого, блестящего можно отдать за эти человеческие страницы!

— Ведь только тут вначале,—говорил он,—автору есть время пожить, потом он неминуемо должен исчезнуть в своем авторстве.

В заключение один добрый приятель, стараясь примирить тех и других, сказал мне:

— Тебе надо весь груз твой как-нибудь переслоить.

Потом уже очень подобревшие от еды и вина, все стали удивляться моему изображению быта, и сам формалист тоже обласкал меня такими словами:

— Я теперь понял, прием родился бессознательно, и этим вы отличаетесь от тех, кто пользуется им, как рецептом. Вероятно, и я потому не дописал свою повесть. Вы не со Шкловским в родстве, а с Тиком, автором комедии К о т в с а п о г а х. В этой комедии обнажение приема проведено во всем блеске, у вас немного неуклюже, по-русски...

— Я тоже думаю, — сказал Вячеслав Шишков, — вам надо переслоить густоту.

*(Продолжение следует)*



# Кухня времени

ВЛ. ЛУГОВСКОЙ

*Посвящ. Э. Багрицкому.*

...Мы, плотно сомкнувшись в разгромленной мгле.  
Стоим на летящей куда-то земле.  
Пунцовым пожаром горят вечера.  
История встала над нами.

Не думали мы еще с вами вчера,  
Что завтра умрем под волнами!  
Но будут ли газы бродить по ночам,  
Споят ли басы орудийного рокота, —  
Давайте стремительный жест от плеча,  
Никогда не ведите движенья от локтя.

Вы думали, злоба сошла на-нет,  
Скелеты рассыпались, слава устала.  
Хозяйка три блюда дает на обед,  
Зимую снежит, а весной тает.

А что, если ужин начнет багроветь,  
И злая хозяйка прикажет — «Готово!» —  
Растает зима от горячих кровей,  
Весна заснежит миллионом листовок.

И выйдет хозяйка полнеть и добреть,  
Сливая народам в манерки и блюдца  
Матросский наварный борщок Октябрей,  
Московские щи мировых революций.

И мы в этом вареве вспученных дней,  
В животном рассоле костистых событий —  
Наверх ли всплывем, или ляжем на дне  
Лицом боевым, или черепом битым.  
Не время, быть может, об этом кричать.  
Не время судьбе самолетами клёктать, —  
Но будем движенья вести от плеча,  
Широко расставив упрямые локти.

Трамвайному кодексу будней — не верь.,  
Глухому уставу зимы — не верь,

Зеленой программе весны — не верь,—  
Поставь их в журнал исходящих!  
Мы в сумрачной стройке сражений — теперь,  
Мы в сумрачном ритме движений теперь,  
Мы в сумрачной воле к победе — теперь,—  
Стоим на земле летящей.  
Мы в дикую стужу, в разгромленной мгле  
Стоим на летящей куда-то земле —  
Философ, солдат и калека.

Над нами восходит кровавой звездой  
И свастикой черной и ночью седой  
Средина двадцатого века.

---



# П о в е с т ь

СМУТНОГО ВРЕМЕНИ О ИВАШКЕ БОЛОТНИКОВЕ, О ЕГО  
ТУРЕЦКОМ ПЛЕНЕНИИ, СЛАВНОМ ЖИТЬЕ В ВЕНЕЦИИ  
И О МНОГИХ УЧИНЕННЫХ ИМ НА РУСИ МЯТЕЖАХ

ГЕОРГИИ ШТОРМ

(Окончание <sup>1)</sup>)

Часть третья

ВСЕЙ КРОВИ ЗАВОДЧИК

Откуда «Комаринская» пошла

«Пострадахом и убиении быхом ни от не-  
верных, но от своих раб и крестьян».

«Новый Летописец».

## I

**Э**й, у кого деньга не шербата, подходи, подходи! Продаем по оценке и на д д а ч е ю — кто боле даст — государево отставное платье: фerezи и чуги, шапошные вершки, собольи и куньи лапы и лбы, всякие мелкие обрезки, сарафанцы, опашни, ветшанные сукнишка-а-а!..

Взят из теремных камор, пошел на вынос лежалый запас — скаредного царя казне незавидный прибыток. Площадные смутники-горланы толпятся в рядах, смотрят, как дворцовый дьяк продает царскую «рухлядь», и зубоскалят:

— Деньга — торгу староста, а и царю голова!

— А в чем он зимней порой ходить станет?

— Ведали б вы орленой кнут да липовую плаху, — ворчит дьяк и, склонив голову вбок, записывает — что кому продано — «по статьям» в книгу.

— Дьяче! Мышиных хвостов у тя нет ли?..

Плешивые меха и горелые сукна лежат на земле. Дворяне и кое-кто из бояр победнее присматривают «товарец». Встряхнет какой-нибудь ветошь, распялит на руках истлевшую дрянь, и — откуда взялся пыльный промельк крохотных крыл? — вылетит, завеет лицо парчевая туча моли.

— Скуп Шуйской, — говорят в толпе, — своим и купеческим деньгам бережлив, да еще пьяница и блудник.

— Немногие люди выбрали ево.

— А бояре ныне боле царя власти взяли...

<sup>1)</sup> См. «Новый Мир», кн. 4 и 5 с. г.

Мимо торга медленно двигался нагруженный скарбом возок. Позади ехал пристав. На возке, хитро усмехаясь, полулежал маленький седой боярин.

— Гляди-ко! Хворостинин князь! — сказал один из дворян и пошел к возку. — Чем бога прогневил? Пошто с приставом едешь, Иван Андреич?

Боярин закрылся от солнца рукой. Лучики морщин брызнули по его лицу.

— Жалует меня царь — под Волок Ламской коров пасти. Я-де еретик: грамоте знаю, в польском платье хожу... А ну вас всех в Поганую лужу! --закричал он вдруг.—На Москве люд глупой, жити не с кем!..

Возок укатил. Дьяк на помосте перестал кричать и повел счет деньгам. Толпа двинулась — кто по домам, кто Ивановской улицей в Кремль. А там-то с утра уж гомонило Крыльцо,—как при Борисе и Дмитрие, полнилась людьми Боярская площадка...

Царя не было видно. Бояре в высоких горлатных шапках сидели у столов. Они выслушивали челобитья, тоскливо оглядывали текущий по двору народ, потея и кряхтя, принимали на себя неумный ливень жалоб...

— ...И он, боярин мой, посылал меня по квас, — кричал, припадая на клюку, молодой холоп, — а я пошел нешибко, и он за то спихнул меня с лестницы и убил до полусмерти!..

— Помираем голодной смертью и одолжали великими долги, — плакались пришедшие издалека крестьяне. — А разорены мы пуше крымских и турецких бусурманов—московскою волокитою, и от неправд и от неправедных судов!..

Старая черница, подойдя к столам, заговорила гневно и быстро, перемогая слезы:

— При прежних государях жалобила и ныне с тем же до царя дошла, а будет ли сему конец — не ведаю, должно так и не сыщу вловьей своей правды. — Дочеришку мою княжой сын — Телятевского — похолопил да посадил на чепь, и дочеришка моя повредилась в уме, а што с ней случилось и где ныне Телятевской князь — никто не кажет...

— Телятевские ныне на воровстве,—сказали за столом.—Противу государя стоят. Годи малое время, доколе их не уймут, тогда сыщем.

Черница поникла. Слабо кинув руки перед собой, она прошла в горьком беззвучьи, на миг захватившем толпу холопов.

Крыльцо шумело недолго. Бояре встали, и дьяк об'явил челобитью конец. Народ начал медленно расходиться, глухо шумя у столов и громко бранясь по мере того, как отходил дальше.

Хилый с мертвым лицом старик вышел из сеней. Синий вёдреный день горел на разводах его опашня, мётаных серебром, на в т ы ш н ы х пуговицах с чернью, проведенной решеткою. У старика была жалкая худая шея, а руки — в сизом разливе жил — крупны и черны. Прищуром больных слепеньких глаз он смотрел на солнце.

Бояре Иван Крюк Колычев и Григорий Полтев склонились перед ним.

— Каково, государь, господь сном подарил? Потчивать изволил по добру ль, по здорову ль?

— По брюху ерычется, — часто моргая, плаксиво сказал царь. — То ли с худого сна, то ли с настоя, што испил даве. Молвите, бояре, ди ш т и л я т о р а м, кои ведают всякие настои: глядели б — в лекарства ничего вредительного не попало б, а в посные дни — скоромного, штоб ни зла, ни смерти не навесь и меня б не оскоромить...

Он потянул носом. Слепенькие его глазки, стрельнув по двору, заметили подходивших ко крыльцу бояр.

— Вона! Ближняя моя дума идет! — захлопотал он. — Ступайте за мной! — И вошел в сени.

Бояре вступили в крытый прохладный переход. Косой солнечный блеск рассек надвое спину царя. Ноги его в белых немецких сапогах ступали нетвердо.

В брусяных хоромах Шуйского стоял крепкий дух свежей сосны. Строить каменный терем не было времени, а жить в «Гришкином» — не к лицу. Немногая утварь да — в клетке — жаркоцветный попугай — вот и вся память, что осталась от Димитрия и Бориса.

И все же воздух в палатах был з а ж и т ђ ѝ. В свежее дыханье срубов вплеталась старческая кислая вонь, медленный тлен платья и шуб, а в пыльных столбах света загорались мелькучие искры моли.

Бояре сели не сразу. Трубецкой отстрашилсЯ от места рядом с Мстиславским. — Мне-то ни же тебя быть не гоже. — Об'юродивел ты! — отозвался Мстиславский. Они забранились. А царь сидел, молчал и только следил за ними. Наконец, заговорил:

— Ведомо вам, бояре, што в северских городах люди заворовали, учили воевод побивать и грабить и затеяли, будто вор Гришка с Москвы ушел, а в ево место убит иной человек... На Украине-то шатко. Лежат тамо воры, што сот пчелиной. Вот и молвите, бояре, как с теми ворами быть, да не таитесь, сказывайте всё про вести.

Встал Мстиславский. (Конец лавки, стукнув, взлетел за ним.) Весь в белой дымной седине, он забубнил трубным глуховатым басом:

— Недобрые, государь, вести, а таиться от тебя — не след. Одна надея — на бога, што добро худа переможет. Из Путивля от Шаховского посланы были люди в Татарскую степь, на Дон. И боярской сын, Истомка Пашков, смутил донских казаков да привел к Димитрию Тулу и Каширу и Венев и ныне стал аж под самую Коломной...

— И то, князь боярин, о Путивле сказываешь ты не все, — перебил Мстиславского молодой Скопин-Шуйский, — от перелетов<sup>1)</sup> стрельцы дознали, што пришел к Шаховскому с Литвы Ивашка Болотников, князя Ондreja Телятевского холоп. А сказывал он вора проклята жьва и будто вор ево, Ивашку, большим воеводой нарек, и ныне той Болотников збирает в Северской земле силу.

<sup>1)</sup> Перебежчиков.

— Верно молвят про украинских людей, — сказал царь, следя за кружащей подле него молью. — «Преждепогибшая то земля!..». Эх, гнуса сколь развелось! — проворчал он, и было невдомек, где развелся тот «гнус» — в Северной ли земле или в государевой палате.

— Подайте-ка боярской список на сей год!..

Ему принесли писаную «на столбце» роспись служилым людям,

— Ну, вот, бояре, как мыслите — своими ль силами воров побьем али ратной сбор надобен?

— Ратной сбор, государь.

— По городам!

— Вестимо!

— Иван Крюк Федорыч, вели писать в Ярославль и в Вологду и в Пермь Великую о ратном приборе... Во стрельцах недостача. Возьмите с Москвы всех охотников: псарей конных, чарошников, подклюшников, сытников, трубников... Тебе, боярин Мстиславской — с большим полком выступать... (Он поглядел на список.) Плещеева — «на Москве нет»... Телятевской — «в измене»... Михайло Васильич, — молвил он Скопину-Шуйскому, — ты, мыслю я, станешь на берегу Пахры, а Трубецкой с Воротынским шди б под Кромы...

Он отложил список и, зябко потирая руки, сказал:

— Рострига тово не осилил, потому што был вор. А мы хотим и впрямь, штоб во всех людях тишина стала. Первое — надобно выход заказать, беглых всех воротить. Земли, как при Борисе, не пусто-вали б. Ну, о том поразмыслим с вами на соборе... Да Иван Крюк Федорыч, — вели боярам писать по вотчинам: приказчики — крестьяне д о б р ы е глядели б, штоб ни у кого воровским и беглым людям приезде не было.

— А как им глядеть, государь? — сказал боярин. — Ныне все люди по деревням чинятся сильны и супротивны и, боясь их похвальбы и убойства, пытать оговорных людей стало некому...

Шуйский нахмурился, встал.

— Ну, ступайте, бояре! Дай вам боже воров подолеть и с кореньями повывертеть!..

Он остался один. Моль искрой взвилась у его виска. Звонко ударил влёт; убил, плюща ладонью в ладонь; потом вздохнул и, слепенько моргая, растер в скользкий блеск пыльную золотунку.

## 2

«А который... в суде лжет и составит ябеду, ино тех казнити торговою казнью да написати в казаки в украинные города Севск и Курск».

Комаринщина — Курско-Орловский край — была той «преждепогибшей» землей, где издавна селились «воры». По ле принимало ссыльных, давало им коня, пищаль и нарекало стрельцами.

— Быль молодцу не укор, — говорили там. — Людям меж нас вольным воля. — Никто не спрашивал беглеца, кто он, какие его вины. Не чуя беды, сама готовила себе грозу Москва.

Лé ж н и — бродяги-бездомовники ютились в чужих избах по коморам (комарам). Вся волость называлась Комаринской; бурлила и кипела, как овраг в половодье. Боярских дворов было мало, холопов держали на них с опаской. Вотчинник боялся «володеть» мужиком-севрюком...

Под самым Севском, в полуверсте от села Доброводья — лес. Перистолистый ясень и расщепистые стволы сосен-старух укрыли залегший на опушке «табор».

Белые от осенних жаров лоснятся жнивья и севский большак. Алатырские, белгородские стрельцы, комаринские бобыли и казаки выходят из леса и подолгу смотрят на дорогу.

— Очи все проглядел!

— Не видать!

— Должно, придут завтра, — перекликаются они.

Медленно уходят в лес. На опушке — треск раздираемых ветром костров, голосистый паводок толпы. Стоят распряженные возки, станки осадных пищалей. Синит кругом землю частым колокольчиком гөречавка.

— Наделы-то у нас каковы? — несется от сосны к сосне. — Десятина — не боярская: сорок сажен длиннику и поперечнику тож. За кажную пядь землицы — посулы. Вестимо дело — не купи села — купи приказчика!..

— А обоброчили как? — С дыма по курице живой: с сохи да с ворот. Оброк-от невелик: с дуги по лошади, с шапки — по человеку. А и без смеху сказать — с кузни-то берут, с бани, с водопоя тож! Где рыбишка есть, то и рыбу, где ягодка, и ту приметят!

— А ты ведай свое: на столе недосол, а на спине перебол. Да и осыпайся спиной, што рожью.

— Я-те осыплюсь! У меня от дворянска многолюдства хребет погнил. Грамоте знаю, а челобитья писать не смею, — п и с ь м о-то у приказчика на откуп. Как мне на нево челом бить?

Густая сиңья хвоя глушила голоса. Нарезанное полгтями мясо прыгало в котлах. На земле, подобрав ноги и закинув вверх голову, сидел татарин.

— Истомка Башка, — говорил он, летая глазами по верхам дерёв, — Истомка Башка приходил под самый город Коломну. Царь Василья мало-мало жив здоров. Степь наша встала. Мордва встала. Большая с Москвой травля будет!

— А Шуйский-то, — кричал какой-то вихрастый под черной усохшей сосной, — выход крестьянам вовсе заказать умыслил. Сказывают, хто годов за пятнадцать перед сим бежал, и тех обыскные люди станут сыскивать и отдавать прежним государям.



— Эх ты, Соломяные-Кудри, а не все ль едино нам? Ну, откажу тебе выход, а где грошей возьмешь, коль взыщут за по ж и л о е?

— А верно ль бают, что царь на Москве шубами заторговал?

— С него станет!

— Скаредной чорт!

— Шу-у-убник!..

— Эй, братья, ходим к большаку, глянем-ка еще разок!..

Курил духовитою смолкой ровно и густо лес.

— Ходи-и-им!

Сходились комаринцы, из края в край перекликались на поляне.

В конце села на отшибе был господский двор. Вдовая боярыня зимой и летом ходила в куньей телогрее, берегла от прострела крепкую, еще не старую свою плоть, холила борзых кобелей и приглядывалась к молсыдым холопам.

В полдень крепостного Сеньку Порошу позвали на крыльцо.

— Мыльню истопи — сказала боярыня. Взгляд ее, клейкий и медленный, полз по его лицу, как березовый сок. Сенька стоял перед ней ядреный и ладный, и слегка косил. Она усмехнулась и будто сокрушенно качнула голову.

Он набрал валежника, истопил мыльню и выгнал чад. Вошла боярыня, простоволосая, в подубруснике и крашенинном сарафане. Сенька — к порогу. Она заступила ему путь и неторопливо притворила дверь.

— И ты побудь тут! — низким чужим голосом сказала она.

— Чево?!

— Жары-то какие стоят!.. Дрёма долит!.. Мыслью, не сопреть бы мне одной-то...

— Отойди, боярыня!.. — Холоп отшатнулся, и вдруг закипел.-- Отойди, — пораню тебя!.. — Толкнув ее, он шибанул в дверь ногой и выбежал из мыльни...

— Лю-ю-юди! — ударил ему вдогонку крик. — Эй! Вора имайте!.. Борзых!.. Спускайте свору!..

Он встал на кровлю земляного погребя, оглянулся, увидел бегущих по двору людей. Прыгнул — прямо в белую глухую крапиву, липучки и облепиху. Борзые залились. Он выхватил из плетня жердину и побежал. Впереди было гумно. Сбоку мелькнула пара огненно-шерстных псов. Лай обжигал, и Сеньке чудилось, что тлеют на нем рубаха и портища. Он закружил над головою жердь. Воздух обернулся крутым гудом... Стоялая вода блеснула перед ним. Он уперся жердиной в землю — перемахнул и дальше уже не бежал, а только упирался жердью, и, высоко взлетая, сигал кузнечиком по жнивью.

Погонщики не очень старались. Скоро и борзые стали отставать.

Он бросил жердь. Жнивье кончилось. Синяя сумеречная хвоядохнула прохладой в лицо. Потом гул голосов ударил в уши. Он остановился на поляне...

Комаринцы глядели на него. Весь табор на мгновение затих. Старый бобыль Пёпелыш окликнул Сеньку:

— Кто ты, брат, таково угонял? Аль проведаль што? Наши идут?

— Да не, — сказал холоп. — От боярыни едва ушол... Псов спустила... — «Вора имайте!» — вопит... А все оттого, што не захотел быть с нею в мыльне...

— Вона што!!! — Смех долго раскатисто гудел в лесу. Смеялся и Сенька, словно уставший, радостный, перебивавший ногами, как перед плясом.

Комаринец Лошкоймой подошел к нему, медленно разминаясь на месте, сказал:

— Эх, рассукин сын, вор, комаринской мужик!

Сенька, уперши руки в бока и поводя бровями, быстро ответил:

— А не хочет, не жалает он боярыне служить!..

Кто-то крикнул:

— Сняв кафтанишко, по улице бежит!..

Лошкоймой заложил ногу за ногу. Сенька замесил пятками навыверт.

— Он бежит, бежит,  
повертывает!..

— Ево судорга подергивает!

Складывалась песня.

Лес стонал. Тут и там ломали коленца взад и вперед, валяли скоком и загребом.

— Ох, боярыня, ты, Марковна!

У тебя ли грудка бархатна.

— У меня ль да сердце шолковое.

Инно зуб о зуб пощелкивает!..

— Эх, из песни слова не выгородить! — крикнул Сенька и загнул непристойность...

Комаринцы грянули вприсядку.

Гудел лес. Загасали костры, сизо, горьковато дымя. Никла подкованными сапогами колокольчатая синь горечавок...

— Идут! Идут! — вдруг звонко прокричали в стороне. Оборвав пляс, треща валежником, комаринцы гурьбой устремились на дорогу.

Растянувшись на версты, завивая белую жаркую пыль, шел обоз. За ним — по овиди — неровным строем подвигалось ополчение.

Подехали конные.

— Юшка! Беззубцев! — окликнули комаринцы молодого стрельца. — Куды, чорт, правишь? Своих не приметил?

— Здорово! — Не по летам тучный, с серым отекрым лицом ка-

зак спешился. — Заждались?.. Ништо!.. Зато боле двух тысяч нас. А большой воевода один тыщи стоит.

— Он-то где ж?

— А в обозе. Болотников Иван Исаич, — вона он. Я-то с ним, ведь с одного села. Бывалой человек: в турецком полоне был, па паримские земли прошел, а за правду нашу стоит твердо.

— Чево долгое время не шли?

— А в пути-то делов сколь? — лениво протянул казак. — Многой народ пристал к нам. Да заходил воевода в села — искал Телятевских князей. Он-то на них издавна в обиде...

Прошло ополчение, и снова тянулся и скрипел обоз. Но уже кое-где зачернелись котлы, и бледно вымётывался из дымных костровых шапок лепест-огонь. Кони, телеги, пыльные станки пушек стали табором от села до леса...

Болотников вышел к комаринцам без шапки, тихий, простой. На нем был прямой — со схватцами по сторонам — серогорячего цвета кафтан. Он отстегнул саблю, положил на землю и поглядел в высь (там кружили ястреба). Жолтое жнивье полнил трескучий сухой звон. Кони топали, бесясь от оводов и зноя.

— Браты, — негромко сказал он. — Брел я с Венеции-города на Русь и довелось мне пройти Самбор литовской. Зрел я тамо-нашего государя, видел ево ясные очи и говорил с ним. И он же поставил меня большим воеводой, а в речах выказывался царем прямым крестьянским. Обещался я служить ему, и то мое слово верно, да мыслю, и мимо той службы забота есть!..

— Как не быть? — отозвались в толпе. — Людей своих посылают бояре в вотчины и велят им с крестьян имать жалованье и поборы, чем бы им было поживиться. А мы с того кормленья голодом помираем, скитаемся меж дворов!

— А царь-то выход заказать умыслил!

— Юрьев день воротить бы! Вот што!

— Не, браты! — твердо сказал Ивашка. — Иное надобно... Саблю свою кинул, нё возьму, коли не станете меня слушать. Мала искра велик родит пламень!.. Зову вас приказных, дворянство, неправду их силой порушить. Москва — што доска: спать — широка, да гнетет всюду. О Юрьеве дни — закиньте! Вот моя дума: боярство — холопство, крестьянство — господство! Ей, браты, — холопией кабале на Руси не бывать!..

Круг вольницы развернулся, радостно, буйно плеснув гулом. Люди, тесня друг друга, пробирались вперед, кричали, опрокидывали котлы.

— Слово твое — што рогатина!

— Возьми саблю, веди, Иван Исаич!

— Комаринцы-дмитровцы вора́м не выдавцы!

— Ну-те, робята, промыслы водить — замки колотить — наших приказных бить!

— Сельских зорить годите! — сурово оборвал Ивашка. — Первое — двинем на Севск. Посадские пристанут. Запас возьмем... (Он вдруг усмехнулся, смотря куда-то в сторону, широко синяя разными глазами). Живал я в турецкой земле, и тамо еничеры — воинской караул — как смуту затеют, котлы мечут до долу. Гляжу: и вы также; а и вся-то наша земля — што котел бурливой!.. Сбирайтесь ж, братья, собирайтесь в Севск на проход!..

Засветло комаринцы пришли в Севск. Городские казаки, ямщики и ремесленники встретили их. Стоя на деревянной стене, они размахивали шапками и орали во все свое степное горло.

Овражистый, весь в глинистых размывах, городок кишел беглыми, полнился скрипом обозов, деловитой суетой ратного волнения. Болотников вошел в приказную избу. Под окнами стоял народ. Юшка Беззубцев и седой в отрепьях бобыль Пёпелыш стали выносить и складывать у порога книги.

Ивашка стал в дверях. — Ну-ка! — звонко сказал он. — Как мы землю сами себе приберем, то подайте сюда книги государевой десятинной пашне!

Он схватился за саблю. Из ножен выкинулся короткий блеск. В два крутых свиста перекрестил стопку и разметал ногой бумажные лохмотья.

— А как ныне мы сами себе суд и распрос, — сказал он еще громче и звончей, — то дайте и книги всяких судных вершоновых и невершоновых дел!..

Народ двинулся к нему. С криком хватал хрусткие связки, топтал, жог в стороне на кострах, разрывал в клочья.

— Чуйте! — говорил Ивашка, отступя от книг. — Идите к нам все воры, шпыни и безымянные люди, и мы будем вам давать окольниковство, дьячество и боярство!.. Ну, где ваши прокляты кабалы в заемных деньгах?.. Где листы обыскные о беглых?.. Под ветер спустили, под дым! То ли еще будет?!

Комаринцы привели скрученных людей.

— В чем повинны? — спросил Ивашка.

— Да, вишь, воевода, — из тех ябедников, што ссыланы сюда, иные — люди тихие и не бражники, — во приставы порядились. А жалованье имали себе по железное — кого в железа посадят — за день и за ночь с того три деньги. А ныне просят вины отдать им, хотят с нами быть заедино.

Болотников махнул рукой.

— Открутить их!.. (Внезапно лоб его заиграл). — Приставы — ништо, — сказал он. — Многие дворяне и боярские дети к нам пристать мыслят.

— И то зря, — сказал бобыль Пёпелыш. — Путь ли нам с ими? — «Поссорь бог народ — накорми воевод!» — Али того не знаешь?

— Знаю, друже, — ответил Ивашка, — да мне Шаховской для почину не великую рать дал. А придут к нам на помощь дворяне Ляпуновы да Истомка Пашков, все — сила... Бояре с Москвы пошли на Кромы. Надобно посадским на выручу поспешать... А кто из вас, — быстро спросил он вдруг, — в Путивль поедет, для вестей? То — к спеху!..

— Меня бы послал!..

— Али меня! — раздались голоса.

— Ин, ладно, — сказал Болотников. — Поезжайте хотя оба. Да молвите Шаховскому: пушай отпишет государю в Литву, — ему-де и войско не для чего набирать, приходил бы один, дела скоро поправятся!..

Тянуло свежестью полевых трав. Лапчатые листья кленов зажглись и померкли над избой. Городок затихал, горбато уходя в смуглый августовский вечер...

На рассвете выросший за сутки обоз пошел севским большаком вспять. В селе Доброводье комаринцы задержались.

Громко бранясь, они потекли к боярскому двору. Сенька Пороша первый залепил в ворота топор. В хоромах закричали. За тыном показался и тотчас пропал приказчик-немец.

Комаринцы ворвались. Слились: треск разносимых клетей и залиvistый лай борзых, хриплый женский крик и крепкое холопье слово. Там — волокли верещавшую свинью, здесь — выбежал из стойла конь; над ригую сизою скирдой вспухал дым, он то тяжело, мутно, со-черна стелясь, то становился легок и багровел.

В хоромах бранились. Кого-то били по щекам. А на дворе Сенька с товарищами шли вприсядку:

— Как у той боярыни,  
У нашей ли, бравой ли.

— Боярыня, боярыня!  
Государыня, государыня!..

Частый тропот ног не мешал слагать песню.

— На боярыне ль салоп.  
Люб боярыне холоп!..

— На Марковне ль чепчик.  
За Марковной—немчик!

— Эх, боярыня, проснись!  
Государыня, первернись!  
Ну, ей, право, первернись,  
Сделай милость, не срамись!..

— Мар-р-ковна-а-а!..

Весело, озорно покрикивал Сенька. Ломали комаринцы коленца, валяли скоком и загребом...

## 3

«... А как после Ростриги сел на государство царь Василей и... в Украинных и в Северских городех люди смутились и заворовали...

И под Кромами у воевод с воровскими людьми был бой, и из Путимля пришел Ивашка Болотников да Юшка Беззубцов со многими северскими людьми... И после бою ратные люди далних городов Ноугородичи, и Псковичи, и Лучане и Торопчане... под осень быть в полках не похотели видячи, что во всех украинных городех учинилась измена...»

К Кромам сходились все дороги с юга на Окские верховья.

Болотников, за один месяц вздыбивший Северскую Украину, поднял Ливны, Елец, Алексин, Каширу. Те самые Ливны, что «всем вора дивны». Тот самый Елец, что «всем вора отец».

Он шел «на проход» в Кромы выручать осажденных воеводами кромичан. Силы его прибыло. Были с ним холопы и крестьяне, стрельцы и казаки; посадские: серпуховичи, болховичи, туляки, алексинцы, медынцы. — Хмельники, овчинники, скоморохи, москотильщики, сковородники, веретенники, лучники, гвоздочники.

Подле самых Кром люди, посланные «для вестей» вперед, донесли: «Встала Резань старая! Братья Ляпуновы идут всею землею! А в царевом-де стану — шатость; во всех людях неизможение, а воеводы — один одного избыть хотят!..»

Городок открылся на рыжем холме в насупленном дозоре с торж. Иссиня-чорная гряда бора замыкала песчаную ветрянную степь, еще желто-лиловую от мяты, пустырника и зверобоя.

Накануне перелеты из московских полков сказали:

— Воевода не стоит лыка, а ставь ево за велика! Побьете Трубецкого и иных с ним. Не твердо стоят.

В полдень «воры» увидели стан. Накрытые войлоками телеги уходили в лес. Жирно блестел пушечный «наряд» — тяжелые «змеиноты» и «единороги». Над станом шумным клином проносились воробы. Ветер бросал знамя. «Москва» стояла, охорашиваясь и гарцуя.

Стрелецкий голова отъехал от стана и закрычал:

— Лю-ю-юди! Закиньте воровать против великова государя! Нас тута пять тысяч!

— Ногами правил, головою в седле сидел! — крикнули в ответ. — Мыслите вы, сукины дети, со своим шубником нашей крови лакнуть? Пейте-ка воду с лужи да трескайте свои блины!..

— Эй, метлу захвати! Было бы чем, едучи дорогой, от мух пообмахнуться!..

Колючая пыль, слепя глаза, неслась на «воров». Болотников пошел в обход, выиграл ветер, и солнце было теперь «Москве» в глаза. В стане ударили пушки. Круглые черные ядра запрыгали меж рядов, глухо колотя и не взрывая землю.

Все обернулось быстро и так, как никто не ждал.

Закричали, попадали люди, загремело по полю там и тут. И вдруг левое крыло «воров» слилось с правым воеводским, и оба разом ударили москвитян. А из города уже выскакивали казаки, гнали по дороге воевод, перенимали пушки и обозы...

— Побитых людей сгрести да погрести! — сказал Болотников и поглядел в мутную от пыли даль.

— Вона! Резань идет! — пронесся крик.

Шло ополчение. То были вставшие «всем городом» люди Сумбулова и Ляпуновых.

Рязанцы стали обозом и раскинули под городом шатры. Челядь и мелкие бедные дворяне с южных поокских городов побрели к болотниковскому стану.

— Што? — спрашивали «воры». — И Резань богатая за царем худо живет?

— Вестимо — худо. Ныне родовитым нашим людям на Москве не стало мест.

— А нам, — говорили дворяне, — либо итти у церкви жить да дьячком на крылосе петь, либо к вам, во казаки, — все едино!

Болотников, окруженный толпою своих и рязан, стоял на пригорке. — Каковы те люди? — спрашивал он. — Ляпуновы да Сумбуловы? Чево добывают? Богатство аль братство? — И косился сторожким взглядом на завесу ближнего шатра.

— Захар-от, — говорили рязане, — при Борисе был в Ельце на воеводстве, и он казакам на Дон вино посылал, пансыри и шапки железные продавал и зелье, и селитру, и свинец.

— И службу ту кинул, да воротили ево и посекали кнутом... А Прокопий — тот человек умом ясен, душой — гневлив. Да вон он, — гляди, — на горле у него што мех золот...

Ивашка сошел с холма. У шатра стоял широкий в плечах голу-боглазый человек. Он смотрел на Болотникова, разведя черневые дуги бровей и прикрывая будто огнем обложенное горло пухлой рукою.

— Ляпунов будешь, — сказал Ивашка, подойдя близко, почти касаясь рыжего плечом. Они поглядели друг другу в глаза с грубой, простоватой силой, не мигая.

Захар Ляпунов вышел из шатра. Медвежеватый, смуглый, с круто скошенным лбом. Руки его свисали ниже колен.

— Пошто, — спросил Болотников, — с нами хотите быть за-едино?

Прокопий заговорил. Голос у него был мягок и толст.

— Шуйский, как нарекали его царем, то сказывал, чево на Москве искони век не повелося. Што ему-де ни над кем ни-чево не сделать без собору, и боярам великую волю дал. Да еще обеща-лся — которая-де грубость была при царе Борисе — и в том никак никому не мстити. И посля того многих разослал по городам, у иных

поместья и вотчины поотнимал. А нам, резанам, на ево службе мест не стало!

— Стало быть, Димитрию прямите? — сказал Болотников, и усмешка чуть засветилась в его глазах. — А што, как и он земли-те отбирать станет?

— И ево с едем! — темнея глазами, крикнул Ляпунов.

— А может, и так лучится, — приберут земли сии вот люди, — указывая на подошедших комаринцев, сказал Ивашка.

— Дай бог те здоровья, Иван Исаич! — раздался крик. — Верно молвил! Гни осину за вершину, а вотчинника за чуб!..

Ляпунов круто повернул к шатру, взглянул на молчавшего своего брата и проговорил глухо:

— Спорить с тобой не стану. Речь твоя высока, в иное время сам бы тя кнутом бил... А ныне иду с тобой заедино, и ты на меня зла не мысли!..

Ивашка молчал. Ропот возникал у шатра Ляпуновых.

Белое холодное небо летело над головами.

Обозы, скрипя, уходили из-под Кром.

«... Тое ж осени под Серпухов ходил на воров Михайло

Васильевич Скопин-Шуйский да боярин князь Борис Петрович Татев да Ортемей Измайлов... и воры все: Ивашка Болотников да Истомка Пашков да Юшка Беззубцов с Резаны и с Коширяны и с Туляны и со всеми Краинными города з дворяне и с детьми боярскими и з стрельцами и с казаками с Коломны, собрался, пошли к Москве.

И по общему греху тогда воры под селом под Заборьем бояр побили и разогнали, что люди были не единомысленны, а воров было без числа...»

Осень была ранняя.

«Воры» шли бурым пологом отгоревшего леса, красноватым глинистым береговым взбросом. Ударили утренники, и уже под колесами хрупкая стонала кромка, когда они вышли на среднюю Оку.

Под Коломной стояли люди Истомки Пашкова.

Ветер звенел в солонцах. Сухое колючее устели-поле зыбилося, кое-где вмерзши в землю.

Пашков, нескладный, большой, с прямыми волосами мертвого «нагого» цвета, пришел к Болотникову.

— С Москвы посыланы ратные, — сказал он, — да к ним в помочь охотники все: псари конные, чарошники, сытники, трубники. Не побили б нас воеводы, не ведаю, как тя звать...

— Было у меня прозвище, — с усмешкой сказал Ивашка, — посля того — полуимя, а ныне пишу с «вичем»: Иван Исаич. — Воры меня



пожаловали. Горазд, вишь, я воровской завод заводить!.. А воевод побьем!

— Того не знаю, — глухо протянул Пашков и ушел к казакам... Они взяли и разграбили Коломну.

Повернули на Серпухов. К ним отовсюду стекались люди.

Первый снег забелял путь, прикрывал обочины, стаивал в логгах.

Большой полк Мстиславского был разбит наголову под селом Троицким. Лишь под Серпуховом Скопин-Шуйский потеснил «воров». Но силы его нехватило. Он повернул вспять и побежал.

Болотников выслал людей вперед. — Ступайте, — сказал он, — к Москве для смуты! — Телеги поставили на полозья, и обозы покатились быстрее. Казаки пели. Слова сникали по ветру в грустном сыром раздолье.

Выпадала порошица да на такую землю.

По той по порошице шёл тут обозец...

«Воры» шли в Москву «на проход»...

#### 4

Царь был у обедни. Над патриархом, несмотря на зимнюю пору, держали под солнечник — разъемный круг из китового уса, обтянутый тафтой. Патриарх не мог смотреть на солнце. А оно затопляло собор, — жаркую ковровую стлань, дробилось на водосвятной чаше, в о з д у х а х и ризах.

Рыжий гугнивый поп появился в алтаре.

— Было мне видение, — сказал он, — и глас, што-де нет правды ни в царе, ни в патриархе, ни во всем нашем народе...

Все молчали: каждый словно знал, что и впрямь нет ни в ком правды. Царь вышел, остановился на паперти и созвал бояр.

— Велите-ка ставить столы да скликать по приказам дьяков!

Поутру болотниковские листы прилипли ко многим воротам. Шуйский решил отыскать «воровскую» руку и устроил смотр...

Дьяки, робея, один за другим подходили к столам, писали, что говорили им, и становились в ряд на ступенях. Шуйский суетился; вытянув шею, бегал он от стола к столу и вдруг закричал:

— Твой грех!.. — И ухватил за грудь молодого дьячка. — Посечь ему пальцы обеих рук, чтоб вперед к письму были непотребны!..

Он быстро пошел прочь от собора, удаляясь к теремам. Боярин Колычев догнал его.

— Без вины, государь, дьяка казнишь. Не ево рука.

— Ведаю, што не ево, — не обернувшись, сказал царь, — а ты призамолкни, да ступай за мною!..

В брусяных хоробах более не пахло свежей сосной. Воздух был за ж и т ђ й вовсе. Должно быть оттого, что жарко натопили печи.

Шуйский подошел к боярину и сказал, склонив голову вбок:

— Под Кромами смутилось, а и под Серпуховом, под Троицким тож. Бьют воры моих людей. Ляпом бьют, боярин. Эдак скоро они у меня у крыльца станут!

Колычев заговорил. Курчавая, росшая от самых глаз борода разбилась от неровного дыханья в белые хлопья.

— Не злобись на воевод, государь. Не их то вина. Да сам же ты молвил про Северскую землю, што воры тамо — яко сот пчелиной... Во всех людях смута. Во Борисе-городе убили Михайлу Сабурова, в Белегороде — князь Петра Иваныча Буйносова, а с Ливен Михайло Борисович Шеин утек душою и телом, а животы ево и дворянские пограбили...

Шуйский замотал головой. Боярин, помолчав, заговорил опять:

— В Пермь Великую посылал я по ратный сбор, и тех об'ездчиков встрели невместимыми словами, а людей не дали ни единова стрельца... Град Коломну взяли взьем и разорили... А всей-то крови заводчики — Ивашка Болотников да князь Григорий Шаховской. А Болотников тот ныне идет к Москве, на воровство да смуту горазд, а лет ему сказывают двадцать пятый год, не боле.

— Привадить бы ево, — щурясь, сказал царь, — ласкою, а не жесточью: ино чин посулить али иное што... Да еще мыслю, не худо бы Скопина-Шуйского с большими людьми послать. Он-то будет порезвей многих...

— А и на Дону, государь, смутилось, — сказал Колычев, — муромской человек худова рода прозвался царевичем Петром, а ныне сел с казаками в Путивле.

— Иван Крюк Федорыч! — Шуйский слепенько заморгал и взял боярина черной рукой за плечо. — Отпиши в другой раз торговым людям в Вологду и в Ярославль — присылали б они скорее помочь, не то воры-де их, торговых всех, побьют...

Он умолк и стоял, кинув руки в сизом разливе жил, хилый, полуслепой. Ком снега сорвался с кровли, ударил в оконную слюду. Царь вздрогнул и разинул рот, вытянув худую шею.

Село Коломенское (на берегу реки среди поемных лугов) входило в вотчинные земли московских князей — от начала своего было «за государем».

На кровле теремов топорщились гребни, яблоки, орел, лев и единорог. На подворье перед хоромами тучнели ворота из цельного дуба. С теремных башен, крепко связанных в угольные замки, были видны поле, вся Москва, сенокосы и монастыри. Кругом шли сады. Из них бралось садовое с л е т ь ё — слива, груша, кедровый и грецкий орех — «про государев обиход» в патоку и квасы.

Вторую неделю «воры» занимали терем и двор, стояли обозом в садах, вольно раскидывали стан по всей округе. Казаки копали

норы и ходы. Болотников крепил тыном и насыпал землю «острог». Там — расстелив на снегу полсть — спал комаринец, привязав к ноге коня. Здесь — у дымивших костров — гомонили стрельцы, вынимая из кожаных кошельков красные резные ложки.

В теремных осьмигранных сенях, где пестрò был выписан зодиак, стояли Ляпуновы, Пашков и тихий, прикидывавшийся дурачком Сумбулов.

Прокопий говорил:

— Зубцов и Ржев повинились. Хлебнули воровского житья, а боле охоты нет. Ишь, затеяли! — боярской корень повывести, земля — чтоб холопья была!.. А грамоты воеводские чли? — дворян и торговых людей велит побивать, а жон их за себя имать!..

Пашков тряхнул волосами мертвого «нагого» цвета и молвил:

— А с Ярославля, бают, стрельцы посыланы, да из Смоленска царю помочь идет.

— Глядите сами,—тихо сказал Ляпунов,—не оплошать бы, да не сронить голов!..—И ушел в хоромы, оглаживая свое пылавшее меховое горло...

«...С ворами были бои ежедневные под Даниловским и за Язуою...»

А из Москвы прибегали люди, говорили: «Хлеб в цене растет, а укупить не на што. Чево ждете? Доступали б скорей — все будет ваше». Но Болотников не «доступал», и воеводы не шли на «воров» в Коломенское. Проходил ноябрь. Снег лежал плотным отвердевшим настом, а на реке крепчал лед, давно уже годный для переправ.

И вот заблестели морозным блеском селитренные котлы, закрепили сани и пушки, залоснились крепкие черные кругляки осадных ядер.

Боярин прискакал из города. Болотников вышел ему навстречу.

— Эй, вор! — привстав на стременах, крикнул боярин. — От'ехали б твои люди от Москвы миром, и великой государь их пожалует, а тебя особно — на свою государеву службу приберет!

— Приехал незван — поезжай недран! — сказал Ивашка. — Радей ты своему государю, а я буду радеть своему и скоро вас навещу!

Боярин уехал, бранясь и грозя рукой в боевой парчевой рукавице.

Всю ночь горели костры. Раз'ятая огнем кипела зимняя ночная чернота над Коломенским. Воры шли — чуть свет — «доступать» Москву.

В Архангельском соборе отслужили молебен. Царь и бояре — в зеркалах<sup>1)</sup>, железных мисюрках с висящими до плеч сетками и

<sup>1)</sup> Зеркала—складные створчатые латы.

булатных наручах — потекли к воротам. Светло-вишневая зуфь шуб мешалась с дымчатой об'ярью зипунов, с цветною подпушкой ездового платья. Тучные, родовитые, в летучем блеске доспехов, шли они за «домы свои и достатки» против «безымянников воров».

День был серый, холодный и сухой — перед снегом. На «Пожаре» зеленели кафтаны стрельцов и синё топорщились шапки копейщиков с щитками, закрывавшими затылок. Зазвонили в церквах. Ударили трубы. Дворяне, браня дворовых конных, повели ряды.

После всех медленно проехал царь. Он пригибался к луке и взмахивал рукою, будто подгонял бояр и напутствовал их «стоять твердо». Но, когда конь от понуканья пошел быстрее, он осадил его и повернул назад...

На Посольском дворе собрались иноземцы.

Тут были купцы из Любека и Риги, датчанин Исаак Масса и швед Петрей Ерлезунда, которого прислал ко двору шведский король. (Ерлезунда вел дневник и составлял записки о московской жизни.) Сетуя на русские порядки, он говорил:

— Московиты смело нападают, но натиск их непродолжителен, точно они хотят сказать: «Бегите или мы побежим сами!» — И у них постоянно так: все держится втайне, нет ничего заготовленного, и только уже в крайней нужде они начинают спешить, как сейчас...

Шум идущих ополчений прервал его.

— Смотрите, — сказал он, — вон идут дворяне — кричат, гамят, словно полоумные, каждый заезжает вперед, чтобы быть видней!..

Исаак Масса, хмурясь, покачал головою.

— А волокитство их? — из-за него мы не можем торговать; начнем судиться, и наступает, как они говорят, «в торгах беспромыслица». А уехать нам не дают, боятся, что мы разнесем скверные вести, и в наших землях узнают про «воров»...

В стороне Рогожской слободы гроыхнули пушки. Иноземцы притихли, долгое время стояли молча. Потом швед Ерлезунда вздохнул и, коверкая речь, сказал по-русски:

— Каков земля, такова и урожай!..

На рассвете Болотников перешел Москва-реку.

Пашкова он поставил в селе Красном — перенимать ратных, шедших из Ярославля. Ляпуновы сторожили смоленскую дорогу. «Воры» ударили на Рогожскую слободу.

Первые сшиблись с ними «дворянские дети». Они закричали: — «Киньте воровать, государь вас пожалует, а воеводам вашим ничево не будет!» — «Нам такие цари неподобны!» — раздалось в ответ. — «Сами ступайте к нему под крыло — к орлу бесперу!»... — Болотников сбил с поля дворян и пошел вперед.

Его серогорячего цвета кафтан и волчий треух мелькали в кипелой боевой стремнине. Лицо у него было быстрое, живое и играло,

как в праздник, а отросшая борода неслась по ветру тонким серым дымком.

На тяжелых сытых конях насакаали воеводы: князья Барятинские, Хованский, Мезецкий, Бутурлин. Вот один упал, взвилась на ремешке чокма — навязанная у кисти чашка. Вот опустилась на «воровскую» голову брус — каменная граненая булава.

«Воры» забежали в слободские дома, били из пищалей, пробивались дальше. Вдруг казак побежал к Болотникову. — «Один шьет, другой порет, — с белым от гнева лицом вопил он. — Пашков к царю от'ехал!..» — И следом: «И Резань от'ехала! Ляпуновы ушли всею землею!..» — «Люди — жать, а мы — с поля бежать?!» — крикнул Ивашка и вломился в самую гущу. Но уже бежала вольница, смятая, расстроенная, и секли, гнали ее по пятам бояре. — «Обворотись, идучи рядами!» — закричал Ивашка, повернул людей, и, отбившись, укрылся в остроге...

Тогда Скопин-Шуйский, стоявший в Даниловом монастыре, пошел в Коломенское.

Болотников вышел к нему при урочище Котлы.

Ветер срывался с дикого пустого неба. — Сабли до рук прикипают, — говорили «воры», дуя на сведенные стужей пальцы. — Эй, — сказал вдруг Ивашка, заметив впереди людей в поповском платье. — То што за люди? Или биться с нами хотят?

— Ну, да ж, — биться. Попы да чернцы Данилова монастыря противу нас стали!..

Скопин-Шуйский ударил в лоб. И тут набежали подошедшие к Москве смоляне. — «Дело наше преет!» — закричали воры и пустились бегом в Коломенский острог...

Три дня били воеводы из пушек, но разметать земляных валов не смогли... К вечеру загорелось. Ворота с резными кокошниками распахнулись. Болотников выскочил из острога и побежал по серпуховской дороге. Скопин-Шуйский гнал его, но разбить наголову не сумел. Ивашка не надолго задержался в Серпухове и ушел в Калугу...

Солнце другого дня осветило москворецкий, разбитый ядрами лед и толпы «воров», которых «сажали в воду». Их ударяли дубиной по голове и спускали в жгучую черную ледынь. «Мы-то с вешней водой опять придем!» — кричали они. А в патриарших палатах дьяки строчили «известительные» листы — писали пространные, жалобные по областям вести:

«...Собрались украйных городов казаки и стрельцы и боярские холопы и мужики, а прибрали к себе в головы таких же воров, Истомку Пашкова да... Ивашку Болотникова, многие города смутя, церкви божие разорили... и с образов оклады и престолы... обдирали... и кололи ногами и топтали... и дворян и детей боярских и гостей и торговых

всяких... людей побивали и жен и дочерей на блуд имали, и, пришед под Москву, стояли в Коломенском, умысля воровством, чтоб на Москве всяких людей прельстити и смуту учиники, как и в иных городах, и Москва выграбить...»

### Тульское сиденье

Вода путь найдет.  
Старинная пословица.

#### 1

Деревянные стены астраханского кремля лоснились от пролетевший над городом моряны. Жирная наледь покрывала лубяные лабазы на берегу, зимующие на Волге живорыбные садки и на до лбы — связанные стеной у подошвенных бойниц дубовые бревна.

У Мочаговских ворот городские стрельцы и пришлые казаки затеяли спор.

Казаки в татарских штофных бешметах, шароварах и молодецки искривленных шапках грозилась:

— И вы противу вашего воеводы не стойте! Што он Шуйскому изменил — то к добру. А станете биться, и мы бить станем. То наша и сказка.

— Да он же, воевода, — пес! — кричали стрельцы. — Жалованье наше проедает! Не мыслим его правым!

— За Димитрия стоит, то и — правда! И вы б за него стояли да за царевича Петра. Он-то ныне в Путивле, а скоро пойдет с людьми к атаману Болотникову в прибавку.

— А дьяк Афанасей молил, што той Болотников — вор!

— Голову сронит Афанасей!

— С раскату кинем!..

Стрельцы умолкали, задумчиво отходили прочь, пытливо и с опаской косились на казаков...

На гиялянском, бухарском и русском гостиных дворах стоял шум: купцы суетились, прятали товар и торопливо закрывали лавки.

Смуглый, с гривой кольчатых черных волос человек остановился, прислушиваясь к крику. Это был резчик Франческо Асцентини.

Тогда в паркую июльскую ночь он неожиданно для себя изменил путь, круто свернув от Чернигова на север... Тонкий резной месяц висел над полями, над светлою хрупкой тишиной, над черствой от зноя, бездорожной, в колдобинах, землею. Итальянец торопил ямщика, и тот гнал в село, где утром видели они прикованную Грустинку. Зачем? — Франческо не знал. Но, прикатив в село и никого не найдя, велел гнать лошадей вперед...

Спустя два дня он решил повернуть на Киев. Но никто не захотел везти его. Дороги стали опасны. Был только один путь — на Курск.

Он ездил из города в город. В Ливнах его едва не убили. Калужский воевода долго расспрашивал, кто он и откуда едет; не поверил и грозил посадить в тюрьму...

Он пробрался в Астрахань, поселился у земляка Антонио Ферано и жил там, промышляя кропотливым своим делом. Франческо тосковал по родине, но всюду была смута, и он потерял всякую надежду на от'езд...

Старый хромой купец вышел из лавки и остановился.

— Дивны дела! — сказал он, почти со страхом, разглядывая италянца. — А должно ты — ведомой мне человек. Не тебя ль я в Азове за ясырь торговал?

— Меня... А сына своего нашел? — с усмешкой спросил Франческо.

— Не дай бог, — проговорил купец, — сколь горя было. Все проелся тогда в дороге. А все ж угонял тово Ахмет-Сеита, штоб под ним земля горела на косую сажень. Чорт!..

— А зачем опять приехал?

— С товаром я. Дом-от мой ныне в Нижнем. На Москве торговым людям житья не стало. То царя убьют, то, гляди, самого под дым спустят. Лавку мою паны сожгли. Сам чуть жив ушел. А ныне воры под самый город подскакивали. Болотников, человек удалой, беды накурил. А затеял такое, штоб волю взять одним холопам...

— Болотников?.. — И Франческо нахмурился, припоминая. Стрельцы прошли мимо; разом грянул горластый хор:

— А браним-то мы, клянем  
Воеводу со женой.  
Что с женой, и со детьми,  
И со внучатами!..

— Чуешь? — тихо сказал купец, — таково запели — сойдут в воры...

— Заедает вор-собака.  
Наше жалованье,  
Кормовое, годовое,  
Наше денежное!..

Крик раздался в конце двора.

К оравшим стрельцам подбегали другие.

— Казаки секут!

— За воеводу стали!

— Дьяка Афанасея с раскату метнули!..

— Ну, прощай! — заторопился купец. — Дал господь безвременье! И тут немирно!..

Франческо вжал голову в плечи и побежал по гостиному, перемогая страх...

## 2

«...И взять с собою губных старост и целовальников и россыльщиков да ехать по уездом, да тех дворян и детей дворянских и холопов их — всех нетчиков — по списку собрати и выслати... на государеву службу в полки... и велети им ехать под Калугу к нашему стану. А будет, которые... учнут бегать и хорониться, и тем от нас быти в великой опале и тех сажать в тюрьму».

В Москве, подле изб стрелецких приказов, сидели писцы. Они выкликали по спискам ратных, отмечали нетчиков и позванивали зеленоватой медью. Каждому давался меченый грош. «Как придут с похода — те гроши сдадут в приказ, — сочтут воеводы, сколько пришло, сколько побежало»...

На Балчуге в старом кружале гулял «подпивший» стрелецкий кашевар.

— Во! — кричал он. — Посылает меня голова в Калугу кашу варить! А какова та каша будет, ведаете? — С зе-е-ельем!..

— Гляди — посекут тя воры! — хмуро говорили стрельцы.

— Ништо! Чин добуду немалой, коли Болотникова изведу.

— А в Калуге што станешь есть?

— Эко дело! Кашевар-то живет сытее князя!..

В Кремле собирались воеводы, завоеводчики, головы, стрельцы. Шел ратный сбор. В хоромах боярин Колычев устало слушал, что ему говорил Шуйский:

— Сидит вор в Калуге, а с ним людей огненного бою боле десяти тысяч. Мстиславскому ево не унять. Отпиши, боярин, к мурзам в степь, штоб шли к Калуге, к нашему стану.

— Да мурзы, государь, не все за тебя стоят. Иные мордвины воруют под Нижним и многие пакости городу делают.

— Отпиши, боярин! — сказал царь. — Твори, што велят... Ну, ступай! Я чаю, нет боле у нас инова дела.

— Да вот еще. Ходил даве стрелецкой голова Хилков с кашеваром в Аптечный приказ. А как прибирали они зелье, и тамо был немец, твой государев новой дохтур. И он, сведав про ту затею, молвил, штоб посылали и ево в Калугу, он-де вора лутче изведет. И я велел его звать к тебе в терема, и он у крыльца стоит. Вели ево в хоромы кликнуть.

— Зови дохтура!

Шуйский заходил по палате, растирая о грудь засвербевшую ладонь.

Боярин вышел и тотчас вернулся. За ним, бережно неся в руках колпак, шел седой, длинноносый, похожий на птицу, немец.

— Верно ли, — спросил царь, — што можешь ты извести вора и пойдешь на сие дело?

— Верно, госутарь.

— А не солживишь?



Немец выпрямился и взмахнул маленькой красной рукой.

— Кашефар простой шеловек есть. Он госутарю никакой услуга делять не может. Я снай карашо самый лютчий яд. Я отрафлю Ифан Болотникофф. А госутарь должен давать мне сто рублей и поместье.

— Клятву дашь, — сказал Шуйский. — Велите послать за люторским попом!..

Немца увели!.. Думный дьяк с грамотой вошел в палату.

— Государь! При Борисе робят наших посылали в Любку, и ныне буймистры и ратманы из Любки о тех робятах бьют челом.

— То памятую, — проговорил Шуйский. — Еще сказывал я, што побегут робята, не станут они ихнюю грамоту учить.

— Честь ли, государь?..

Царь склонил голову вбок и приставил ладонь к уху.

«Чиним ведомо вашему царскому величеству, что... мы тех робят давали учить и поили и кормили и чинили им по нашему возможенью все добро; а они непослушливы и поученья не слушали, и ныне двое робят от нас побежали не ведомо за што... Бьем челом, чтоб ваше царское величество пожаловали отписали о достальных 3-х робятах, еще ли нам их у себя держати, или их к себе велите прислать».

— Побежали! — радостно крикнул царь и часто, с кашлем и слезами, засмеялся. — Эх, Борис! Не по-твоему вышло!.. А робят тех воротить!..

В палате было светло. Февральская капель стучала под оконцем.

Царь ходил из угла в угол, утирал рукой слезы и покрикивал:

— Побежали! Побежали!

Боярин Колычев ввел немца и стрелецкого голову Хилкова. За ними медленно шел лютеранский пастор Бэр.

— Ну! — сказал царь. — Клянись, дохтур, да поезжай! Погляжу я, хто из вас — ты ли, кашевар — гораздей будет.

Бояре стояли, качая головами. Бэр записывал клятву. Немец говорил:

«...Богом клянусь извести ядом недруга царя Василия Ивановича и всей Руси, Ивана Болотникова; если ж не сделаю того, а обману моего милостивейшего государя Шуйского из-за денег, — то пусть... земля поглотит меня живого... все земные растения... послужат мне не пищею, а ядом; пусть буду я принадлежать дьяволу... мучиться и казниться весь век».

### 3

Болотников стоял в Калуге над Березуйским оврагом в брусяном с резными причолинами доме, откуда был подземный ход на Оку <sup>1)</sup>. Ход начинался ползучими, круто низеющими сводами, сде-

<sup>1)</sup> Дом с палатами XVII в. сохранился до настоящего времени. Известен под названием «Маринкиного».

лажными так, чтобы незнающий их устройства мог разбить себе голову, ворвавшись туда.

За рекою был стан Мстиславского. Рыжая муть костров, глухое кипенье табора и крики игравших в зёрнь застилали поле. По утрам в Калугу на стрелах прилетели грамотки: «Царевич ваш — вор, — писали воеводы, — бездельник Михайло Молчанов, сечоный при Борисе кнутом. И вы бы ему не прямили»...

Болотников обнес город тыном и рвами. — «У нас один глаз в феврале, другой — в марте, — говорили «воры», — поглядим, как ково нас по весне будут достигать!»

Ремесленники и мелкие торговые люди приходили к Ивашке с жалобами на протопопа. — «Емлет-де у нас весчее и гостиное — с какого дела и товара ни буди — с рубля по две деньги» — «А пошто даете? — отвечал Болотников. — Или воли своей не знаете? Ныне никому ни в чем заказу нет!»...

На поле под городом «Москва» сделала мосты на колесах, а за ними поставила туры — деревянные башни для заслону ратников. Сотники и десятники сгоняли с окрестных деревень крестьян, велели им рубить лес и складывать на мостах бревна и хворост. А «воры» днем и ночью копали землю над Березуйским оврагом — ветвили и ширили подземный ход...

На Оке пошел лед. В Калуге было много стругов и лодок с солью. «Воры» попытались уплыть, но воеводы поставили на плотах пушкарей — уйти не дали. А запасов в городе оставалось немного, и посадские люди начинали роптать...

Ясным мартовским полднем в город сквозь стан пробрался холоп. — «Воевода где?» — блестя черным от пороха и земли лицом, закричал он. Его отвели к Болотникову. Ивашка стоял на обрывистом берегу. Внизу — по всему полю — торопливо, боясь упустить ветер, зажигали хворост.

Холоп подбежал.

— Воевода! Чуй!.. К тебе из Путивля от Шаховского помочь шла. И доехали нас на Вырке-реке бояре. Князя Мосальского убили, а людей всех согнали в овраг. И мы крепко стояли. День и ночь, воевода!.. До света! И тут мочи нашей не стало. А был с нами комаринской человек, Сенька Пороша, што из-под Севска, из села сошел. И он-то молвит: «Запалим-де порох! Коли от своего огня не погинем — государевой воды нам не миновать!»... — А сам-то — на бочку, да затропотит. — «Эх, ты вор, комаринский мужик!»... — И тут шибануло меня, землю накрыло, — не чуял боле себя... — Он помолчал и тихо промолвил: — Их, товарищей моих, на шматки порвало...

Крик раздался внизу, у реки. Ратные зажгли хворост и двинули туры — заслон. Но ветер внезапно сник, и огонь загас. В низкую дымовую стлань бойко ударили городские пушки...

Вечером седой длинноносый немец пришел из стана к Серпеечной башне и, молча, стал у ворот.

Его отвели в приказную избу к Ивашке.

— Зтраствуй, Ифан Болотникофф! — радостно сказал немец, будто крылом, взмахивая маленькой красной рукой.

Ивашка смотрел на него, хмурия лоб, не видя лица в избяных сутёмках.

— Царь Фасилий посылал кашефара тебя отрафлять. Царь Фасилий и меня посылал с тем ше делом. Но Фридрих Фидлер есть ше-шестный шеловек. Он не забиль твой благородний услуга, как ты его в Прага спасал от слой смерти...

— Правду бает! — закричали «воры». — Седни кошевара приходил от воевод!

— Ну-ка, сыщем ево, робята!

— Поглядим на царское зелье!..

Они с бранью и криком выбежали из избы.

— Спасибо те, друже! — сказал Ивашка. — А не чаял я тебя тута встретить.

— Я дафно уезжал из Прага... В Москва все узнавал про тебя, про твой дея. Ну как, Ифан, еще дольго будешь воевать с царь Фасилий?

— Я — пахарь, пашущий землю, — тихо сказал Болотников, — пашу и буду пахать ее, доколе не родит она плод...

Утром «воры» повесили кашевара перед городскими воротами. К стане узнали и об измене Фидлера. — «Эй, немец! — кричали оттуда. — Такова-де честность ваша?» — А калужане сходились к воротам, смотрели на кашевара и говорили: — «Лихое ремесло на рель<sup>1)</sup> занесло!..».

С теплыми днями не стало в городе хлеба. — «Ай, месяц май, тепел да голоден!» — говорили «воры». — «В Тулу сойти бы, там-то и запаса вдоволь, и помочь не малая — Шаховской да царевич Петр».

Вскоре узнали: князь Телятевский разбил воевод на реке Пчельне, идет к Калуге.

С утра был ветер. Болотников позвал Заруцкого, молодого «воровского» атамана, и спустился с ним в подземный ход.

Потом «воры» стали сносить туда пузатые черные бочки и всякий боевой запас. Торговые люди зашептали: «Уйти мыслят!»... И вот подул ветер на город. На поле зажгли хворост, двинули туры и покатали груды горящих дров к городской стене.

Калужане закричали.

Сплошной дровяной вал трещал, протянув над рекой мутные космы дыма. Быстрый огненный жор сокрушал валежник, об'едал бревна, выметывал на стены головни и уголья...

Ивашка вышел из подземного хода. С обрыва было видно — за низкой дымовой стланью наступали воеводы. Он подождал, пока

<sup>1)</sup> Рель—виселица.

огонь стал совсем близок, и кинулся к устью глухого, уходившего в приченье лаза.

— Запалайте! — сказал он.

«...И тако подняся земля и з дровы и с туры и со щиты и со всякими хитростями приступными»...

«Воры» выскочили из Калуги и погнали воевод.

## 4

«Которые крестьяне... перед сим за 15 лет в книгах положены, и тем быть за теми, за кем записаны. А которые... крестьянин или холоп или раба побежит от своего государя... и государю искать своего холопа и рабу и крестьянина в 15 летах от побега, а за 15 лет не искать».

21-го мая Шуйский вышел «на свое государево и великое земское дело». «Заказав выход», объявив впервые исковую давность в делах о беглых, он взял и разорил Алексин и пришел под Тулу, где затворились Болотников, Шаховской и «Петр».

Стотысячная рать стала по обеим сторонам Крапивенской дороги. В большом полку — Скопин-Шуйский, в сторожевом — Морозов. Близ реки Упы — «наряд» — пушки с потешными прозвищами: «Соловей», «Сокол», «Обезьяна». При Каширской дороге — за ольшанником и гущей ломкой крушины — казанские мурзы, черемисы и чувашаи.

В низине лежала Тула, приземистая, за стеной, со своими четырьмя воротными башнями. Пушистый болотный седач и темно-зеленый сабельник покрывали поле. Выблескивая из густой травы, проходила под стеною и — дальше — текла городом Упа...

«Воры» всходили на стены, втаскивали наверх пушки, мазали деревянным маслом горелые стволы пищалей. За рекою был стан. Иногда люди из него подбегали близко, кричали: «Эй, Тула! Зипуны здула!» — «Ждала сова галку, да выждала палку!» — отвечали «воры». — Так и с вами будет, — всем вам царь по шишу даст!»...

Близ Кузнечной слободы, в грязной воеводской избе лежал Болотников со вздутым горевшим плечом, медленно приходя в себя после того дня, как встретившие под Тулой воеводы загнали его в город...

Тогда у Калуги «воры» взяли большой запас. В семи верстах от Оки Ивашка встретил Телятевского.

Старый, с белыми насупленными бровями князь сказал:

— Таково-то! — Был ты у меня во холопах, а ныне стал надо мной воеводой!

— Какая обида была, — ответил Ивашка, — о том не памятую. А молви-ка, где ныне сын твой Пётра. Да сказывай, пошто противу царя стоишь?

— Пётра — в Туле, — сказал Телятевский, кладя руку на грудь. — (Блеснули голубым бахтерцы — связанные из колец доспехи.) А што я противу царя встал, то мыслю, — за его кривду и лжу. Как шол Димитрий к Москве, и он ему-то крест целовал, а сел Димитрий на царстве — и он, Василий, в ином крест целует...

...В Туле Ивашка увидал Грустинку. Он не обрадовался ей и только удивился, что так затвердел за эти годы. Она стояла на забитом телегами дворе, все такая же, со слепым взглядом, с синею, кинутой через плечо на грудь косою. Молодой Телятевский вышел из избы, опасливо метнул по двору глазами. И тут Ивашка закипел и медленно, тяжело двинулся к Петру.

— Полно, — глухо сказал он, — не срок ли тебе дать ей волю?

Петр усмехнулся и двинул насуспенными, как у отца, бровями.

— А на што ей воля?! Ныне меж нас — любовь да совет.

— Любовь да совет?! — закричал Ивашка и схватил Петра нывшей от раны левой рукою. — А от ково она вне ума стала? Да мыслишь, не знаю, хто ее, сироту, на чеппи держал?!

Грустинка кинулась к ним, оттолкнула Ивашку и заслонила Телятевского.

— Ступай, ступай! — низким густым голосом сказала она. — Не тронь Ивашки мово, не обижай, княжи ч!..

— Княжи ч?! — прохрипел Болотников и воззрился на них, кинув руку на саблю.

— Таково она всёх кличет, — с усмешкой сказал Телятевский, — не тебя единова!

— Ну, худые ваши любовь да совет! — крикнул Ивашка. — Посек бы тебя, князь, кабы не она!..

...Болотников привстал и потянулся к ковшу на столе — пить. В избу вошли Юшка Беззубцов и крепкая, с веселым румяным лицом баба.

— Не легчает? — спросил Юшка. — Я вот лекарку те привел. Догляди-ка воеводу, жонка!

— Пулька тута либо железо стрельное? — спросила баба, дотрагиваясь до замотанного холстом плеча.

— Саблей уразило, — сказал Ивашка. — Ссаднит да жжёт, ино пить просит.

Жонка осмотрела руку. — Ништо! — проговорила она. — Даве зрела недужного, так у него рана в боку грызет, а кругом красно и синь, и тая рана слывет в о л к. Вот то худо.

Она вынула из посконной торбы охапку сухих трав, взяла узкий пильчатый лист и, намочив в воде, перевязала рану. Длинный пахучий стебель упал Ивашке на грудь. — Што за травинка? — спросил он.

— Нешто не знаешь? Да царь-зелье. А пригодна ко многим вещам: или кто с ума сойдет, или глух издавна, и тем — есть, а хочешь на худой лошади ехать, то поезжай, не устанет...

— Как ты звать, жонка?

— Манкою. С Москвы я при царе Борисе сошла... Ворожил у меня дворянской сын, Михайло Молчанов, и, как начал он про тое свою ворожбу сказывать, што-де видел косматых, как сеют муку и землю (—а в те поры на Москве голод был), — и ево за те речи секли кнутом, а я едва от исцов укрылась. А ныне чуяла, будто той Молчанов, живучи в Литве, прозвался царем...

В избу вошел Шаховской, за ним — «царевич» Петр — молодой с рябым плоским лицом и злыми глазами.

— Здорово, воевода побитой! — хрипя от опоя, сказал он. — А ну, погляжу, каков ты есть!

— Каков был, таков и есть, — всматриваясь в него, медленно проговорил Ивашка, — а ты вот, я чаю, звался Илейкой, а ныне Петром стал. Али не так?

— Признал, чорт!.. На Волге на стругу вместях были!.. Ныне гуляю... Девять воевод побил в смерть!.. А иду я за холопов и меньших людей супротив бõльших и лутчих...

— Ты-то? — Ивашка окинул взглядом его дорогой, залитый вином кафтан и сказал: — Ну, гуляй, гуляй!..

В избу набивались «воры» — туляки, алексинцы, калужане, иноземцы — из тех, что перешли к Болотникову от воевод.

Шаховской заговорил, сутулясь и тряся темной бородой с белым островатым клином:

— Людей в Туле с двадцать тысяч будет, а запаса хватит на месяц, не боле. Из Литвы помочь все не идет. Надобно посылать к государю гонца, Иван Исаич!

— Вестимо, гонца! — закричали «воры». — А сказывать ему таково: «Пущай приходит каков ни есть Димитрий!.. От рубежа до Москвы — все наше!.. Приходил бы и брал, только б избавил нас от Шуйского!»...

— А в Москве-де будет добра много! — крикнул «Петр» и повалился на лавку.

— Ино так, — сказал Болотников, — посылай, князь, гонца!..

— Эй, воры! Винитесь царю-ю-ю!

— Царь птицам орел, да боится сокола, а ваш царь — тетерев, где ему противу нашего сокола лёт держать?!

Болотников стоит на стене. Летят озорные бранные при словья. Мелькают за рекой шапки иноземных войск. Иногда про свистят оттуда хвостатые с рёз ни и вопьются в землю, дрожа, как живые.

«— Оберегись, Иван Исаич! — окликнут Ивашку «воры». — За кожу пансыря нет!..»

— Эй, воры! Винитесь! Государь вас пожалует!

— Царь Борис мудреннее ево был, а и тово скоро не стало!..

Пушки бьют по стене: ядро подле ядра. Скачут по полю чувашши: в зубах — стрела, узда навита на пальцы. Кони у них крошечные с подрезанными ноздрями, с крепкими копытами. — «Глядите, — говорит Ивашка, — караулы б у вас в день и в ночь были частые». — И, задумчивый, хмурый, сходит со стены.

Ночами светлят небо костровые зори царского стана. Прибегают из-за реки люди. «У нас-де в полках гульба, ратные жонки держат и воевод побить грозятся»... А в городе — голод. Торговые люди ходят по домам, смущают посадских: «Сдавал бы воевода Тулу. Пропадут ваши головы за боярами голыми. А хлеба не станет, — приходите к нам, мы дадим»...

Еще одного гонца послали к «Димитрию» в Польшу — Заруцкого. Он достиг Стародуба, но дальше не поехал и остался там. Какой-то человек появился в городе. Товарищи его стали распускать о нем всякую небыль. Стародубцы взяли их и отхлестали розгами. Тогда один из них закричал: «Ах, вы, дурачье! Кого бьете? Поглядите-ка на своего царя, как вы отделали его!»... Прибежал Заруцкий и поклялся, что узнает Димитрия. Стало одним «государем» больше. Это про него говорили потом: «Все воры, которые назывались именем царским, были известны многим людям, а сего вора отнюдь никто не знал, неведомо, откуда взялся». — Это был будущий Тушинский вор.

А в Тулу пробирались люди, говорили: «По всей земле стала смута. Соберутся крестьяне и выберут себе царя; иной — мужик пашенной, иной — сын боярской, а есть царевичи: Мартынка и Ерошка, и царевич Непогода, и царевич Долгие-Руки и царевич Шиш...».

Из Самбора от Молчанова получилась грамота. Ее стали читать на площади. «Воры» затаили дух.

«— Будь ты, Шаховской, Димитрием, — писал Молчанов, — я-то мыслю сделаться добрым помещиком и жить в Польше. Пушай выдает себя за Димитрия тот, кому припадет охота, а я боле не царевич и быть таким не хочу».

— Обещать — то дворянски, а слово держать — то крестьянски! — закричали «воры».

— Шаховской, пес! Обманул! Каков то Димитрий? Едина слава — што печать на Москве скрал!..

Они схватили старого князя. Он вырывался и сулил им денег — Борода козлу не замена! — сказали они и бросили его в тюрьму...

Листобойные ветры намели рыжие скользкие вороха. Сразу наступила осень. Из ближней деревни в Тулу прибежал холоп.

— Чувашши гнали!.. — кричал он. — Беда, братья!.. Был я седни в лесу — крушину ломал. Притомившись, лег, дремлю, чую — голоса гудут. Зрю — двое старцев спорятся, ну вот, биться станут, а мол-

вят такое: «Я-де Тулу потоплю». — «Ан, не потопишь!» — «Не, потоплю!». Страх меня взял, тута я и — бежать!..

— Привиделось те, — сказали «воры».

— Старцы-ы-ы!

— Удумал, дурень!..

А в полдень в стан к Шуйскому и впрямь пришел ветхий старик.

— Дай мне, государь, да тошных людей, — шамкая, сказал он. — Заплоту сделаю, потоплю Тулу.

— Ты хто же будешь? — щурясь, спросил царь.

— Муромской человек Федор, сын Кровков. Древодел я... Дай мне, государь, людей по-сошно<sup>1)</sup>. Тулу потоплю..

Согнали крестьян, велели им носить в мешках к реке землю и делать запруду. Упа разлилась и вышла в городе из берегов..

Утром у мельницы, где река гудела и рассыпалась водяною пылью, собрались «воры».

— Вода путь найдет! — говорили купцы. — Ишь, лабазы-те с хлебом все залила.

Шел дождь. С неба свисала серая нитевая морось. По улицам сновали плоты и челноки.

Болотников стоял у плотины. Рядом с ним — Фидлер и Юшка Беззубцев. Юшка говорил:

— А мыслю я, годов этак сотни через три вспомнят ли нас, как мы в Туле голодом сидели?..

— Вспомнут! — тихо отозвался Болотников. — Вспомнут, Юшка!..

Тут все увидели: у мельничного колеса встал на колоду никому неведомый, пришлый старик.

— Люди тульские! — сказал он. — Я Упу-ту заговорю. Годите малое время, покуда в воду влезу!

Он разделся и, худой, костлявый, нырнул. Потом вышел из реки весь синий и, стуча зубами, промолвил:

— Было мне довольно дела! За Шуйского—двенадцать тысяч бевсов. Шесть тысяч я отогнал, а шесть — за нево стоят!

«Воры» побили его. Народ сбегался к плотине, кричал:

— Иван Исаич! Винись царю!

— Воевод не подолеть!

— С голоду замираем!..

— Вижу, што так!.. — глухо сказал Ивашка. — Ну, братья, ступайте к воеводам: коли обещается царь вас отпустить, не чиня никакого худа, — сдадим Тулу..

Развёдрилось. Солнце низко стояло над мокрым полем. От Шуйского пришел ответ:

«— Целую на том крест, што мне-де вора́м всем дать выход—кто куда захочет, а воеводам их, вору Ивашке и иным ничего не будет»..

<sup>1)</sup> Пахотная земля и села делились на «сохи», по числу которых взималась подать. С «сох» брали и людей на ратную службу.



Болотников вышел из города и с секирой в руках стал у ворот. Сырое дикое поле уходило вдаль. Солнце висело в пару. Над солнцем пластался неподвижный коршун.

«Воры» молча смотрели со стены. Медленно, ни разу не обернувшись, уходил Ивашка. Вот остановился, глубоко вогнал в землю секиру, переехал в челне реку и пошел в стан.

Стрельцы расступились перед ним. Никто не сказал ни слова. И тут подбежали сотники, головы, воеводы.

— Спасибо те, вор!

— Спасибо те, изменник!

— За што? — вода мутными глазами, спросил Ивашка.

— За брата моего!

— За зятя!

— За сына!..

— Не меня вините. Убиты они за свои грехи!

Ему стало тоскливо. Рванулса, жадно забирая глазами овидь. Мелькнула Тула. Коршун в небе сложил крылья, упал..

Удары и брань посыпались на Ивашку... Его отволокли к царской веже. Иноземцы стояли у шатра. Среди них был швед Ерлезунда и лекарь Давид Васмер. Шуйский, глядя на Болотникова, зябко потирая руки, сказал:

— Так вот каков ты вор, што хотел подыскаться подо мной власти!

— Не я тово искал, — весь народ!

— Воры все! — крикнул Шуйский. — То ведаю. Я их с кореньями велю повывертеть!..

И тут вспомнился Ивашке Самбор... Сумеречный палатный свод... Смуглый, в жолтом кафтане назвал его большим воеводой. Он быстро стал на колени и надел саблю себе на шею. — Одному государю служил верно! — закричал он, и лицо его покраснело от издевки и злобы. — Как, государь, не надобна ль и тебе службишка моя?!

### Каргун-Пуоли — медвежья сторона

И Москва-река мертвых не пронесла.  
«Никоновская Летопись».

#### 1

Илейку-Петра повесили под Даниловым монастырем за Серпуховскими воротами. Не всех «воров» отпустил Шуйский. Много их было приведено с «Поля» и посажено в воду под кремлевской стеною. Народ говорил, смотря на заградившие течение трупы: «И при царе Иване было такое, што Москва-река мертвых не пронесла».

На Земском приказе у Никольских ворот — на плоской его кровле — лежали тяжелые, похожие на свиней, пушки. Поминутно

распахивались ворота, десятники и приставы выводили «на правезж» кабацких питухов, вгаскивали взятых за «смутные речи». — «Где подпил?» — накидывался пристав на хмельного прохожего. — «В государевом кружале». — «А не в ином ли месте? Гляди — мимо царева кабака пить не мысли, государевой казне убытку не чини!»...

Люди шли от реки. Их круто сек дождь. Они говорили с опаской, вглядываясь в лица встречных:

— Людей сколь погинуло!

— Да всех-то не перетопить!

— Не нынче — завтра в иных местах заворуют.

— А Ивашку Болотникова в Каргополь угнали.

— Еще жив ли останется? — про то бы дознаты!..

В брусняных хоромах ранняя серость заволокла зеленые печные изразцы. Боярин Колычев держал перед царем чарку, по ней шли чеканные выгибные травки.

— Пирог-от слоезатой солон был! — говорил Шуйский. — Дай-ка-сь еще!

Он, стоя, отпивал квас, и боярин брал чарку из его рук. Лица у них были серые, и по все палате сеялся зыбкий и серый туск. Один только попугай упорно не мерк в островерхой клетке.

— Ну, боярин, — сказал царь, — призамолкнут ныне людишки, — воров побили!

— Побили, да не всех, государь.

— А кои остались, и тех побьем... Казне-то моей в великой убыток воры стали. Ныне, боярин, догляди за винным сиденьем. Штоб посадские мимо кабаков на продажу вина не курили и лив не варили, — против прошлых годов в доходе недобору не было б. Да крестьяне б зерню и картами не играли и плашками-бабками не метали — оброк платили бы исправно.

— А как они зерню, государь, играют, — сказал Колычев, — и вина твоего государева идет больше в расход...

Думный дяк со свитком в руках вошел в палату.

— Отписка, государь, от воевод из Томска-города, а неладно пишут.

— Чево еще в Томске неладно? Ну-ка, чтн.

«В нынешнем, государь, ...году сентября в 5 день принес к нам, холопам твоим... Матвей Ржевский память... и в той памяти, государь, у него написано, как сказал ему... томский десятник... Матюшка Кутьин, что ему сказывал... томский казак Якушко Осокин про тебя, государя... невместимое слово, чего и в ум нельзя взять, что тебе, государю, не многолетствовать на царстве, а быть на царстве недолго».

— Иван Крюк Федорыч!.. — сказал Шуйский. — Дай-ка еще квасу!..

Он разгневанный, красный, часто моргая, заходил по палате.

— Про того Якушку Осокина велите сыскать!..

В дверях появился боярин.

— Шведской посольской человек Пётра Ерлезунда да лекарь Васмер челом бьют!

— Зови!

Вошли швед и немец. Первый приблизился к царю Ерлезунда.

— Король Карлус поручил мне известить, ваше величество, что паны радные и король польский готовятся вести с вами войну.

— Спасибо-де королю за вести, да то я и сам ведаю... Ты, лекарь, молви-ка, с каким делом пришол?

— Братья мои, государь, сосланы на север. За верную мою службу — молю, государь, их воротить!

— С ворами заедно были! — ответил Шуйский. — Пущай там живут, куда повезены.

— Государь, — сказал Колычев, — а Ивашку Болотникова, мыслю, зря угнали. Человек он смутной. Побежит. Ево бы тута в железках держать.

— То верно. Человек он смутной!.. Язви тя!..

— К а з н и т ь! — скрипнул в тишине нечеловечий голос.

Все, вздрогнув, разом посмотрели в угол. В клетке, висая вниз головой, качался попугай.

— Вона, судья смысленной! — крикнул царь и часто, с кашлем и слезами, засмеялся. — А и впрямь, чево от вора ждать? Отпиши, боярин, в Каргополь: Ивашке глаза повынуть, да, годя малое время, посадить ево в воду!

— Царь целовал крест, — тихо проговорил немец и двинулся к Колычеву, — царь целовал крест, дал слово, — я сам слышал!

— Казни-и-им! — протянул боярин и махнул рукою.

— Blut ist nicht Wasser!

— Чего молыл? — Квасу?! — усмехаясь, спросил Колычев.

Тогда оба они — Васмер и Ерлезунда — как по уговору, поклонились и вышли...

Придя на Посольский двор, швед что-то записал в своем дневнике...

## 2

«Город деревянный рубленный, а башен по стенам семь... А тот город — строение давних времен, башни строены шатровые, и те башни и городская стена... и во многих местах кровли и лестницы, что из города на городскую стену ведут — обвалились...»

Ветер дует с Онеги, гонит на город чахлое мелколесье; дымит снегом близкий, срезанный рекою окоём. Тут и там торчит из земли окатистый черный валун — скачет в тоскливом раздольи быллинный конь-камень. Полозья свистят по льду. — Каргополы идут Онегою к морю «по соль».

Город уныл. Да и нет его вовсе. Так, едва приметный ежальный путь кружит в поле от избы к избе за ветхой стеною. Глушь. Медвежий закут. Избы рублены из толстого в обхват кондового леса — с высокими резными трубами и деревянным коньком.

На берегу, где вываренная соль сложена в шестипудовые сапцы, солевозы ругают городского сотника Меркула.

— Откупщик! Правды в тебе нет нисколько! С соляной рогожи емлешь по три и по пять денег — оттого только, что из саней на берег переносить!

Меркул, кряжистый, с раскосым лицом и мерзлыми — подковой — усами, смеется.

— Шолчи-молчи! Стану править на вас извозное, — за брань накину по деньге!..

Ссылные проходят берегом. Среди них — немцы, взятые вместе с «ворами» в Туле. Стали у часовни с крестом, увешанным пестрою ветошью, смотрят на реку.

— А побьют они ево, — говорит один. — Поделом то будет!

— Слэй шеловек есть! — отвечает седой длинноносый немец. — Шалько, што народ здесь очень смиренный.

— Эх, ты, брат, все дрожишь! Занедужил, што ли?

— Нишево! Э-т-то — от старость...

И немец взмахивает маленькой красной рукой.

На озере Лаче днем рубят лед. Выколотые многопудовые «кабаны» громоздятся у польний. В сумерках от зеленых ледин встают ломкие лучики каргопольских звезд. Дорогою в Пудож бредут на стоялый двор озерные ледорубы.

В жаркой, с сутемью божницы избе сидят каргополы, порошане и поморы. «Господи Иусе Христе!» — доносится со двора. — «Аминь!» — отвечает хозяин и впускает гостя.

Русая девка в шитом браном сарафане собирает на стол. Расставляет пузатые чаши, несет мисы грибов — под'ельшей и обабков.

Со двора постучали. Отряхая снег, в рваных бахилах и тулупе, вошел слепец. Молодой, со светлыми прямыми волосами, с дырками прожженных глаз и опалинами меж бровей.

— На Пудож мне, — тыча клюкою в пол, сказал он. — Застыл. Ноги в коленях сволокло, маленько на персты наступает...

— Садись, странной человек! Обогреешься, — может, и старину скажешь?

Лоб его заиграл, краснея и рубцуясь.

— Скажу, люди! Доселе не сказывал, а скажу!..

Его накормили.

— А ты-то не ссылкой будешь? Не с города ли? — спросили каргополы.

Он не ответил. Только жженные рубцы сильнее зачернелись на лице.

Хозяин (болшак) — седая голова — вздохнул и сложил на животе руки.

— Ну, как, старину-ту скажешь, ай нет?..

За столом перестали есть. Слепец заговорил, прямой и страшный, уходя головою в тень божницы:

— А взойдут человеци да на шелом, на гору.

А зглнут человеци да ино вверх по земли.

Чем-то мати земля изукрашена?

Изукрашена мати земля тюрьмами,

Теми ль хоромами, что о двух столбах с перекадиной!..

Стало тихо.

— Беглой! Вестимо! — произнес хозяин. Слепец обернулся на голос, помолчал и снова заговорил:

— А взойдут человеци да на шелом, на гору,

А зглнут человеци да ино вниз по земли.

Чем-то мати земля принаполнена?

Принаполнена мати земля приказными,

Лжою-неправдою мати земля стоит...

— Протекала река да огненная,

От востоку- ту протекала да вплоть до западу.

Ширина глубина да ненамерянная.

Через огненну реку да перевоз ведь есть.

А ишол человечишко, да он зарывист был.

Он и стал у перевозчиков выпрашивать:

— А вы молвите, пошто река—огненна—течет?

Отвечали перевозчики:—То—издревле.

Лютовал-гневовал тут собака-царь,

Рыл-метал людей в воду на двенадцать верст.

В та поры и стала река огнем-от течь,—

Искони-де со дна пышут утопые.

От'езжал человечишко за синю моря.

А была ему поветерь попутная.

Он и в турках был и в латынях живал,

И повсюду правду искал, выпытывал.

Наезжал человечишко самдруг на Русь.

А была ему поветерь попутная.

Он и стал тут дворян поворачивать,

Бояр и приказных поколачивать.

— Ты, вставай, вставай, безымянной люд!

Выдыбай скорее со речнова дна!

Да взойди-ко на гору, на крут шелом,

А зглени какова мати земля стоит!

Да тут скоро ему и конец приходил.

Обступила сила кругом-вокруг несметная.

Загасили ему очи—жогом пожгли.

Он и сам про себя старину складывал...

— Беглой и есть! — сказали в углу. — А хороша старина. Век бы слушал.

— Ну, пойду, — проговорил слепец,

Кто-то сильно затряс ворота. Хозяин, седой и красный, без шапки, выбежал во двор...

— Шолчи-молчи! — послышался в сенях чей-то шопот... Вошел хозяин. — Ну, ступай, странной! Проведут тя. Человек один с тобой на Пудож итти мыслит.

Слепец вышел из избы. Снег захрупуал под его ногами. На дворе стоял сотник Меркул.

— Человек-от вперед пойдет. Ступай за им! — И звонкое бревно заложило изнутри ворота.

Слепец пошел по дороге, чутко следя за хрусткими шагами, — провожатый быстро уходил вперед. Слева ледяным белым щитом лежало Лаче. Меркул свернул с дороги и повел к ледокольням. Слепец завозил клюкой по снегу, — потерял дорогу; остановился, потом быстро двинулся по льду.

Начались полыньи.

Меркул вел прямо к воде. Перешагнул. Слепец раздул ноздри — учуял воду — обошел полынью. Певучие звонкие иверни крошились под ногой.

Меркул споткнулся и, громко выбравившись, впервые подал голос. Слепец остановился (вода была рядом). Сказал: — «Жаловал до уса — жалуй и до бороды!». — И бросил суму, из нее выкатилась на лед баклажка.

— Признал?! — закричал Меркул, вернулся и подошел вплотную. — От меня бегать не мысли! — Он легонько толкнул слепца, и тусклые сабельные клинки вспыхнули в густой черной воде.

Плеск замер.

Меркул, натужась, поднял островатый выколотый поутру «кабан» и бросил в полынью. Потом он подобрал баклажку, сказал: «Утопший пить не просит!» и, довольный, неторопливый, зашагал по льду...

На самом дне неаполитанского «Castello Nuovo» стояли двое. Темный колокол рясы, казалось, врос в ледяные плиты пола. Узник качал курчавой головой на тучной шее и улыбался. Руку его тряс молодой монах.

— Наконец-то мне удалось свидеться с тобою!

— Да, Паскуале!

Узник широко раскрыл зеленые глаза, но солнце ударило в каменный лаз, и празелень сменилась угольною чернотой.

— Какие вести принес ты? Что новою в мире? В этой дыре я не слышу ни о чем!

— У нас — все по-старому. В Калабрии так же крепко сидят испанцы, а о других землях я и сам не много знаю... Вчера вот, по дороге в кармелитский монастырь встретил одного венецианца. Он —

резчик. Жил во время смуты в Московии, сидел там, как в плену. Рассказывал, что какой-то человек поднял простой народ, едва не взял Москвы, но потом его одолели и замучили в ссылке...

— Смотри! — проговорил узник и взял со стола лист бумаги. — «Нынешний век убивает своих благодетелей, но они воскреснут!»...

За дверью кто-то нетерпеливо забренчал ключами...

Швед Ерлезунда отметил в своих записках:

«Царь сдержал клятву, как собака держит пост».

1929

---

# Ш т о р м

я. ШВЕДОВ

При дружном разбое девятых валов  
Ссыпалась сырая земля с берегов.  
Отчалила пристань, качнулись столбы,  
Волна в переломах встает на дыбы.  
Громады у берега шторму перечат,  
Но шторм сберегает удар им покрепче,  
Отступит за камни, посулит беду,  
Кидая на берег холодных медуз,  
И снова ударит и пеной област..  
Качается в море рыбацкий баркас.  
Холодные ветры забыли про милость,  
Рыбацкая песня до крови избилась,  
Избилась до крови, измучась, она,  
Как в узких ущельях при шторме волна.  
Волна по-медвежьи встает на дыбы,  
Свалились навесы, уплыли столбы.  
И в море упала богатая ловля.  
...Далеко отсюда рыбацкая кровля!  
Немного подальше с подушкой кровать!  
Но в море похвальнее нам умирать.  
Пусть волны ударят порывистой, чаще,  
Пусть сонную рыбу бакланы растащат.  
Кидаем баркас! Настоим на своем!  
На берег бросками к своим уплывем. .  
Плыви веселей, держи на огни.  
А если ослабнешь, без крика тони,  
Спокойно глотни соленой воды,  
Чтоб волны скорее сравняли следы.  
Кидаем баркас! Настоим на своем!  
На берег бросками к своим уплывем!  
А если утонем, нас выкинет шторм,  
Как сонную рыбу, крабам на корм!

---



# Неукротимость

Рассказ

А. ДОЛГИХ

З атяжное дело хозяйство. Завлекло оно по уши Федора Сергеича: сначала дом, к дому огород, сад фруктовый, живность повелась, рогатая скотинка, подумывал он бросить слесарное ремесло, — жизнь пошла легкая, сытая, можно было позволить себе баловство. Шла с ним о бок жена его Агния Степановна, женщина не многословная, но в поступках своих неотвратимая. Надо было видеть, как двигалась она, тугая, здоровая. Не устоит человек, если заденет она круто загнутым локтем и, боже упаси, непоколебимым, стальным бедром. Такую женщину можно было в пару коню запрягать, боронить землю. И верно, шла она в упряжи почти двадцать лет, поднимая в гору хозяйство, дом, детей, не рвала вожжи, преодолевала все трудности, посылаемые войной и революцией. Но нельзя пускать под гору такую женщину, нельзя тяжелую кладь снимать с нее. Как дошло дело до легкости, до баловства, зауросила Агния Степановна. Помолодела она от сытой, легкой жизни, все ей стало не по нраву, а может быть, и обленилась она. Посмотрим.

Охотница стала до нарядов Агния Степановна: одеваться стала наравне с дочерью. Тянулась поближе к молодежи. Благоволила заметно к товарищам сына-комсомольца, интересовалась развлечениями в поселке, но жизнь в поселке за шестьдесят верст от Москвы известно какая: мирная, бесшумная, летом изредка забегают меланхолические дачники, а зимой два поезда пустых из города и обратно. Клуб есть летний. Раз в лето кино-картину метрических мер и веса покажут для развития населения — и довольно. Комсомол немного постучит ногами, посвистит, и так сойдет. В поселке трудовой народ обитал: мелкие кустари-одиночки, ремесленники. Народ не избалованный. Здесь пастух шел за отличного музыканта. И Федор Сергеич в своем роде развлечения надумал для Агнии Степановны. Спать ложились рано. Спать не хотелось, а говорить в постели разлюбила Агния Степановна. Благодушно пожевывая, Федор Сергеич предложил:

— А не родить ли нам еще малуша — для ободрения? Ты давно не родила: лет десять. Дух у тебя воспрянет.

Агния Степановна быстро повернулась. Нехорошие у ней глаза были. Птица так оборачивается, если ее тронут — раз, и клювом долбанет.

— Уродоваться с меня хватит! Я свое отродила!

Агния Степановна еще круче повернулась к мужу, выскользнула из-за рубашки грудь круглая, крепкая, как зимнее антоновское яблоко. Крутой локоть глубоко одавил мягкую постель под боком Федора Сергеича, ему стало как-то неудобно лежать, хотелось поправить тело и подумалось ему, что Агния Степановна хочет встать, но она только посмотрела неодобрительно на круглое, добротное лицо его, на квадратные руки и сказала:

— Жук ты навозный. Тебе бы только крестьянствовать, других навозить, не как люди, — из слесарей в техники достигают.

— А что тебе не впору крестьянствовать, грудь для чего у тебя такая?

— Конечно, не жернова ворочать.

Агния Степановна отвернулась, лоб ее глубоко зарылся в подушку. Федор Сергеич обеспокоенный смотрел на нее. Перестал он понимать эту женщину. Но верх одержать ему хотелось, и он выкрикнул:

— А ребеночек у тебя будет!

---

Раннее утро застало Агнию Степановну на погребе: разливала она по крынкам молоко, с легким звоном наполняло оно крынки до краев, и уровень их был равен. Также ровно стояли они рядами — одни на полках над ямой, другие поверх ямы. Тут не только стояли крынки с молоком, тут много было разных горшочков, кувшинчиков, туясков с разносолами, банок с вареньем. С потолка, с крюков свешивалась рыба копченая, мясо, кури, гуси, утки, коренья. По стенам погреба, по полкам ровными рядами опять тянулись отряды крынок, горшков, банок. Еще многое неописанное стояло в яме погреба: Туда уж спуститься не будем. В погреб заглянула мать Агнии Степановны, перепоясанная в трех местах старуха. Сказала с укоризной:

— Сметана застоялась на крынках — зажелтела. Что не снимаешь? Яйца не собраны у птиц, у гусей не чищено...

— Я корову погоню, — сказала Агния Степановна и оставила матери подойник.

Федор Сергеич шел среди яблонь. Рука его сладострастно скользила с плода на плод. Завидев проходившую Агнию Степановну, он отдернул руку, словно занимался озорным делом, и примирительно окликнул жену:

— Смотри — благодать какая... снимать скоро.

Агния Степановна нехотя остановилась. Федор Сергеич, как бы не справляясь с желанием своей руки, опять захватил крупное розовое яблоко в руку и, зажимая и поглаживая его, усмехнулся:

— Эх, молодость вспомнил. Яблоки эти чисто девки. Парнем, бывало, так-то девок по грудям...

Слюна освежила беловатые губы Федора Сергеича. Яблоко, крепко стиснутое им, оторвалось от ветки и осталось в его руке. Агния Степановна повернула лицо в сторону мужа и, морщась, сказала:

— Ах, не приставай.

Яблони зашелестели листьями, закачались тяжелые яблоки. Несколько яблоков упало на землю. Федор Сергеич вдруг построжел, окинул хозяйским оком склоненные ряды деревьев и озабоченно произнес:

— А ты подумала, куда нынче яблоки собирать будем? Кладова-то мала: Гляди, урожай какой.

Агния Степановна приподняла тяжелые брови, и нижняя губа ее, чуть выдвинувшись вперед, презрительно дрогнула:

— Я прежде ребят в подол родила—не охала. А здесь какая забота? От земли дерево поднято, укреплено, а собирать яблоки дурак найдет место. Теперь и делать-то с ними нечего...

Она пренебрежительно шмыгнула носом и пошла от Федора Сергеича в коровник.

— Ну, знаешь ты... — начал Федор Сергеич. Широкая грудь его то вздувалась, то опадала под забравшимся за рубашку ветром. Он стал собирать опавшие яблоки, недовольно ворча: — Чем ублагоотворить?... — и вдруг приподнял голову: — А если козу завести?... И тут же вспомнил, что секретарь поселкового совета обещал дать ему поросенка от своей свиньи. А время выходило уже, что свинья опоросилась. Надо подумать. Он направился к амбару, где временно помещалась у него слесарня. За работой он легче обдумывал затрудняющие его вопросы. Раздутый им паяльник зашумел, заглушая все, и кастрюли, примуса, самовары, сковороды летели из дверей горячими, и обожженная трава чернела под ними. В тот же день к вечеру захрюкал в ограде Федора Сергеича младенчески голый поросенок. Агния Степановна выглянула из окна и зажала уши. Младшие дети выбежали на улицу. Федя, сочинявший самодельный плакат по борьбе с пьянством, передернул спиной, такой же широкой, как грудь отца.

— Развлеченье папашино!

Федор Сергеич, порозовевший, вошел в дом, взял Агнию Степановну за руку и повел ее к поросячьему дворику.

— Вот пока тебе визгун, а крикуна жди впереди... — и озорно засмеялся.

Агния Степановна выдернула руку; в глазах ее было упрямство. Федора Сергеича взглядами трудно было огорчить. Он наложил полное корыто яблок и был доволен, что гнилые яблоки не нужно выкидывать на помойку. С этого дня не опустошалось поросячье корыто. Неустанно наполнял его Федор Сергеич. Он заходил к поросенку по несколько раз в день, мерял его глазами, насколько он прибавляется в весе, горевал о том, что поросенок так мало ест и округлости в нем совершенно

не заметно. Дальше пошло еще хуже: обручами выдавались ребра и топорщилась на хребте, выступавшем лезвием ножа, грязная, редкая щетина. И, наконец, Федор Сергеевич с похолодевшим сердцем заметил, что поросенок едва держится на ногах и совершенно утопает в грязи, а грязь эта жидкая, вонючая, поминутно сеется самим поросенком и совершенно уже неестественно. Нехорошо, очень плохо почувствовал себя Федор Сергеевич. Скулы на его лице заалели, шея укоротилась. Лбом вперед пошел он к Агнии Степановне.

— Не должно этого быть. Не потерплю! Мое самолюбие не допускает, чтобы мы да не могли поросенка выкормить. Чтоб поросенок был здоров или смотри, Агния... возьму вожжи...

Агния Степановна выпрямилась. Стояли они друг против друга. Кто сильнее, кто крепче? У кого рука смелее? Но вошла старуха, отступили они друг от друга, но силы были не измеряны. Агния Степановна сказала матери:

— Мама, займись поросенком — Федор Сергеевич его обкормил.

Старуха осуждающе посмотрела на дочь, покачала головой и вышла. Поросенок поправился, и визгливость его стала на редкость. Визжал он до еды, визжал после еды, визжал, когда собирали на террасе чай, приносили на стол обед, ужин, визжал, когда вообще кто-нибудь показывался на террасе. Визгливость его происходила, видимо, оттого, что Агния Степановна не забывала, как обкормил его прежде Федор Сергеевич, и сокращала заботы старухи о поросенке, а поросенок, окрепший, растолстевший, недоедал, и аппетит и визг его были неукротимы. Выдерживать такой концерт мог только Федор Сергеевич. Он с большим воодушевлением, грохотом и лязгом работал в своей мастерской, и улыбка не сходила с его губ.

— Ничего, полюбите, как мяско да сальце кушать будете... — посмеивался он.

А дом Федора Сергеевича помещался рядом с поселковым советом, и во время занятий и заседаний ячейки приходилось закрывать не только окна, но и форточки, и все же таки визг иногда врвался в прения заседающих. Кто-нибудь говорил недовольно:

— Что это уйму нет на поросенка?

Тогда секретарь, не-партийный, лысый человек, без которого не обходилось ни одно собрание, ибо он был образцовый писец, не без удовольствия говорил:

— Это—мой приплод. Надо взглянуть, какой он здоровый. Где его унять?

И после этого заявления все примирялись с визгом. А кроме того, милый человек был Федор Сергеевич, зачем же лишать его невинного удовольствия. Но не мирилась Агния Степановна. Она ходила, перекосив лицо, как от зубной боли. Прежде она сидела вечерами на террасе, к сыну собиралась молодежь, но теперь все бежали. Старуха уходила в пионерский лагерь. Однажды она замешкалась, и Агния Степановна пошла за ней. В лагерях раздавался пастуший рожок. От скуки, что ли,

или от долгого пастушества, такие необыкновенные рулады и трели выделявал пастух, выигрывал на своем рожке, что бабы слушали его, качая головой, а пионеры зазывали в свой лагерь. Старуха сидела среди пионеров, платок на ней был красный, надвинут на глаза, и Агния Степановна не отличила ее сразу от пионерок. Но при виде непокрытой головы пастуха она забыла о старухе. Она не могла видеть, как ходил он постоянно с непокрытой головой. И теперь различила она прежде всего, какие спутанные волосы у пастуха, неизвестно когда чесанные, и все же они иссиня-черные и в завитках, и в отворот рубахи мелькает женственно-белая грудь. Он сидел, низко опустив голову, со спустившимися до носу волосами, покачиваясь всем корпусом и никого не видя. Старуха сидела также покачиваясь под его игру и, вздыхая, говорила:

— Ну, скажите, разве для коров такая игра?

— Не дудой, а душой играет этот человек.

— Беспризорник какой-то! — вырвалось у Агнии Степановны.

Мать вздрогнула и, как бы заступаясь за пастуха, объяснила:

— Не беспризорник, а бобыль. Была мать — померла. Вся избенка развалилась. За такого неудачника ни одна девка не идет.

— Одеть его надо, — сердито сказала Агния Степановна.

— Разве ему не давали, ведь по договору одежда и довольствие полагается. Так ведь мужики без бабы, они знаешь...

Темнело. Не видно было пастушьих глаз, и неведомо для кого изливалась его душа, воображал ли он себя среди своего стада или чувствовал иные сердца человеческие, но не верилось, что в руках его простая пастушья дудка. Агния Степановна сидела, закрыв глаза, забыв о матери, о пионерах. Бродили в ее существовании с ломотой и болью отпущенные ей щедроты, не излитые ею в жизнь... Звук сборного пионерского рожка заставил ее вздрогнуть. Пионеры быстро повскакали. Пастух умолк. Агния Степановна поднялась и подтолкнула мать:

— Пусть придет за рубахой и шапкой... скажи... — и, не договорив, ушла, не дожидаясь матери.

Пастух не пришел за посуленными ему вещами. Агния Степановна не верила матери. Старуха божилась. Тогда она усомнилась в должном обхождении матери с пастухом, не задела ли она его грубым словом, и велела просто отнести пастуху рубаху и малоподержанную фуражку сына. Прошла неделя-другая, месяц, а пастух все ходил с открытой головой, и волосы его казались еще более спутанными.

Агния Степановна, выгоняя корову, всякий раз с напряжением следила за появлением пастуха, и всякий раз ее ожидания были напрасны. Пастух шел кудлатый, нечесанный, и, не откидывая спадающих ему на самый нос темных завитков, дудил под их навесом в пастуший рожок, извлекая несвойственные рожку соловьиные трели. Агния при виде его стала испытывать глухое раздражение.

Ударили первые, ранние заморозки, когда воздух становится гулок, в нем появляется ледяной, металлический звон. Когда происходит какое-то самоуглубление природы. Деревья делаются сухи, строги, земля под омертвевшей травой, еще не покрытая снегом, кажется замкнувшейся сосредоточенно, глубоко в недрах, когда летят первые остро колющие снежинки, — в такой именно день пастух шел по улице по направлению к лесу, один, без стада, понурившись, может быть, по привычке совершая обычную со стадом прогулку, теперь прервавшуюся до следующей весны. Рожок был засунут за пояс, и правая рука лежала на нем, как бы готовая каждую минуту овладеть им и поднести его к губам. А голова его попрежнему была не покрыта. В черных волосах сединой мелькал и пропадал синеватый снег. Агния Степановна, увидев пастуха, пришла в неистовство. Она сама с непокрытой головой выбежала на дорогу, схватила пастуха за рукав и втащила его в дом. Там она сдернула с гвоздя первую попавшуюся фуражку и натянула ее на голову пастуха.

— Теперь иди!

Пастух ошеломленный. постоял немного и вдруг спросил:

— Какая твоя корова?

— Рыжая.

— Грудь с отметиной?

— Да...

— Знаю... А шапки мне не нужно, — он сбросил с головы фуражку и кинул, не обращая внимания куда. Она укатилась под кровать. Он невольно проследил за ней, и, когда она, скрывшись за кружевами простыни, пропала, глаза его уперлись в высокую кровать с двумя пирамидками белых подушек. Душно было глядеть в это мягкое, теплое место. Пастух попробовал перевести глаза куда-нибудь подальше. Он вел их по полу, и остановились они на ногах Агнии Степановны — рыжие, крепкие, округлые, с причудливым копытом. Второй пары ног не видно, и вымени нет, да оно есть, но странно высоко. Непонятно все переместилось. Ему показалось сначала, что он по привычке оглядывает новую корову в стаде, а тут все сложение идет против обычного порядка, и нужно ему понять, в чем дело. Да, вымя где-то не на месте. Он поднял глаза и только тут понял, что перед ним не корова, а женщина, которых он так редко видит близко и так отвык от них. У этой женщины крутое вымя, голая, безволосая шея, такая тонкая против коровьей, и глаза большие, но животного спокойствия в них нет, под ними беспокойно, нет, под ними щекотно, как под жарким веником в бане, и нутро словно обмывается. Она говорит, она о чем-то спрашивает: «Да, что ему нужно?». Он давно не был в бане. Баня? Нет, этого мало. Ну, ясно, не баня ему нужна, а такая баба, как эта. Тогда придет все, чего ему нехватает. Но хлещут его женские глаза по лицу, по голове, по груди, по коленям, по всему телу, все тело исполосовано, испарина, угар, угар. Язык не может шевельнуться. Вон отсюда на свежий воздух, или он задохнется. Как бы ища выхода, пастух оглянулся: опять

кровать, духота, испарина. Пестрая дорожка—и опять к кровати. Кругом какие-то непонятные предметы, он едва припоминает их. Окна. Какое-то странное блестящее стекло между ними, похожее на них и не то, и там опять эта женщина. Да, это зеркало, он вспомнил. Ему вдруг захотелось рядом с этой женщиной увидеть себя самого. Он сам для себя совершенно неведомое существо. Пастух шагнул к зеркалу, и первое, что увидел, это — черная баранья шкура на голове, спутанная, с приставшим к ней мусором, совершенно скрывающая глаза, и длинный острый нос, и острый, как нос, подбородок. Он это или не он?

Женщина повторила:

— Что же тебе нужно?

Его глаза скользили по гладкому стеклу, и в самом низу под ним он заметил отразившуюся там со столика гребенку, и на ней задержались его глаза. Он протянул свою руку и толкнулся казанками в стекло, потом понял свою ошибку и взял с подзеркальника гребенку. Он еще не мог сообразить, зачем ему нужна эта вещь, но что-то толкало его к ней. Она необходима ему. И, ощутив в руке мягкий холодок гребеня, он почувствовал какое-то успокоение. Рука его машинально поднялась вверх, но он вдруг смущенно опустил ее, крепко зажал в руке гребенку и робко произнес:

— Могу я взять это?

Женщина не могла удержать свою руку. Непреодолимо было ее желанье. Она взяла у пастуха гребень и сама потянулась к голове его...

---

Поселковая ячейка вынесла постановление открыть в поселке избу-читальню, организацию же читальни поручить комсомолу. Но легче вынести постановление, чем выполнить его: все национализированные дома были давно распределены под учреждения, вновь национализировать было не у кого, а добровольно предоставить помещение никто не предлагал. Выбранные по этому делу Федя Домрачев и Гриша Козырев ходили по поселку в надежде выгледеть что-нибудь для читальни. На краю поселка, у реки, они натолкнулись на странную избушку, по типу и окраске бревен несколько устаревшую против соседок и даже всего поселка, отстроенного заново. Половина окон была в ней заколочена, половина заклеена бумагой с осколками стекол. Можно было думать, что она необитаема. Двор наполовину разгорожен, и ничто не указывало в нем на признаки жизни. Комсомольцы толкнулись в двери, и она открылась, но в сени из избы вышел человек. У него был странно белый гладкий лоб и обветренные яркие скулы, также странно белели неестественно уши, и шея позади коротко подстриженных волос белела лентой между волосами и шеей ниже к вороту рубахи. Было ясно, что эта белая кожа была летом под тенью волос, а теперь, когда они были сняты, она резко выделялась. Феде показалось что-то знакомое в лице этого человека, но где он его видел, Федя не мог припомнить.

— Кто ты такой? — быстро спросил он. — Я тебя никогда не видел в поселке.

Человек смотрел так, словно ожидал кого-то другого.

— Я пастух Иван... Пастух... — и он потянулся к поясу, но рожка он не нащупал за поясом и еще более растерянно спросил:

— Это она вас послала?

Федя едва мог признать пастуха.

— Кто это тебя так?

Пастух опять поискал за поясом свою дудку и растерянно молчал. Федя покровительственно положил ему на плечо руку, кивнул Грише, и подталкивая пастуха, вошел с ним в избу.

К весне, плохо ли, хорошо ли, но Федя что-то организовывал. Он перетаскивал куда-то книжки, пока-что набранные у товарищей, покупал сам, заставлял покупать товарищей, увлек в это дело мать: она нашивала белые холщевые буквы по красному кумачу.

— А где эта читальня, в чьем доме будет?

— У пастуха, — ответил Федя.

Агния Степановна положила руку на кумач и строго посмотрела на сына.

— Ты что, смеешься?

— Ну, вот еще? Сначала думали — не втолковать ему, а теперь...

— Притесняете вы человека, вот что... а он и так...

— Кто его притесняет?! — обиженно завопил Федя. — Да его узнать нельзя. Стрижется, бреется, помолодел, книжки читает. Хоть в комсомол записывай, — посмотрел на сестру и засмеялся. — И девчонки что-то зачистили в читальню...

Глашка фыркнула и пихнула брата. Агния Степановна внимательно прочитала нашитые на кумач лозунги и внимательно посмотрела на детей.

— Я приду, посмотрю, что вы там делаете, не озорничаете ли?.. — Она присела около сына. — А что, толковитее он стал, чище?..

Но собраться в читальню не удавалось Агнии Степановне, ибо приближалась пасха, и Федор Сергеич со дня на день развивал предпраздничную суматоху. Он уже давно простил жену, возвращенный ее и бабкиными заботами и трудами боровок превосходил все его ожидания. Он любовно и как никогда почтительно обращался с Агнией Степановной, ставил ее в пример детям, как образец порядочности и женской добродетели, а вне дома неустанны были его восхваления Агнии Степановне, как образцовой хозяйке. Агния Степановна казалась очень занятой хозяйственными хлопотами, в обращении она стала строже, еще меньше говорила. И когда Федору Сергеичу приходило желание приласкать ее, как в дни молодости, озорно и весело, его охватывала робость...

Приближался май. Члены комячейки сошлись на заседание: необходимо было вырешить, сдавать ли в аренду земельные участки за прудом — касса нуждалась в средствах. Но постоянного сотрудника заседа-



ний, исключительно литературно составляющего журнал заседания, и секретаря совета, Прокопия Лобаченко, не было. В первый раз он не пришел раньше всех, и вообще не шел, когда все уже собрались и даже устали ждать его. Кто-то вспомнил, что видели его на Коммунистическом проспекте, шел он по направлению к совету, но его не было. Потом некоторые заметили какую-то особенную тишину со стороны двора Федора Сергеича. Всегда и даже с возрастом не унимался от визга боровок, а тут вдруг тишина и тишина, и чувствуется — необыкновенная какая-то.

— Я пойду, посмотрю, — сказал один из членов ячейки. — Не на дворе ли у Федора Сергеича наш Лобаченко и не случилось ли что-нибудь со свиньей?

И он ушел. Долго его ждали, но он не возвращался, послали другого, и он застрял, тогда пошли еще двое, и в совете остался один председатель.

Да и было от чего пропасть Лобаченко: Федор Сергеич зарезал к празднику своего борова, и Лобаченко, очевидно, не одну свинью вскормивший когда-то на Украине, и спец по освеживанию свиной туши, помогал теперь Федору Сергеичу заниматься этим делом. Это походило на праздник! День был до краев залит солнцем. Под его лавой все сияло и светилось. Ослепительно белели березы, травы текли густой зеленью, почки на яблонях пухли, множились в листья. Дорожки бежали, как политые желтым маслом. Полкан сидел перед будкой, и лай его несся, как колокольный звон. Вторили ему колокольцами дети, столпившиеся около Федора Сергеича, и масло капало с лица его. Он держал перевернутую спиной к земле свиную тушу за передние ноги, а Лобаченко, вооружившись острым ножом, кромсал свинью. Разрезая, он обменивался короткими словами с Федором Сергеичем. Руки обоих были в крови. Запах сырой крови густо наполнял ноздри. Брызги крови попадали в рот, на одежду, на землю. Все пропитывалось ею. Запах был крепкий, жирный и хмельной. У Федора Сергеича были обмягшие щеки, влажные губы. Ему, как в хмельном тумане, хотелось объять весь мир и каждого в отдельности. Он вспомнил все голодные года, лишения, борьбу за кусок хлеба для семьи. А теперь сколько пищи перед ним, сколько жирного, питательного мяса. Все будут сыты надолго, и все довольны. Даже собака — и та понимает, что и она приобщится к общему благополучию, и лай ее весел и хмелен. Запахи крови лились по всему двору. Вот она густо стекается в жирной туше, разрезанной вдоль, и все глубже и глубже уходят в нее руки Лобаченко. Он выбирал из туши кишки, ливер, сало, а Федор Сергеич ревниво проделывал тоже самое своими глазами. Передавали все это старухе — матери Агнии. Старуха, довольная и уже сытая жирными и обильными запахами и ощутимым обильным запасом мяса, со слюной на губах копошилась в кишках, обирая с них сало. Лобаченко хмельно говорил:

— Эх, удовольствие! Мне бы только резать кого-нибудь... Я бы такие операции... Вы посмотрите, как я сейчас раскрою...

Из туши на землю побежала скопившаяся внутри кровь. Федор Сергеич вдруг всполошился:

— А кровь? Куда же вы кровь? Смотрите — сколько!..

— А мы кровяные... кровяные колбасы... — пропел Лобаченко.

Боже, как люб он был Федору Сергеичу. Но жена его возмущала. Занялась чем-то в доме и не показывается. Он крикнул ей принести таз для крови, но она не ответила. Ребята же, увлеченные настроением отца, с завистью следили за Лобаченко, им так же хотелось ловко и смело кромсать и кроить острым ножом в свиной туше. Когда ему принесли таз, он укрепил между кольев свиную тушу и полными пригоршнями сам стал вычерпывать и сливать кровь в посудину. Агния промелькнула в окне, и он, захлебываясь от счастья, не мог ей не крикнуть:

— Агничка, иди посмотри — кровь-то какая, будто вишневый сироп!..

Сын взглянул в окно и сказал:

— Она мне помогает...

«Какие чудные есть люди, безчувственные...» с горечью подумал Федор Сергеич. Но тут начали отделяться от туши окорока, лопатки, грудинка, сало, и Федор Сергеич, унося это все в кладовую и развешивая по крюкам, позабылся. Общее оживление во дворе возросло. Громче и увереннее зазвонила собака. Выше и ярче взошло на небе солнце, совсем подобралась тень под яблонями и вишнями. Волнами поплыл не только по двору, но и за изгородь хмельной запах. Он ударил по ноздрям ячеешников, забывших про заседание, забывших, зачем они пошли к Федору Сергеичу, о председателе, ожидавшем их, о секретаре Лобаченко, заставляющем их терять время. Один с увлечением воскликнул:

— С праздником, Федор Сергеич!

— Опьяняющее это дело — хозяйство... — добавил второй, — хорошо бы так опьяняться коллективно...

Только четвертый напомнил о цели присутствия их здесь. Нужно было отозвать Лобаченко. Но один из троих предложил заменить его. Четвертый же вдруг сразу вспомнил, что Лобаченко совсем беспартийный, и даже вообще следовало бы совершенно снять Лобаченко с этой должности. Когда же сообщили председателю, что зарезана свинья Федора Сергеича, он взглянул близорукими глазами в окно, выходящее на двор Федора Сергеича, ничего там не разглядел, но визга не было, и он облегченно вздохнул: можно будет спокойно работать в совете.

Федор вышел из дома с большим свертком под мышкой. Агния Степановна провожала его.

— Помогать тебе я не прочь... только мне стыдно твоих...

— Ну, ничего, назовут тебя Р. К. И., только и всего, — успокоил он ее.

Агния Степановна вышла во двор, где еще хмельно носились сытые, пьяные запахи и вытирал вспотевший лоб Федор Сергеич. Она

зашла в кладовую. Как дорогие картины, развешивал по стенам на крюки куски сала и мяса Федор Сергеич. Лицо его было молитвенно.

Агния Степановна вдруг прислонилась к стенке, и ее затошнило... Федор Сергеич оторопело взглянул на нее и только тут заметил, как она располнела.

— Э-э... да крикун-то, видно, не далеко!..

Он провел квадратной ладонью по согнувшейся спине Агнии Степановны. Поза ее говорила ему о покорности. Грудь его лоснилась от сала. Руки были жирные, липкие.

— Ну, теперь все хорошо будет...

Агния Степановна, стараясь преодолеть тошноту, вышла из кладовой, постояла у крыльца, как бы собираясь что-то сказать Федору Сергеичу. Спазмы сжимали ей горло, и она пошла вон из двора.

Средств на избу-читальню было отпущено мало. Книги из центра еще не присылали, получались еще только две-три газеты, да Федя собрал в ней то, что удалось ему раздобыть у читающих товарищей, и то, что они могли купить на свои средства. Да и сама изба требовала такого большого ремонта, что посельчане заходили, ухмыляясь, и ехидно говорили: «пойду уж лучше на станцию, тоже и мы не скоты, чтобы в таком сарае прохлаждаться...»

Федя принимал это близко к сердцу, возмущался, хлопотал, но еще не мог сообразить, как наладить дело, и не могли ему помочь в этом молодые товарищи. Агния Степановна застала сына одного. Она внимательно оглядела неуютную избу, закопченный потолок и стены, грязный пол и попрежнему наполовину заколоченные окна. Опытный глаз ее быстро перечел все недостатки, и она, туже завязывая на голове платок и обтягивая на себе жакетку, как бы собираясь в дальнюю дорогу, медленно сказала:

— Ну, тут надо серьезно. Тут одними красными тряпками, сколько их ни развешивай по стенам, ничего не возьмешь...

Пастух из-за дверей, не входя в читальню, настороженно следил за ней. Она, осмотрев убогую читальню, повернулась к нему и сказала:

— Ну, а у тебя в горнице, наверное, кроме твоей дуды пастушьей, ничего нет?..

Пастух попятился, пошарил на боку рожок и, найдя его и крепко схватившись за него, уверенно произнес:

— Нет, есть гребешок еще твой...

Что-то дрогнуло в строгом лице Агнии Степановны. Но улыбки не было, она только в упор посмотрела на пастуха, а он под давлением ее взгляда все дальше отступал от двери в сени, пока не почувствовал, что неудачливая голова его скрыта непроницаемыми стенами от взгляда этой хлесткой женщины. Но и здесь тело его горело, как под ударами горячего веника.

Агния Степановна почти просительно посмотрела на сына и, побеждая в себе какое-то чувство, спросила:

— А если я останусь здесь и помогу вам?..

— Ты будешь приходить сюда?

— Нет, я останусь совсем...

Сын, не вполне понимая мать, молча смотрел на нее. Он уловил в голосе матери непоколебимость. Прежде никогда не думал он об этом, на что способна мать, но теперь, после минутного раздумья, многое вспомнилось ему из жизни матери, когда она боролась за благополучие семьи. Он еще внимательнее посмотрел на нее и впервые заметил, что мать совсем не старая женщина, хотя она и вдвое старше его. Но у ней совсем гладкое, розовое лицо, на котором так хорошо укладываются ее строгие черты, и непокорные глаза. Но трудно понимать сыну родившую его женщину.

— Но ведь здесь же пастух живет, а ты?..

И вдруг совершенно невероятная догадка коснулась его сознания. Неприязнь и чувство собственности прежде всего поднялись в его душе.

— Ты?.. — и замолчал. Восприятие, что она мать и только мать ему и его братьям и сестрам, сразу отдалилось, он почувал в ней чужую женщину, имеющую какие-то идущие помимо его желанья. Но чувство собственности было сильнее, и он громко выкрикнул: — А отец, а мы все?..

Агния Степановна ласково и побеждая овладевающее ей смущение, выговорила:

— А что я могу еще сделать для вас? Я сделала все. Разве вы нуждаетесь во мне? Нет. У отца же налаженное хозяйство, и вести его может другая женщина...

Сын внимательно вслушался в ее слова и тщетно искал возражений, их не было. Но что-то противилось в его душе уходу матери, и он молчал. Агния Степановна почти просяще продолжала:

— Да и должна я... А здесь одно помогает другому... Мне легче...

Сын, раздумывая, молча смотрел на мать, не зная, одобрять или порицать ее; Агния Степановна, смущаясь все более, уже не поднимала глаза на сына.

— Значит ты меня не одобряешь? Но вы же иную жизнь делаете? — В голосе ее была укоризна.

Федя, задетый ее словами, подумал: «Но это же связано с позором. Наконец, разве заслужил это отец?» Он припомнил многое, чего прежде не замечал. Что бы он о нем думал, если б это был посторонний человек? Оскорбленное чувство за отца ослабело. Да, пожалуй, чужую женщину Федя одобрил бы... Но этого все же не может он сказать матери...

— Пойдем... — только и мог выговорить он, и оба вышли от пастуха, но на полдороге Федя оставил мать, и они разными дорогами вернулись домой.

Утром Федора разбудили громкие всхлипывания бабки. Она сидела на полу в спальней перед узлом белья и плакала, причитая, но

никто не мог разобрать, о чем она причитает, да и никто особенно не интересовался. Отца не было дома. Федора сразу охватило беспкойство, он вскочил, поспешно, кое-как оделся и вбежал к бабушке. Она причитала, вытирая глаза концами узла, лежавшего на ее коленях:

— За што мне позор такой... всех опозорила, осрамила... все будут языками трепать... все пальцами указывать... От такого добра, от достатка, куда? Сколько лет наживали...

Взглянув на узел с материнскими платьями, наверное, отобранный от дочери старухой, он сразу все понял и, не спрашивая старуху, убежденно сказал:

— Сейчас, бабка, я верну ее.

В душе его загорелось враждебное чувство к матери. Она не думает о их позоре, а только о себе. Он знал, как теперь поступит: возьмет мать за руку и хотя бы она сопротивлялась, силой приведет ее домой. С этой мыслью он выбежал из дома.

Еще не доходя до пастушьей избы, он издали увидел пастуха, копавшего заросшую дерном землю, давно не троганную. Он замедлил шаги, незамеченный им, вошел в читальню. Еще вчера забитые снаружи окна были раскрыты, наскоро сколоченные из досок ставни были открыты в нутро и вместо петель держались на холстинах. Солнце гуляло по-летнему. В избе было недавно вымыто — оставались еще вдоль щелей сырые полосы, и бежал от них пушистый парок, пропадая в лучах солнца. В другой половине над шайкой с известью он увидел мать. Она белила закопченные стены. Была в нижней юбке, живот ее сильно обрисовывался, грудь, далеко откинута назад, не скрывала его. Увидев этот выпирающий живот и удовлетворение на лице матери, он вырвал кисть из ее рук и схватил ее за руку.

— Чей ребенок?

Агния Степановна обернулась к сыну и твердо выговорила:

— Пастуха.

Федя медленно выпускал ее руку, было ясно, что должен он перенести стыд, который нес ему перед поселком поступок матери...



# Яблоневый цвет

Рассказ

ПАНТЕЛЕЙМОН РОМАНОВ

## I

**В** деревне Бутово, что стоит на высоком загибающемся берегу реки, мужики издавна сдают свои избы под дачи. И те из них, кто строился в последнее время, приспособляются к вкусам и потребностям дачников — городских жителей, благодаря чему эти постройки уже похожи на настоящие дачки, а не на крестьянские избы.

Только крайний от реки домик, принадлежащий ветхой старушке Поликарповне, во всех отношениях отстал от моды. Он покосился, покривился, крыльцо его, подпиравшееся столбом из кирпичей, одной стороной висело над полуобрывом, спускающимся к реке. Под этим крыльцом всегда собирались от жары чужие собаки, куры, которые, разрыв прохладную в тени землю, лежали вразяжку. Когда кто-нибудь, проходя мимо, свистал им, собаки только испуганно поднимали головы с мутно-красными от сна глазами, потом опять растягивались.

Это крыльцо уже давно грозило обрушиться и похоронить под своими развалинами случайных постояльцев. Да и весь домик с отставшими от старых рам стеклами в его трех окошечках и расшатавшиеся ступеньки крыльца говорили о полной немощи своей хозяйки.

Ветхость домика и ветхость самой хозяйки отпугивали дачников, и в то время как все дачи в деревне разбирались, у Поликарповны большую часть оставалась свободной ее хибарка.

Каждый раз наниматели, обойдя сначала домик снаружи, говорили владелице, что они пройдут посмотрят еще другие, а на обратном пути, вероятно, найдут и снимут ее хибарку. Но не было еще случая, чтобы они заходили на обратном пути.

Было только одно достоинство этого домика: это то, что он стоял крайним от реки на высоком известковом берегу, и с его крыльца далеко был виден каменистый загиб берега с полосой от разлива, проточенной в известковых камнях.

И если бы на месте этой развалюшки стояла исправная дачка, то не было бы отбоя от нанимателей.

Каждую весну у Поликарповны начиналась тревога: каждый прохожий городского вида заставлял с силой биться ее сердце. Она старалась нарочно не смотреть на него, чтобы зря не волноваться, но ее уши против воли напряженно ждали, не обратится ли он к ней.

## II

И вот, наконец, счастье пришло: из города зашел какой-то человек в серой кепке с полуседыми волосами и в рыжеватых сапогах с короткими обтершимися голенищами. В руках у него были удочки, треножник и маленький чемоданчик.

— Ну-ка, бабушка, комнатку мне откомандируй, — проговорил пришедший.

Он, не торгуясь, снял комнату за 30 рублей в лето и деньги тут же отдал все вперед, вынув их из старенького кошелька с медным ободком.

Звали его Трифоном Петровичем. На вопрос хозяйки, чем он занимается, постоялец ответил, что он художник, приехал сюда писать картины.

После чая перед вечером он пошел на берег и долго смотрел на реку.

Был тот час, когда вода в реке почти неподвижна, и зеленый луговой берег отражается в воде с зеркальной ясностью, а молодая трава в засвежившем майском воздухе пахнет сильнее и над всей окрестностью разлита предвечерняя тишина.

По лицу художника и по берегу шли радуги от вечернего солнца, отражавшегося в воде. Постояв там, он пошел домой, поставил треножник, а на него рамку с натянутым холстом.

— Как чудесно! — говорил он, вдыхая всеми легкими тонкий аромат яблоневого цвета, смешанный с вечерней прохладой.

Прежде в этот час звонили к вечерне, но теперь церковь была превращена в народный дом, и только в ограде оставались попрежнему яблони, которые буйно цвели почти каждую весну, и с крыльца был виден уголок этой ограды и свешивающиеся яблоневые ветки, осыпанные крупным белым цветом.

Художник отступил шага на два от треножника и стал примериваться, чтобы вместе с лугами и рекой захватить уголок ограды с яблонями.

И с этого момента каждый вечер, как только тень от противоположного берега доходила до середины реки и вечерние радуги, отражаясь от воды, шли по столбикам крыльца, а в воздухе сильнее пахло яблоневым цветом, Трифон Петрович брался за свою картину.

Он был уютно-веселый и простой человек, Поликарповна с первого же дня привыкла к нему, как к своему, и даже скучала, когда он с удочками уходил на реку, и его сгорбленная фигура, видневшаяся

на светлом фоне реки с поднятой вверх удочкой, оставалась в полной неподвижности до самой темноты.

Один раз, походив около домика, Трифон Петрович сказал:

— Мне все равно сейчас делать нечего, дай-ка я поправлю тебе крыльцо-то.

— Спасибо, родимый, если милость твоя будет, — ответила старушка.

И Трифон Петрович все время, свободное от писания картины, стал проводить за поправкой крыльца, а когда кончил его, осмотрел и тоже перечинил все рамы, поправил даже балясник и сделал калиточку.

— Чудно мне что-то, — сказала один раз Поликарповна, — пришел ты, снял комнату, даже не поторговался, а теперь крыльцо мне чинишь, будто ты и не чужой человек мне.

— А что ж, неужто все только на деньги считать? Я вот тебе поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне, вот мы и квиты, — сказал он, засмеявшись.

— Теперь, милый, такой народ пошел, что задаром никто рукой не пошевелит. Вон церковь-то закрыли, о боге да о душе теперь не думают, только для брюха и живут. Да смотрят, как бы что друг у дружки из рук вырвать.

— Ну, нам с тобой делить нечего: оба нищие и оба старые, нам только друг за дружку держаться, — говорил Трифон Петрович, обтирая кисть о халат и снова и снова переделывая нарисованные цветы.

— Что ты все поправляешь-то, батюшка?

— Никак не могу поймать... чтобы цвет был белый и чистый.

— Да ведь он и так у тебя чистый.

— Нет, все не то, надо, чтобы как живое было, вот чего добиваюсь.

Старушка помолчала, потом сказала:

— Ну, прямо я с тобой, как с родной душой.

— Ну, вот и хорошо.

Поликарповна всем в деревне рассказывала, какого хорошего человека ей бог послал. И в самом деле, постоялец, помимо того, что даром поправлял ей ее домишко, к тому же был такой ласковый нетребовательный, что на него не приходилось тратить ни сил, ни времени. За водой в колодец для самовара он не позволял старушке ходить и носил воду сам. Когда ездил в город, то всегда привозил ей гостинцев — конфеток, вареньица. А по вечерам долго сидел с ней на крыльце за чаем, и они, поглядывая на далекие луга, мирно разговаривали.

— Прямо с тобой душой отошла, — говорила Поликарповна, — а то уж в людей вера пропадать стала.

— Вера в человека — это самая большая вещь, — отзывался Трифон Петрович. — Когда эта вера пропадает, тогда жить нельзя.



## III

Один раз, когда Трифон Петрович уехал в город, а Поликарповна, убравшись, сидела на крыльчке, подошел к ней проходивший мимо Нефедка, сапожник, ничтожный, дрянной человечешко, известный пьяница и кляузник. Он несколько раз видел Трифона Петровича за работой и теперь, сев на ступеньку крыльца, завел разговор на ту тему, зачем это ей постоялец задаром крыльцо чинит.

Поликарповна попробовала было сказать, что человек хороший, вот и чинит. Но Нефедка на это только как-то нехорошо усмехнулся, так что у Поликарповны даже тревожно перевернулось сердце.

— Уж какую-нибудь он под тебя дулю подведет, либо из платы за квартиру вычтет, либо еще что-нибудь. Какой же человек будет без всякой выгоды для другого стараться.

— Деньги он мне все вперед уж отдал.

— Отдал? Ну, значит, еще что-нибудь. Нешто обо всем догадаешься. Вон он работает по вечерам, а теперь насчет этого строго, охрана труда и все такое...

— Иди-ка ты отсюда по добру по здорову, — сказала с гневом Поликарповна, — нечего на хорошего человека каркать.

Нефедка ушел, Поликарповна плюнула даже ему вслед и, утерев рот, перекрестилась, как от искушения. Она думала о том, какую же мысль может таить Трифон Петрович против нее? А потом даже рассердилась на себя, что из-за слов ничтожного человека хоть на минуту допустила какое-то сомнение в хорошем человеке.

Трифон Петрович вернулся перед вечером, старушка так и вскинулась навстречу ему от радости. Ей хотелось быть с ним еще ласковее, потому что она как бы чувствовала за собой какую-то вину в том, что хоть на минуту задумалась о словах Нефедки. Трифон Петрович взялся за свою картину, она села на ступеньку и совсем успокоилась. Трифон Петрович, рисуя картину, повернулся к Поликарповне и сказал:

— Я там в городе всем порассказал, как у вас тут хорошо, теперь хозяйки не отобьются от постояльцев, у меня рука легкая.

Но когда после захода солнца он попросил топорик, у Поликарповны тревожно екнуло сердце, и она стала уговаривать его, чтобы он отдохнул, потому что уже поздно. При чем лицо у нее, когда она говорила это, было растерянное и испуганное.

А когда легла спать, то в голову, прогоняя сон, лезли одни и те же мысли: чего можно ожидать? Ведь все деньги получены сполна. Конечно, ничего. И когда она убеждалась, что ничего плохого быть не может, что все это болтовня скверного человека, ей вдруг становилось легко, точно с плеч сваливалась какая-то мутная, грязная тяжесть. А то вдруг через минуту сердце, с силой стукнув два раза, останавливалось, и на лбу выступал пот от какой-нибудь новой мысли, например, ей приходило в голову, что Трифон Петрович, может быть, работает над ее хибаркой с тем, чтобы потом сказать:

«Я имею часть в этом доме, так как целое лето ремонтировал его, исправлял крыльцо, чинил рамы, а в виду того, что я работал поздно по вечерам, я еще могу донести на тебя в охрану труда, поэтому или плати мне сверхурочно или вовсе выселяйся вон из моего дома».

А тут еще ко всему этому прибавилось одно обстоятельство: у Трифона Петровича рука в самом деле оказалась легкая; начиная с воскресенья, в деревню стали приезжать все новые и новые дачники. Хозяйка охватила лихорадка наживы. Цены поднялись потом втрое, а так как народ все ехал, то стали уж хапать без всякой совести. Те, кто пустил к себе дачников раньше по дешевой цене, теперь грызли с досады руки или, совсем махнув рукой на совесть, набавляли на своих постояльцев, а если они не хотели приплачивать, выживали их всякими способами.

Один раз к Поликарповне зашла кума с дальнего конца деревни

— Бегала теленка искать,—сказал она, присаживаясь на нижнюю ступеньку крыльца и поправляя после ходьбы платок.— Ну, как, довольна своим постояльцем?

Поликарповна с удовольствием и радостью рассказала о том, какого хорошего, редкого человека ей господь послал, что он с ней, как с родной матерью, иной сын не будет того для своей матери делать, что делает он, потому что он не по выгоде, а по душе все делает.

— Да, это редкость,—согласилась кума.— А у меня вон сняли комнату двое, муж с женой, я с ними и так и этак, старалась, угождала им во всем, а они в город поехали, четыре дня там пробыли, а потом, гляжу, вычитают за эти дни. Да ведь комната-то за вами, говорю, была! А они и внимания не обращают. Еще пригрозили, что донесут на меня, что я кулак, народ притесняю. Так, веришь ли, у меня все сердце перевертывается, когда мои глаза увидят их. Так бы, кажется, кишки им все выпустила, да на руку и намотала. Вот до чего!

— Нет, у меня прямо свой, родной человек.

— Да уж про твоего разговор по всей деревне идет. Ты сколько с него положила-то?

— 30 рублей в лето.

Кума хотела было почесать голову и только подсунула руку под платок, да так и осталась с поднятой рукой, удивленно раскрыв глаза.

— Сколько?..

Поликарповна повторила.

— Да ты, бабка, спятила совсем!.. У меня есть один, он у тебя с руками за сто оторвет, комнату никак найти не может. Теперь по полтора ста берут, по двести!

— Как по двести?..—спросила едва слышным голосом Поликарповна. У нее почему-то пропал вдруг голос, вся кровь бросилась ей в лицо, стала медленно расплзаться по шее.

— Да так! Вон Демины, у них хатенка немного лучше твоей, а они за 120 сдали.

— Как за сто двадцать?..—опять так же тихо, как загипнотизированная, воскликнула старушка. — Да ведь раньше все дешево брали...

— Мало что раньше! Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя нет. Старики не запомнят, чтобы когда-нибудь столько дачников было. Что ж тебе из-за чужого человека цену упускать, что он тебе, сын, что ли? Такого случая умрешь — не дождешься. Вон Кузнецовы тоже хороших людей с весны пустили, знакомые, сколько лет у них жили, а как к тому дело подошло, так они их в два счета выкурили, а на другой день вместо прежних пятидесяти за 130 сдали.

#### IV

Кума ушла, а Поликарповна осталась в невыразимом мраке. Вон к чему дело повернулось... Конечно, она не могла ни одной минуты заподозрить Трифона Петровича в том, что он умышленно стал чинить крыльцо и приводить в порядок ее домишко с тем, чтобы, когда она заикнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невозможно было заподозрить в этом человеке с такой хорошей душой.

Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей в копеечку! Семьдесят рублей убытку! Ведь если бы на месте Трифона Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше — дрянной человечешко, который бы выгрызал каждую копейку, тогда бы она ему, не церемонясь, прямо сказала на чистоту:

«Вот что, мой милый, прошиблась я маленько, когда с тебя плату назначала, я думала, что народу не будет и придется мне одной все лето куковать, и назначила с тебя поменьше, чтобы ты к другим не ушел. А когда дачник полным ходом попер, теперь уже мне бояться нечего: или втрое давай или выметайся, а то новый постоялец дожидается».

Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь человеку, который к тебе подошел, как сын родной, без всякой корысти, и сама же только что хвалила его по всей деревне?

И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, о душе распространяться. Распространилась на семьдесят целковых! Держалась бы подальше. И как в голову не пришло, что, когда деньги получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар поставил, и больше нас ничего не касается. А теперь, ежели она его выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, вишь, старая карга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою пачкает, хорошего человека выкурила.

И как только она теперь видела постояльца, когда он с удочками и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить, на 70 целковых можно себе удовольствие позволить. И идет, как-будто не понимает. У, сволочь поганая! Господи, прости ж ты мое согрешение!..

Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поли-

карповны только раздражение, почти ненависть. Чем человек этот был лучше по душе, тем для нее было только хуже, так как ей на этом приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видела в руках.

И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни был, ее мысль не могла забыть этих 70 рублей и того, что тот человек, который готов заплатить сто рублей, может уехать. И когда Трифон Петрович за чаем угощал Поликарповну привезенными из города конфетами, она конфеты брала, а сама против воли думала:

«За 70 целковых, конечно, можно конфетками угощать, за эти деньги можно бы и получше чего привезти. А то это чего выгоднее: по-душевному обошелся с человеком, конфеток ему на гривенник купил, а у него от этого язык не поворачивается свою сотню рублей отстоять».

И хотя, если говорить по правде, тот же ремонт, который произвел Трифон Петрович, обошелся бы ей не дешевле 70 рублей, но она ведь не просила его об этом, ее хибарка и без ремонта теперь могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, а добровольно делал, а за добровольное денег нельзя взыскать. А то это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присоседится, что-нибудь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверхурочное!... А что он за водой ходит, так это девчонку какую-нибудь нанял за два рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть залейся совсем. Это подешевле обойдется.

А почему ей только сто рублей с того постояльца брать? Раз Кузнецовы взяли 130, то и она может столько же назначить, ведь это до ремонта к ее домишку страшно было подойти, а теперь на него глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться! Ей теперь уже все было противно в своем постояльце. Ее раздражало каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые руки, чего она прежде как-то не замечала.

А он, как нарочно, ничего этого не видел. А тут кончил, наконец, свою картину и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от удовольствия: яблоневый цвет большими—белыми с розовым—гроздьями как живой был на первом плане картины, и от него веяло такой чистотой, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, чувствовался его аромат и запах вечерних, засыревших людей.

— Схватил! — сказал Трифон Петрович. И, обратившись к хозяйке, прибавил: — вот осенью другую картину тут напишу.

У Поликарповны вся шея покрылась красными пятнами.

## V

На следующее утро Поликарповна остановила проходившего за водой Нефедку и, позвав его к себе, рассказала ему все, спрашивая совета, как поступить.

Нефедка выслушал внимательно и сказал:

— Я говорил, что что-нибудь тут не так. Скажи, пожалуйста, чего это ради чужой человек ни с того ни с сего на другого будет работать, спину гнуть! Вот оно так и пришлось. Он топориком-то потюкал, по душе с тобой обошелся, а у тебя через это рука против его не подымается. Тебе бы сейчас случаем пользоваться, что дачник густо пошел, крыть по чем зря да в сундук прятать, а у тебя против него руки связаны. Ну да вот что...

Он пьяным жестом сложил руки на груди, взяв себя ладонями под мышки и задумался, опустив голову. Потом, подняв голову, сказал:

— Ставь, видно, мне четвертную на пропой души, и устрою я тебе это дело в лучшем виде. Человек он, видать, хороший, в суд не пойдет. Ты уйди на денек, скажем, к дочери за реку, а я ему от твоего имени объявлю, чтобы он убирался по добру по здорову. Потому что, ежели ты его не выставишь, а только плату на него накинешь, то тебя потом хуже совесть замучает смотреть на него, потому ты старушка леригиозная и душа у тебя совестливая.

— Верно, батюшка, замучает, — сказала Поликарповна, забрав подбородок в руку и скорбно покачав опущенной головой в черненьком платочке.

Она как-то вся потерялась, даже осунулась и побледнела за эти дни, а на руках и на щеках виднее выступили лиловые пятна, что бывает у глубоких стариков перед недалеким часом смертным.

— Ну, вот, а я полегонечку тут все сделаю. Так и так, мол, старушка богобоязненная, совестливая, самой ей разговаривать с тобой стыдно, потому что ты человек-то очень хороший, как с матерью родной с ней обошелся, и потому она это дело мне препоручила.

— Верно, милый, верно. А как же деньги-то ему, что за дачу он заплатил, отдавать придется?

— Ты с этим погоди, не юли, сами забегать вперед не будем, а там видно будет. Если еще бутылочку прибавишь, то и с этим как-нибудь справимся.

— А в суд, думаешь, не подаст, батюшка? — спросила старушка.

— Можешь быть спокойна. Не такой человек. Считал он тебя, можно сказать, родной матерью, а как увидит, что оказалась сволочью, он просто плюнет и уйдет поскорее и ни о каких деньгах не вспомнит, ему смотреть на тебя противно будет, а не то что еще в суде с тобой разговаривать. А ты на этом деле целковых тридцать выгадаешь.

— Все сто, милый.

— Конечно, ежели бы на какого-нибудь жулика налетела, так тогда бы — плакали твои денежки. И за такую штуку он бы тебя в бараний рог согнул, а раз с таким человеком дело имеешь, тут вали смело.

Старушка горестно-озабоченно смотрела перед собой в землю, собрав рот в горсть, потом, наконец, видимо, решившись, подняла при-

вычным жестом руку ко лбу, чтобы перекреститься, как крестятся перед начатием дела, но сейчас же как-то испуганно опустила ее и, вся потемнев, изменившимся голосом торопливо проговорила:

— Ну... делай, как говорил.

После вечернего чая, покрывшись платочком и перекрестившись на закрытую церковь, она потихоньку от постояльца пошла к дочери за реку.

Солнце уже светило мягким предвечерним светом, и по столбикам крыльца шли солнечные радуги от воды. А из ограды доносилось свежее благоухание цветущих яблоней, которые от брызнувшего из облачка дождя сверкали прозрачными каплями на мокрых листьях и на снежно-розовых цветах.

■■■■■■■■■■

# П и с ь м о

мих. голодный

Здравствуйте, дорогие.  
Пишу вам снова.  
Соскучился я по Днепропетровску.  
Зяма здоров.  
Мы оба здоровы.  
Живем по старому, по-московски.

Встаем, как прежде,—  
Не очень рано.  
Берусь я за веник,  
Зяма — за примус.  
У нас попрежнему два стакана,  
Коробка спичек и много дыму.

Иногда до рассвета  
Сижу я дома,  
Днем лежу очумелый от звона:  
Четыре тысячи моих знакомых  
Наведываются по телефону.

Едем в Сокольники под воскресенье,  
Но и там  
За особую плату  
Нас оглушает  
Соловьиное пенье:  
Поэты здороваются с пролетариатом.

Пишите о Брянцах.  
Все ли в порядке?  
В какой цене у нас мертвые души?  
Как бюрократы и бюрократки?  
Почем на рынке длинные уши?

Как Перельман?  
Скончался ли Лялин?  
Неужели они до сих пор на бульваре  
Сидят и мечтают,

Как прежде мечтали,  
О новом чайнике и самоваре?

Интересует меня Глуховская.  
Узнайте,—у бедной сердце не камень  
(Моня, ты видел и знаешь какая)...  
Боюсь — зачешут ее языками.

О неудавшемся вечере  
Не грустите.  
Семьсот целковых — не фунт изюма,  
Но поэт революции —  
Великий титул,  
Титул такой не приходит без шума.

В поэзии тихо.  
Маяковский из Лефа  
Ушел, недовольный формальным  
застоем.

Я драму пишу  
О Гракхе Бабефе.  
О, Гракх Бабеф,  
Он этого стоит!

Пишите,  
Ответа не ожидая,  
Горбушу приветствую  
С особой охотой,  
Маму сто тысяч раз обнимаю  
Чего и себе желаю без счета.

Р. С. Чуть не забыл:  
Сообщаю, папа,  
Зуб мой передний,  
Что болел безбожно,  
Я залечил — дело в шляпе.  
Буду пользоваться им осторожней.



# У Невы

ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВ

Переулок, где ты жила,  
Позарос травой, заглох,  
Сад, в котором весна цвела,  
Уж давно облетел, засох.

Смерть права, но и жизнь права...  
Торопливо ушел от ворот.  
К морю властная шла Нева  
Мерным маршем могучих вод.

Милым призраком давних дней  
Таял тучек розовый снег.  
И собор — золотой мавзолеей —  
В голубом застыл полусне.

Неизменный, вечный гранит...  
Двое юных сидели на нем,  
Я подумал: как время летит!  
Ведь и мы здесь сидели вдвоем.

Задыхаясь, я шел и бежал,  
Жгли видения прошлых лет,  
И казалось,—гранит оживал,  
И шептал мне зловеще вслед:

«Эх, не радостна доля твоя, —  
Полюбить, а потом потерять,  
Хорошо, что каменный я, —  
Ни стареть не могу, ни страдать».

---



# Об отравлениях организма

Проф. Г. Я. ГУРЕВИЧ

Различные виды отравления — интоксикации, в более широком значении этого слова, имеют в жизни всех живых организмов, а следовательно и человека, громадное значение; и потому ознакомление с этим вопросом может представлять общий интерес. При этом надо иметь в виду вредное химически воздействие различных веществ, которому живые организмы на протяжении всей своей жизни на каждом шагу подвергаются в большей или меньшей степени со стороны окружающей их среды. Это вредное воздействие сказывается на организме более или менее глубокими изменениями в его состоянии, нарушением его жизненных отправлений, а нередко вызывает даже гибель его. Отравление может проявляться быстро или медленно, вызывать явления сравнительно легкие, скоропреходящие или более тяжелые, даже непоправимые. Смерть от отравления часто оказывается сравнительно отдаленным последствием его; если же оно очень сильно, может последовать моментально.

Вредные вещества содержатся и в воздухе, и в воде, и в почве, и в пище, оказывают на организм воздействие извне, а наряду с этим образуются и в самом организме у всех живых существ. Избегнуть их невозможно, и потому организм приспосабливается к ним, в большей или меньшей степени теряет чувствительность к их действию, всячески противодействует силе воздействия даже более ядовитых ве-

ществ, вырабатывая в своих тканях соответственные противоядия.

Но в общем, эта приспособляемость все же очень ограничена, недостаточна. Недостаточно предохраняет от отравления и природный инстинкт самосохранения: организм нередко не угадывает опасности, не постигает ее значения, не предвидит ее последствий. А между тем, даже небольшой вред, которому он многократно, хотя и незаметно, подвергается со стороны самых различных вредных веществ в своей повседневной жизни, не проходит ему даром. В борьбе с ними он все же неизбежно страдает, болеет, его сопротивляемость, его жизнеспособность постепенно падает, он истощается, изнашивается, преждевременно старится и умирает.

Все сказанное в полной мере, и даже еще в большей степени, относится и к наиболее разумному существу — человеку. Потому что человек, особенно вышедший из первобытных условий жизни, по отношению ко многим вредностям обладает не большей сопротивляемостью. Да и весь характер так называемой культурной жизни, особенно в больших городах, во многих отношениях еще увеличивает возможность воздействия различного рода вредностей. С одной стороны, человек подвергается им, вынужденный к этому условиями жизни и профессиональной работы, которые создают для него антигигиеническую обстановку, с другой стороны, человек сам создает для

себя обстановку жизни, которая изобилует вредностями. Поэтому в деле борьбы со всевозможного рода отравлениями на первом месте должно стоять распространение среди широких слоев населения сведений о личной и общественной гигиене на общеприкладной основе.

Вещества, с которыми живые организмы приходят в соприкосновение в окружающей их среде, могут, в зависимости от различных условий, быть для них насущно необходимы, полезны или вредны. Ибо даже те вещества, которые обязательно входят в состав тканей организма<sup>1)</sup>, приемлемы для него лишь в определенных количественных соотношениях и характерных химических сочетаниях. Встречаясь во внешней среде в ином виде и в иных сочетаниях, те же вещества могут оказаться для данного организма уже неприемлемыми, вредными, ядовитыми, действующими даже разрушительно.

Таковы, например, натрий и хлор, каждый в отдельности, тогда как в сочетании 1 : 1 (соответственно атомному весу) они образуют хлористый натр (NaCl), иначе говоря, поваренную соль, которую мы постоянно принимаем с пищей, так как она является обязательной составной частью крови и других тканевых жидкостей, а также большинства тканей.

Обратный пример: кислород необходим организму и воспринимается из воздуха в свободном виде; углерод, будучи обязательной составной частью всех живых организмов, в чистом виде не усваивается, но химически совершенно безвреден; сочетание же того и другого в равных частях (соотв. атомному весу), называемое окисью углерода (CO), для многих организмов чрезвычайно ядовито. Между тем, углекислота (CO<sub>2</sub>), представляющая также соединение кислорода с углеродом, с тою только разницей, что на одну часть углерода приходится две части кислорода, не ядовита и являет-

ся даже постоянной составной частью крови. Еще один пример: углерод, азот и водород, соединяясь при известных условиях в равных частях, образуют синильную кислоту — сильнейший яд, уже в ничтожном количестве почти моментально убивающий человека и крупных животных. Те же элементы в разных сочетаниях с кислородом образуют бесчисленное множество так называемых органических веществ, необычайно разнообразных по своему химическому составу, имеющих громадное значение в жизни всех организмов; к ним относятся прежде всего белки, углеводы и жиры, из которых также одни оказываются для организма полезными, другие ядовитыми, в зависимости даже от незначительных изменений в сочетаниях, которые они представляют.

Во всяком случае, результат воздействия на организм какого угодно вещества может в громадной степени зависеть от количества его, приходящего в соприкосновение с организмом и входящего в него. Потому вещества, в большом количестве вредные, в малом могут оказываться для организма даже совершенно необходимыми, например, иод; и даже самые ядовитые — в самых малых дозах — полезными. Вследствие этого многие из них и используются в таких дозах, как лекарства. С другой стороны, некоторые, в общем (неядовитые или малоядовитые вещества, как металлическое серебро или медь, даже в бесконечно малом количестве могут убивать особенно чувствительные к их действию организмы.

Так, мелкие водоросли спиригиры особенно чувствительны к меди и быстро погибают, если попадают в сосуд с водой, в который была только опущена медная пластинка, даже если воду в этом сосуде несколько раз поменять. Здесь мы имеем пример убийственного отравления совершенно невосприимчивым, неопределимым количеством вещества — металлической меди, которая в обычном понимании даже неразстворима в воде. Однако, какие-то бесконечно малые частицы ее, очевидно, переходят в воду так же, как

<sup>1)</sup> Из так наз. химических элементов таковыми являются углерод, водород, кислород и азот; далее — сера, фосфор, хлор, железо, натрий, калий и кальций.

переходят в воздух, потому что медь имеет свой запах. И уже таких частиц достаточно, чтобы убить некоторые чувствительные к ним организмы.

Такое сильное воздействие малых доз называют олигодинамическим (олигос по-гречески — очень малый, динамис — сила).

Другого рода вещества отравляют только в очень большой дозе. Например, чтобы отравить организм животного поваренной солью или содой, нужно ввести их сразу в количестве нескольких десятков граммов или вводить их в меньшем количестве, но систематически. Тогда получим явное отравление, которое выразится рвотой, поносом, ужасной жаждой, отеком и т. п., но с которым, однако, животное может еще справиться.

Громадное значение имеет и концентрация вещества, при которой оно приходит в соприкосновение с организмом или входит в него. Так, напр., та же поваренная соль при растворении одной части ее в 100—150 частях воды, действует на все ткани организма и даже на открытую рану, как вещество, совершенно не раздражающее, в крепком же растворе сильно раздражает ткани. Но что еще замечательнее — более слабые растворы поваренной соли, введенные в кровь, оказываются также вредными, потому что красные кровяные шарики в них растворяются.

Далее, одно и то же вещество оказывает на организм различное действие в зависимости от того, в какой форме оно приходит в соприкосновение с организмом — в твердой, жидкой или газообразной. Даже очень ядовитые вещества в твердой, нерастворимой форме могут быть безопасны, в форме же газа и менее ядовитые действуют убийственно.

Многое зависит также от длительности воздействия на организм того или другого вещества. Например, кратковременное прижигающее действие ляписа на большую ткань может оказаться очень полезным, более длительное — вредным, даже разрушительным.

Одни и те же вещества со-

вершенно неодинаково действуют на различные организмы. Например, окись углерода, очень ядовитая для теплокровных животных, мало ядовита для холоднокровных; морфий в дозах, заведомо ядовитых для человека, многими животными переносится без вреда.

Громадное значение имеет приспособляемость.

В общем, менее сложно устроенные организмы приспособляются к внешней среде гораздо легче и меньше страдают от химических вредностей. Их ткани могут быть пропитаны окружающей средой, их тканевые соки могут иметь непостоянный состав, температура их тела зависит от температуры окружающей их среды, и, тем не менее, при изменениях до известных пределов в окружающей среде, с которой они так тесно связаны, они развиваются и живут или, по крайней мере, остаются жизнеспособными, особенно, если находятся в форме зародышей, покрытых оболочкой, как зерно, косточки, споры. Высшие животные и человек переносят колебания в окружающей среде в гораздо меньшей степени: состояние их быстро расстраивается уже при небольших изменениях, производимых извне в соотношении их химических составных частей, особенно же при изменении состава их крови.

Одно и то же вещество неодинаково действует на организм в зависимости от расовых особенностей, пола, возраста: опиум у малайцев и негров вызывает судороги, чего не бывает у людей других рас; женщины значительно больше страдают от отравления табаком, дети и старики очень чувствительны к наркотическим средствам. Много зависит от особого предположения: некоторые люди тяжело отравляются обычными дозами иода, хинина, пирамидона, аспирина и вообще салициловых препаратов, малыми дозами морфия, хлороформа; совершенно не переносят табак и даже легкого вина. Большое значение имеет состояние, в котором находится в данное время организм. Так, человек усталый, не выспавшийся, голодный

гораздо скорее пьянеет, т.е. отравляется алкоголем, а при повышенной температуре тела может без вреда выпить много вина.

Один и тот же яд различно действует на различные ткани и органы.

Так, если ввести в организм сулему, хотя бы подкожно, особенно страдает, изъязвляется слизистая оболочка рта и толстых кишек; желудок и тонкие кишки страдают гораздо меньше, даже если ввести сулему прямо в желудок. Многие вещества при введении в вену не раздражают стенки ее, а, попадая под кожу, вызывают сильнейшее воспаление и боль.

Особенно же замечательна специфическая реакция на действие того или другого яда со стороны различных нервных клеток.

Так, стрихнин ужасно возбуждает мозговые клетки, заведующие движением мышц, и таким образом вызывает сильнейшие судороги; апоморфин специфически раздражает нервные клетки так называемого рвотного центра, что вызывает к деятельности все те органы, которые участвуют в акте рвоты.

Сила и быстрота отравления в значительной степени зависит от способа поступления яда в организм. Так, яд, попавший через рот, обычно действует медленнее и слабее, введенный подкожно, особенно же непосредственно в кровь через вену, — гораздо быстрее и сильнее.

Из всего сказанного должно быть достаточно ясно, насколько относительным является понятие о вредном и полезном, насколько часто, в зависимости от различных условий, безвредное становится вредным, отравляющим, ядовитым.

Исходя из этих общих положений, мы должны в дальнейшем остановиться на тех видах отравления, которые имеют наибольшее значение в нашей повседневной жизни.

**Воздух.** Атмосферный воздух, за исключением весьма изменчивого количества водяных паров, содержит по весу около 23 проц. кислорода, 76 проц. азота, 1 проц. аргона, 0,03 проц. углекислоты. Если кислород частично пре-

вращается в озон, как это бывает после грозы, воздух, как говорится, очищается от некоторых вредных примесей, дыхание делается более глубоким и спокойным, оживляются ткани и улучшается общее самочувствие. Избыток озона может быть уже вреден. Пребывание в воздухе с большим против нормы количеством кислорода, а тем более в чистом кислороде, или более длительное вдыхание кислорода слишком повышает окисление тканей — следовательно вредно.

Если в воздухе накапливается несколько больше углекислоты, то это еще не так опасно. Но достаточно свежего воздуха войти в закрытое, не проветриваемое помещение после долгого пребывания или скопления в нем людей или животных, чтобы ощутить тяжелый, неприятный запах и почувствовать, что в этом воздухе трудно дышать. Объясняется же это присутствием в нем количественно неопределимых, но очень вредных, дурно пахнущих газообразных веществ, выделяющихся из тела людей и животных с дыханием, с потом и непосредственно с поверхности кожи, через кишечник а также из загрязненной одежды.

Ядовитость этих пахучих веществ доказана экспериментом на животных: кролик, находившийся в герметическом ящике, в который поступал воздух из 5 таких же ящиков с другими кроликами, быстро погибал при явлениях ясно выраженного отравления, очевидно, от наличия указанных химически неопределимых ядов, выделенных в воздухе остальными кроликами; ибо в окружающем погибшего кролика воздухе было достаточно кислорода, а процент углекислоты далеко не достигал того, при котором нельзя жить.

Кроме того, в жилых помещениях всегда образуются газообразные продукты тления органических веществ, заносимых сюда извне с пылью и грязью и входящих в состав самой обстановки, а отчасти и строительного материала. Об этом сильнее всего свидетельствует спертый тяжелый воздух, даже в отсутствии живущих образующийся в жилых поме-

щениях, особенно где много домашней рухляди или ковров, мягкой мебели п т. п. Наиболее же испорчен воздух в непроветриваемых, ветхих и грязных помещениях, освещаемых плохими керосиновыми лампочками и перенаселенных людьми, стоящими на низкой ступени культурного развития, нечистоплотными или не имеющими возможности предохранить одежду от загрязнения; при том живущими, как это постоянно бывает в деревне, совместно с мелкими домашними животными. Не меньше загрязнен воздух во многих рабочих помещениях, землянках, шахтах, тюрьмах, а нередко и в казармах, общежитиях и даже учебных заведениях и больницах. При чем источником ужасного загрязнения воздуха часто служат отвратительно устроенные и содержимые отхожие места, распространяющие зловонные и заведомо ядовитые газообразные вещества, как сероводород и аммиак.

Все эти вещества несомненно вызывают отравление, которое у более чувствительных субъектов может проявляться совершенно определенно: каждый раз, как им приходится пробыть некоторое время в таком испорченном воздухе, они испытывают слабость, дурноту, головную боль. У некоторых же развиваются приступы мигрени или же, в более редких случаях, бронхитальной астмы<sup>1)</sup>. Такие случаи наблюдаются не часто, но зато они очень показательны.

Наиболее же опасными воздушными ядами надо считать угарный и светильный газы.

Угарный газ образуется при всяком горении, особенно с недостаточным притоком кислорода; следовательно, он присутствует в помещениях: 1) при неудовлетворительно устроенных печах,

без достаточной тяги (даже вовсе без трубы, как в курной избе), или при неправильной топке; 2) из самоваров, жаровен, угольных утюгов и т. п., вносимых в помещение прежде чем в них прогорели угли; 3) при незаметном сгорании угольной пыли на раскаленных частях металлических печей, особенно в кочегарнях, на частях приборов центрального отопления; 4) в плохо устроенных дешевых лампах и светильниках с неполным сгоранием керосина, масла и т. д.

Светильный же газ попадает в помещение при неисправности кранов и труб, но может проникать и из труб, находящихся в подпольном пространстве или стенах; а вредные продукты его неполного сгорания образуются очень часто, особенно при неправильном горении в газовых осветительных и нагревательных приборах.

Примесь угарного или светильного газа к воздуху в закрытых помещениях особенно опасна, когда характерный запах не сразу замечается, вследствие медленного накопления или в ночное время.

Отравление выражается головной болью, головокружением и общим недомоганием; далее присоединяется тошнота, рвота, резкая слабость, дурнота, бессознательное состояние, судороги, а нередко и смерть. Если вредные газы действовали на организм более долгое время или сразу в довольно сильной степени, состояние отравленных еще довольно долго остается тяжелым и исход сомнительным. Однако, все-таки можно возвратить пострадавших к жизни, усиливая приток свежего воздуха или заставляя их вдыхать чистый кислород из баллона, а при бессознательном состоянии производя более длительное искусственное дыхание.

На ряду с острым отравлением угарным и светильным газами, и даже гораздо чаще, происходит менее заметное, но часто повторяющееся хроническое отравление ими, которое является своего рода профессиональной и даже, так сказать, бытовой болезнью у истопников и кочегаров, рабочих на газовом производстве, шах-

<sup>1)</sup> Мигрень — особого рода периодически наступающая мучительная, продолжающаяся много часов головная боль, б. ч. с одной стороны, сопровождающаяся мельканьем в глазах, тошнотой, рвотой и другими характерными явлениями.

Бронхиальная астма — периодически наступающее очень тягостное состояние удушья, вызываемое нервным спазмом бронхов под влиянием различных раздражений.

теров, а также поваров, пекарей, прачек и даже домашних хозяек, поскольку им также приходится часто дышать воздухом с указанными вредными примесями. Хроническому отравлению угарным газом до некоторой степени подвергаются и курящие, равно как и все вынужденные вдыхать табачный дым.

Во всяком случае, частое или постоянное пребывание в испорченном воздухе мало-по-малу вызывает ряд расстройств: тяжесть в голове, головную боль, иногда головокружение, общее недомогание, слабость, в дальнейшем повышенную утомляемость и раздражительность, расстройство сна и аппетита и т. п.

Эти явления, обычно определяемые как «неврастения» и «малокровие» и развивающиеся, конечно, от переутомления и многих других неблагоприятных условий жизни, в очень большой степени несомненно зависят и от хронического отравления испорченным воздухом, о чем громадное большинство совершенно не думает. При том, часто неврастения и малокровие являются выражением еще не распознанного туберкулеза, который современем становится уже явным. Между тем, туберкулез вызывается проникновением в организм палочек Коха, в большой степени именно из загрязненного ими воздуха, и развивается тем быстрее, чем больше в воздухе пыли и вредных газообразных примесей.

Люди, живущие в испорченном воздухе, вообще гораздо больше подвержены различным, в частности, инфекционным болезням: если заболевают, труднее переносят их, медленнее поправляются. Сердечные больные особенно страдают от испорченного воздуха. Рахит и цинга, вызываемые недостатком в пище так называемых витаминов<sup>1)</sup>, ожирение и подагра развиваются гораздо больше при недостатке чистого воздуха.

Таким образом, одним из существеннейших условий для предупреждения и лечения большинства болезней ока-

зывается пребывание в чистом воздухе, а при лечении туберкулеза это является основным способом. И это оказывается, в сущности, даже гораздо важнее усиленного питания, которому придавали и придают слишком большое значение.

Вода. Вода источников, колодцев, рек, естественных и искусственных водоемов—а тем более морская вода—всегда содержит растворенные минеральные части почвы, органические вещества и большую часть много живых организмов—микроскопических растений, животных и бактерий. При кипячении они, конечно, погибают, тогда как из минеральных солей одни выпадают, другие остаются в растворе.

Указанные примеси могут оказаться вредными и даже ядовитыми. Присутствие избытка минеральных частей делает воду для многих организмов непригодною.

Такова морская вода, в которой, однако же, живет множество приспособившихся к этому растений и животных. Еще гораздо больше солей в рапе (вода лиманов и соленых озер) и в почвенной воде солончаков на месте бывшего морского дна. Чаще всего это избыток солей поваренной и глауберовой, магнизиальных и известковых. Такую воду в малом количестве нельзя считать заведомо ядовитой, но ее нельзя пить уже из-за горько-соленого вкуса. При меньшей концентрации указанных солей вода, по вкусу хотя бы приемлемая, при постоянном употреблении может вызвать в организме вредные изменения, например, поносы, запоры, отложения в мочевых путях известковых камней.

Источники (из глубоких слоев подпочвы) могут содержать сложные сочетания солей и необычные составные части, как сероводород, нод, мышьяк; для большинства растений и животных это вредно<sup>1)</sup>.

От повседневного употребления в некоторых замкнутых горных долинах воды необычного состава, в смысле отсутствия в ней солей нод, зависит

<sup>1)</sup> См. статью проф. Г. Я. Гуревича, «Новый Мир», 1927 г., № 8.

<sup>1)</sup> Однако, некоторые бактерии приспособились жить даже в сероводородной воде и пышно развиваются в ней.

распространенное там заболевание зобом с своеобразным глубоким физическим и умственным недоразвитием (кретинизм). Опасна для человека питьевая вода, хотя бы она была удовлетворительного вкуса, если в ней определены азотистые соединения и поваренная соль — продукты разложения животных остатков и отходов; обычно она содержит много гнилостных бактерий, но могут оказаться и возбудители заразных болезней — брюшного тифа, дизентерии, холеры и т. п.

Очень вредными могут быть примеси, поступающие в речную воду из сточных труб, содержащие экскременты или побочные продукты различных производств. Такая вода может вызвать острое и хроническое массовое отравление или заражение.

Хроническое отравление при посредстве воды возможно даже в домашнем обиходе, если для хранения ее, приготовления пищи или для питья пользуются медной нелуженой посудой или такой посудой, в состав которой входит свинец.

Напитки. В культурных странах большинство пьет воду в частом виде понемногу или вовсе не пьет, заменяя ее каким-нибудь другим питьем, как чай, кофе, квас и другие бродящие напитки. Чай содержит теин, кофе — кофеин, вещества очень близкие по своему составу, возбуждающие нервную систему, деятельность сердца и сосудов и избыточное отделение желудочного сока, что, конечно, может быть вредным. В умеренном количестве чай и кофе, повидимому, не вредны. Однако, есть немало людей, которых эти напитки слишком возбуждают вызывают бессонницу и т. п. У некоторых же наблюдается пристрастие именно к крепкому чаю или кофе, которое в конечном счете может вести к хроническому отравлению.

Квасы в умеренном количестве, если приготовлены из доброкачественных продуктов, обычно безвредны. Но нередко они делаются из сырой, загрязненной воды и сдабриваются вредными веществами, в роде сахарина, салициловой кислоты и т. п. Впрочем,

избыток бродящих веществ может быть также вреден для пищеварения. Минеральные воды, содержащие хотя бы поваренную соль и соду (напр., Ессентуки, Боржом), при некоторых заболеваниях могут оказаться вредными, и потому употребление их без соответственных показаний недопустимо. Наконец, пиво, при употреблении его в более значительном количестве, вредно, так как содержит порядочный процент алкоголя, о вреде которого будет сказано дальше. Между тем, некоторые пьют пиво литрами — до опьянения; происходящее же при этом перегружение жидкостью всей кровеносной системы ведет к заболеванию сердца (пивное сердце) и почек.

Попутно необходимо, однако, указать на то, что слишком ограничивать введение жидкости в организм, даже при склонности к полноте и при болезнях сердца и почек, опасно, так как при этом очень уменьшается возможность выведения из организма, главным образом с мочой, всегда образующихся в нем вредных веществ — продуктов естественной жизнедеятельности и распада; а это ведет к самоотравлению.

Почва. Непосредственное отравление из почвы может происходить, главным образом, для растений и животных, живущих в почве. Почва может быть насыщена солями, как в солончаках; может представлять горные породы, вредные для живых существ, или с вредными примесями, напр., мышьяка; может быть пропитана нефтью, поступающей из недр земли, или какими-либо другими вредными веществами на местах разработки какой-либо руды (медной, свинцовой) или какого-либо химического производства.

Животные и человек могут даже смертельно отравляться вредными испарениями из почвы, напр., сероводородом и т. п. из расщелин в горных породах, пещерах, а также ядовитыми газами из выгребных ям; могут, как указано, хронически отравляться составными частями почвы в форме солей, растворенных в воде источников. Сильно отравлять могут также многие добываемые из почвы минеральные

части: металлы (свинец, ртуть, сурьма), их соли и продукты их обработки, особенно в соответственных производствах. Они вызывают острые или хронические профессиональные отравления, проникая в организм путем вдыхания, в виде испарений и пыли, через кожу (особенно рук) или путем проглатывания частиц, попадающих в рот. Такие профессиональные отравления происходят на химических заводах, где вырабатываются едкие кислоты и щелочи, анилиновые краски; на спичечных фабриках, так как в состав горючей массы спички входит фосфор; в зеркальном и других производствах, где рабочим приходится иметь много дела с ртутью; в типографиях, цинкографиях, литографиях, где отравляются свинцом и красками.

**Пищевые отравления.** Растения, простейшие животные и микробы извлекают вещества, нужные им для построения своего тела и для жизнедеятельности их, непосредственно из окружающей их среды — воздуха, воды, почвы; и только отчасти питаются за счет других организмов, на которых они паразитируют. Более высоко организованные животные и человек из воздуха усваивают только кислород, а из воды только некоторые минеральные соли. Необходимые им более сложные органические соединения, т. е. белки, жиры и углеводы, а также вкусовые вещества и, хотя бы в самых малых количествах, витамины они находят в растительной и животной пище.

Они оказываются довольно чувствительными по отношению уже к небольшим изменениям в составе пищи. То, что подходит для одного вида организма, для другого оказывается неприемлемым, вызывает явления отравления. Так, у травоядных насильственное введение мясной пищи вызывает рвоту, понос и, в конечном счете, глубокие изменения в организме, ведущие к их гибели. Плотоядные переносят в виде исключения растительную пищу, предлагаемую им человеком в форме хлеба, каши и т. п., но в очень ограниченном количестве. Всеядный человек переваривает и усваивает только некоторые

приемлемые для него, притом определенным образом приготовленные сорта пищи растительного и животного происхождения.

Пища невкусная, малосъедобная и неудобоваримая, хотя бы и содержала питательный материал, задерживается в пищеварительных органах, подвергается ненормальному брожению и разложению, продукты которого отравляют организм. Таким образом, человек отравится, если будет есть сырой картофель, зерно, а тем более траву и т. п., или несоответственные животные продукты. Более чувствительные субъекты способны, в указанном смысле, отравиться и легковаримой, доброкачественной пищей, если она принята с избытком — хотя бы манной кашей. Отравления от избыточного введения более грубой, хотя бы доброкачественной, но трудноваримой пищи, нередки и выражаются явлениями острого катарра желудка: расстройство аппетита, тяжесть, боли под ложечкой, тухлая отрыжка, тошнота, рвота, общее недомогание. Мясная же пища всегда содержит в себе ядовитые вещества, так наз. инородные белки, которые не дают непосредственно явлений отравления только потому, что обезвреживаются в организме главным образом благодаря защитной деятельности печени. С течением времени постоянное накопление в печени продуктов лицеварения мяса и сала страивает ее деятельность, вредно действуя на ее ткань, вследствие чего она теряет свою способность противостоять действию ядов, и в результате развиваются трудно излечимые, так наз. болезни обмена веществ: ожирение, подагра, сахарная болезнь, а вместе с тем перерождение сердца, сосудов, почек, интоксикация центральной нервной системы и т. д.

Заслуживает внимания, что есть люди, которые отравляются пищевыми продуктами, для большинства совершенно безвредными и даже питательными, как, напр., земляника, яйца, раки. Это зависит от особой индивидуальной чувствительности к некоторым составным частям пищи и называется идиосинкразией. Отравление называется, как и во многих других слу-



чаях, расстройством общего состояния, головной болью, ломотою в мышцах и суставах, тошнотой и рвотой, появлением на коже сыпи в форме зудящих пузырей крапивницы и т. п.

На ряду с этим нередко острые, даже смертельные, пищевые отравления, независимые от индивидуальной чувствительности, вследствие употребления — в особенности в летнее время — испорченных фруктов, ядовитых грибов и ягод, а также мясных колбасных и рыбных продуктов, подвергшихся под влиянием особых бактерий хотя бы незаметному разложению, при котором образуются очень ядовитые вещества — птоманны и лейкоманны, называемые в данном случае колбасным и рыбным ядом. Эти отравления вызывают: острые желудочно-кишечные расстройства с сильной рвотой и поносом, с быстрым упадком сил и с очень тяжелым общим состоянием; нередко бывает также сыпь на коже, напоминающая сыпь при сыпном тифе или кори.

Менее резко выраженное отравление вызывают также и другие недоброкачественные продукты, в частности, прогорклое масло, испорченный сыр и т. л. Нередко такое отравление бывает выражено не особенно заметно: человек чувствует только тяжесть на желудке и в животе и некоторое расстройство пищеварения, но по неволе продолжает пользоваться недоброкачественным дешевым столом, который сдобрен разными острыми вкусовыми веществами. А в результате развивается хронический катарр желудка и кишек, болезни печени, почек и т. д.

Отравляющее действие на организм оказывает также избыток в пище солей, даже поваренной соли.

Ядовитые растения и животные. Некоторые растения отравляют организм животных и человека при употреблении их в пищу, но также и иным способом. Достаточно пробыть в атмосфере сильно пахучих цветов, чтобы почувствовать тяжесть в голове, сонливость и другие признаки отравления; можно и умереть. Некоторые субъекты тяжело страдают бронхиальным удушьем в течение всего времени цветения

растений. Есть много растений, которые отравляют своим прикосновением. Напр., крапива обжигает, вызывая зудящие пузыри, особыми волосками листьев, содержащими своеобразный яд. Некоторые комнатные растения, напр., из семейства примулы, при соприкосновении с ними, вызывают долго непроходящую сыпь в виде мелких зудящих узелков. Есть еще более ядовитые растения, соки которых при проникновении в ткани тела вызывают сильную боль или, наоборот, потерю чувствительности, судороги или паралич, а нередко быструю смерть. Такими соками дикие народы пропитывают концы своих боевых стрел. Но наряду с этими ядовитыми растениями, выделяемые с целью применения в качестве лечебных средств, могут также вызвать тяжелые и смертельные отравления.

Напр. препараты наперстянки (дигиталис) и строфанта, в малых дозах незаменимы для устранения сердечных расстройств, в больших дозах и при более длительном применении, накапливаясь в организме, напротив, расстраивают сердечную деятельность и могут даже вызвать смерть. Опий, добываемый из головок мака, и продукты его обработки (пантопон, морфий, кодеин, дионин и др.), которые в малых дозах уменьшают боли, кашель, бессонницу и т. п., в больших дозах вызывают отравление (см. ниже), а некоторыми совсем не переносятся. Вытяжка из белладонны, очень часто применяемая против болей, вследствие спазмов, уже в малых дозах проявляет свое слегка отравляющее действие (сухость в глотке и расширенные зрачков), а несколько капель однопроцентного раствора атропина, добываемого из белладонны, вызывает расстройство кровообращения, сильное возбуждение, бред и другие признаки тяжелого отравления.

Некоторые животные также вырабатывают сильные яды, которые они употребляют как орудие защиты и нападения. В нашем поясе больше всего встречается ядовитых насекомых, которые изливают яд через жало или путем укуса; таковы некоторые мухи, комары, осы, пчелы и разные паразиты. Опасное

и своеобразное отравление, сопровождающееся сильнейшим отеком, наблюдается иногда даже только от моментального соприкосновения с мохнатыми гусеницами. Боль, зуд, опухоль, различные высыпы на коже от укуса насекомых являются несомненно проявлением отравления, а проникновение в организм таких ядовитых веществ в большом количестве,—папр., муравьиного или пчелиного яда,—иногда оканчивается смертью. Особенно резко сказывается такое действие паразитов на ослабленный организм, что бывает больше заметно на больных животных, которые даже околевают оттого, что их, как говорится, «вши заели». Сильные, а часто и смертельные отравления вызываются укусом ядовитых змей, при чем в организм попадает яд, находящийся в полости их ядовитых зубов. Очень опасны, и также часто смертельны, укусы некоторых видов пауков и паукообразных (тарантул, сколопендра, скорпион).

Всё это яды специального назначения, вырабатываемые особыми железами только у некоторых животных. Не менее важно, что продукты всех выделительных органов высших животных (моча, желчь, пот, кал) и менее дифференцированные выделения тела низших животных и различных микробов, являющиеся продуктом их жизнедеятельности, обычно также очень ядовиты — даже для самих тех организмов, которые их производят. Еще более ядовиты выделения больных органов и тканей: отделяемое раны сильно раздражает кожу в окрестности ее; отделяемое из носа при насморке разъедает верхнюю губу, и т. д. Не менее ядовиты и продукты разложения животных тканей — трупный яд.

Большое жизненное значение имеет также отравляющее действие кишечных паразитов — глистов. Обыватели склонны считать их вредными, гл. обр., из-за того, что они якобы отнимают «у хозяина», в кишечнике которого они живут, питание или высасывают у него кровь и таким образом вызывают у него малокровие. Но это верно только отчасти; главный же вред от большинства глистов происходит оттого, что

они выделяют из себя яды; при этом наиболее сильный яд выделяется из тела ленточного глиста — широкого лентеца, особенно если он издох и разлагается в кишечнике. Этим ядом разрушаются красные кровяные шарики и резко расстраивается деятельность костного мозга, в котором образуются главные составные части крови, вследствие чего довольно быстро развивается необычайно тяжелое прогрессирующее «злокачественное малокровие»; и только быстро принятые меры к удалению паразита или его трупа могут еще спасти больного от смерти. Отравляют также круглые глисты — струнцы и (совсем мелкие) острица и власоглав. При этом наблюдаются различные желудочно-кишечные расстройства, но нередко яды, поступающие из кишечника в кровь, и разносимые по всему организму, вызывают расстройство сердечной деятельности и нервной системы; а у некоторых эти яды вызывают даже эпилептические припадки.

Еще чаще более или менее тяжелое отравление производят в организме различного рода мельчайшие паразиты — микробы, вызывающие у человека и животных лишаи, нагноения и множество разных острых и хронических инфекционных болезней, как брюшной и возвратный тиф, холера, дизентерия, дифтерия, бешенство, сифилис, туберкулез, проказа и т. д. Проникнув в глубину тканей и в кровь, микробы нередко преодолевают сопротивление организма, размножаются в нем и действуют на него своими очень ядовитыми выделениями, токсинами. Это ясно из того, что, если ввести под кожу животному отцеженный бульон, в котором искусственно выращены, напр., бактерии, вызывающие столбняк, то это вызывает такие же судороги, какие бывают при проникновении в организм самих бактерий, вызывающих столбняк, и животное погибает. Если же ввести вслед затем сыворотку<sup>1)</sup> от животного, уже переболевшего столбняком, которая содержит выработавшиеся в его крови противо-

<sup>1)</sup> Сыворотка — жидкая часть крови, отделяющаяся после образования кровяного сгустка.

ядна — противотела (антитоксины), то это свяжет введенный перед тем яд, и животное может быть спасено.

Поэтому при лечении инфекционных болезней имеет громадное значение связать микробные яды соответственными лечебными сыворотками, как это делается при дифтерии, или, — что постоянно делается против распространения других заразных болезней, — возбудить предварительными прививками (малых доз убитых и даже живых бактерий) процесс образования противотел-антитоксинов, в самом организме, или, по крайней мере, содействовать более энергичному выведению токсинов обильным питьем и потогонными средствами.

Привычные массовые отравления. Особый вид отравления представляет потребление спиртных напитков, курение и введение в организм разных других возбуждающих и опьяняющих — наркотических — средств. Такому отравлению люди добровольно систематически подвергают себя, в погоне за удовольствием, за приятным возбуждением или вследствие влечения к сильному, хотя бы и ненормальным, ощущениям, которые иногда нельзя даже назвать приятными.

Спиртные напитки. Отравляющее действие спирта (этилового алкоголя) яснее всего обнаруживается у непривычных к нему субъектов при употреблении крепких напитков. Таковы: русская водка (около 40 проц. алкоголя), коньяк и арак (до 70 проц.), ром (около 50 проц.), английская виски, французская абсент, разные настойки, наливки, ликеры и т. п. (26—59 проц.).

У особенно чувствительных, особенно на голодный желудок, уже от 1—2 рюмок таких напитков (у привыкших от гораздо большего количества) может появиться головокружение, головная боль, возбужденное состояние, затем тошнота, рвота, а далее сонливость, угнетение, дурнота. От большего количества, особенно у некоторых, вместе с возбуждением быстро утрачивается критическая оценка своего состояния и поведения: «пьяному море по колено»; у многих появляется склонность к буйству, а в

дальнейшем глубокий сон или обморочное состояние. Еще и на другой день ощущается общая разбитость, угнетенное настроение, головная боль, дурной вкус, тошнота, расстройство аппетита<sup>1)</sup>.

Многие чувствуют к крепким спиртным напиткам отвращение, непосредственное или основанное на опыте, и все же, поощряемые окружающими, в известной степени вовлекаются в алкоголизм. Для других только период первичного возбуждения является привлекательным; крепких напитков они пьют зараз рюмки 2—3 или пьют преимущественно приятное на вкус и содержащее гораздо меньше (5—15 проц.) алкоголя вино или пиво; до более глубокого опьянения обычно не доходят; но и они, если пьют постоянно, все же являются, хотя в умеренной степени, алкоголиками. Многие, напротив, теряя меру и не считаясь с тяжелыми последствиями глубокого опьянения, постоянно злоупотребляют спиртными напитками. Наконец, у некоторых влечение к спиртным напиткам периодически принимает характер непреодолимой потребности. Для того, чтобы получить алкоголь, и притом в большом количестве, они не останавливаются ни перед какими жертвами, не отказываясь от самых пизких и наиболее вредных сортов спиртных напитков. Даже ясное сознание пагубности своего положения перед этим влечением отступает на задний план; периоды воздержания от алкоголя сменяются периодами жестокого перелом, при котором нередко развивается так называемая белая горячка (delirium tremens) — сильнейшее двигательное возбуждение (что называется, ловят чортиков), различные обманы чувств — яркие слуховые и зрительные галлюцинации и буйный бред с последующим изнеможением, а иногда смертельным исходом.

Впрочем, этот вид запойного пьянства, так наз. диссомания, встречается не так часто. Но всякий постоян-

<sup>1)</sup> Особенно вредно употребление неочищенного от свиного масла и других примесей алкоголя, в частности, «самогона», а также одеколна, спиртного раствора лака или политуры и т. п. Древесный спирт (метилловый алкоголь) и в очищенном виде может вызывать слепоту.

но пьющий в большей или меньшей степени отравляется.

Алкоголь является ядом, прежде всего, для нервной системы, парализуя высшие нервные центры: поражается воля, слабеет соображение, память, падает работоспособность, резко увеличивается общая возбудимость, вследствие угнетения задерживающих центров; не особенно редко дело доходит до глубокого притупления умственных способностей и нравственного чувства в целом (алкогольный психоз, алкогольное слабоумие), чем объясняется множество несчастных случаев и преступлений, виновниками которых являются алкоголики. Поражаются и периферические нервы, что выражается сильными болями, главным образом, в конечностях, вследствие невралгии (болевое раздражение нерва) или неврита (воспаление с более глубокими изменениями в нервном стволе), так что больной не может владеть иногда даже многими членами (полиневрит).

Алкоголь возбуждает деятельность сердца, но вместе с тем раздражает и постепенно приводит к перерождению сердечную мышцу, стенки аорты и других кровеносных сосудов, вызывая в них глубокие непоправимые изменения; часто поражаются и мозговые сосуды, которые при повышенном кровяном давлении подвергаются разрыву, отчего происходит кровоизлияние в мозг с последующим параличом и другими тяжелыми мозговыми расстройствами. Органы пищеварения страдают потому, что алкоголь раздражает слизистую оболочку желудка, при чем частое повторение такого действия, особенно в виду того, что вместе со спиртными напитками вводится много неудобоваримой и также раздражающей пищи, ведет к глубоким расстройствам пищеварения. Параллельно идут нарастающие тяжелые изменения в печени и почках — органах первостепенного жизненного значения, которые перерождаются и набухают, а в дальнейшем нередко развивается их сморщивание с целым рядом тяжелых последствий для всего организма, которые надо уже отнести к явлениям самоотравления.

Хроническое алкогольное отравление вообще чрезвычайно

ослабляет организм и понижает его сопротивляемость по отношению к другим вредностям, к инфекции и, в частности, к туберкулезу. Очень тяжело отражается алкоголизм и на потомстве. Наблюдаются самопроизвольные выкидыши, или рождаются недоноски, или доношенные, но хилые, неразвитые, жизненно неполноценные, неустойчивые субъекты с признаками физического вырождения (дегенераты), склонные ко всевозможным заболеваниям и преждевременной старости, что доказывает и статистика и эксперименты на животных. В других случаях потомство — дети и внуки — физически в общем нормально развиты, но являют признаки нервно-психического вырождения: страдают различными неврозами, эпилепсией, психозами, склонны также к алкоголизму и наркотическим средствам, душевным заболеваниям и преступности.

Таким образом, алкоголизм представляет массовое отравление, являющееся одним из величайших социальных бедствий. Борьба с ним необходима и возможна, прежде всего, путем просвещения и просветления общественного сознания, но необходимо и соответственное социальное законодательство, запрещающее производство и продажу спиртных напитков.

Отравление табаком. Табак также сильно отравляет организм. Он содержит очень сильный яд — никотин, с характерным запахом. Чистый никотин в опытах на лягушке дает тяжелое отравление уже в сотой доле капли. Четверть капли убивает кролика, две капли смертельны для человека.

Между тем, злоупотребление табаком в различных видах распространено повсеместно. В Америке, на родине табака, многие жуют табак, во многих странах курят сигары и сигареты, трубку, у нас преимущественно папиросы, а беднейшие классы населения — махорку в крученой газетной бумаге. При этом табачный сок и составные части дыма его попадают со слюною в желудок; при вдыхании же табачного дыма оставшийся несгоревшим никотин, хотя в сравнительно небольшом количестве, попадает в легкие и оттуда всасывается в

кровь. Но этого достаточно, чтобы вызвать отравление; тем более, что в табачном дыме находятся еще и другие очень вредные продукты неполного сгорания табака и папиросной бумаги, как окись углерода, аммиак, сероводород и даже следы синильной кислоты.

В итоге и никотин и все эти летучие яды действуют при курении не только на самого курящего, но в известной степени и на всех находящихся в накуренных помещениях.

В острой форме отравление никотином проявляется у начинающих курить при первых же затяжках: быстро появляется резкая слабость, головокружение, тошнота, иногда рвота и понос. Человек сейчас же бледнеет, появляется холодный пот, дрожание рук, сердцебиение, а иногда и обморок. То же наблюдается даже у старых курильщиков, при чрезмерном курении. Описаны случаи смерти.

Однако, большинство сравнительно быстро привыкает к яду, большей частью уже не обнаруживает явных признаков отравления и даже начинает периодически испытывать потребность в курении, особенно после еды, выпивки, при волнении. Оно дает известное возбуждение, разгоняет сон, как будто подбадривает при утомлении и успокаивает при сильном волнении. Но даже самый привычный «злостный» курильщик, может быть, только одну из трех папирос закуривает потому, что ему действительно хочется курить; гораздо чаще его занимает самый процесс курения, как один из способов занять свое внимание. В конечном же счете курение ведет к целому ряду переходящих или стойких и глубоких расстройств, о чем большинство не имеет должного представления.

Поражается центральная нервная система: нередко наблюдается ослабление памяти, притупление зрения и слуха, шум в ушах, — явления, которые сглаживаются после прекращения курения; развивается неустойчивость настроения, раздражительность, падает работоспособность, обнаруживается якобы даже притупление морального чувства<sup>1)</sup>.

Характерно действие курения на сердечно-сосудистую систему: деятельность сердца часто расстраивается и ослабевает, появляется сердцебиение, замирание, перебои, боли в области сердца, ощущение тоски, а иногда — явления так называемой грудной жабы. При этом в кровеносных сосудах самого сердца происходит спазматическое сокращение или имеется уже перерождение стенок, с уменьшением просвета их и глубоким расстройством кровообращения, что вызывает тяжкие боли в сердце, ощущение приближающейся смерти и нередко внезапную смерть<sup>1)</sup>.

Подобные же изменения происходят и в артериях конечностей, вследствие чего постепенно развиваются боли в ногах после всякого, даже непродолжительного движения (так называемая перемежающаяся хромота), которые, нарастая, становятся невыносимыми. а далее происходит даже отмирание частей конечностей — самопроизвольная гангрена.

От непосредственного раздражения табачным дымом развивается хроническое воспаление (катар) дыхательных путей: зева, гортани, дыхательного горла и бронхов; теряется звучность голоса, появляется кашель с выделением мокроты. Изменения на слизистых оболочках содействуют проникновению через них инфекции и, в частности, развитию туберкулеза. Во рту курение также вызывает раздражение слизистой оболочки, слюнных желез (часто наблюдается слюнотечение, иногда сухость во рту); страдает зубная эмаль, вследствие чего гораздо быстрее разрушаются зубы. Курение притупляет аппетит, вызывает катар желудка, расстраивает деятельность кишечника. Нередко у курильщиков развивается похудание, а когда они бросают курить, быстро прибывают в весе, при чем сильно улучшается и общее состояние.

Отравление табаком, как и алкоголизм, уменьшает способность

<sup>1)</sup> Среди преступников у курящих обнаружен гораздо больший процент рецидивистов, чем у некурящих.

<sup>1)</sup> В припадке грудной жабы погибли многие выдающиеся общественные и научные работники, злоупотреблявшие курением, особенно сигар.

к продолжению рода и отражается на потомстве. У рабочих табачных фабрик постоянно наблюдаются выкидыши, а из рождающихся у них детей многие нежизнеспособны. Также доказано опытами на животных.

Отравление табаком значительно сильнее действует на детей (что также доказано опытами на молодых животных) и на женщин, чем объясняется сравнительно большая смертность на табачных фабриках, где работает до 80 проц. женщин и детей.

Таким образом, курение представляет громадную личную и общественную опасность. Хотя оно является меньшим социальным злом, чем алкоголь, так как не создает опьянения со всеми его последствиями, но зато распространено гораздо больше и, к сожалению, распространяется все шире<sup>4)</sup>.

Главная же причина этого явления несомненно бессмысленная раздражительность и неосведомленность о действительно отравляющем действии табака.

Отравление наркотическими ядами. Еще более опасным является распространенное, особенно на Востоке, увеличение курением и внутренним употреблением опиума. Опиум вызывает особого рода ольянение и необычайное повышение настроения, заставляющее забыть все недуги и неприятности, а затем глубокий сон с дивными сновидениями; в дальнейшем же общее изнеможение и тяжелое самочувствие, которое приходится устранять все возрастающими (для обычных смертельными) дозами. В итоге: глубокое истощение, ужасный упадок сил, бессонница и глубокие расстройства сердечной и нервно-психической деятельности. Важное значение имеет также хроническое злоупотребление морфием (морфиномания — морфинизм), развивающееся чаще у лиц, которым морфий неоднократно вводился под кожу для

прекращения каких-либо мучительных, часто повторяющихся болей. При этом морфинист испытывает состояние, похожее на производимое опиумом, с одинаковыми последствиями.

За последнее время наблюдается еще увлечение кокаином (кокаиномания), что объясняется раздражением, а также тем, что под влиянием кокаина временно появляется веселое настроение и приятное возбуждение, между прочим, с повышением температуры тела и своеобразным ощущением меха на коже — состоянием, сменяющееся затем тоской, упадком сил, расстройством сердечной деятельности, с учащением пульса, похолоданием конечностей и иногда обмороком. При хроническом же отравлении наблюдается стойкое расстройство сердечной деятельности и психики.

Среди лекарственных средств есть и другие, которые также могут вызвать у человека склонность к постоянному потреблению их в возрастающих дозах. Так, у некоторых наблюдается влечение к потреблению эфира (эфиромания), даже хлороформа и других, временно возбуждающих, а затем оглушающих средств.

В Штирии много так называемых мышьякоедов, которые принимают мышьяк (вызывающий в малых дозах повышение общего самочувствия) все в большем количестве и, в конце концов, поглощают громадные, для других смертельные, дозы его.

Из всего изложенного ясно, каким разнообразным отравлениям постоянно подвергаются все живые организмы, и в особенности организм человека, со стороны внешней среды, а также в своем жизненном обиходе. Но непрерывно проявляют свое отравляющее действие и вещества, образующиеся в самом организме, во всем процессе его жизнедеятельности, особенно же при болезненном его состоянии. Такие вещества являются производными непрерывного внутреннего горения организма, постоянного изнашивания и частичного распада всех его тканей, а также многообразных превращений

<sup>4)</sup> В Сев. Америке за 23 года (с 1905 по 1928 г.г.) число выкуренных за год папирос увеличилось в 13 раз; под табак засеивается в общем около миллиона десятин, на него тратятся миллиарды.

веществ, введенных извне в образующихся в самом организме. При нормальном, здоровом состоянии все эти ядовитые продукты постоянно и равномерно выделяются из организма различными путями, при чем у животных и у человека это происходит благодаря выделительной деятельности почек, кишечника, печени (через кишечник), легких и кожи. Но если организм почему-либо не может вывести эти вещества и они накапливаются в нем в количестве, превышающем обычную норму, то они являются уже причиной самоотравления организма. Вопрос о самоотравлении представляет громадный интерес, но, за невозможностью расширить рамки настоящей статьи, не может быть рассмотрен здесь достаточно обстоятельно. Надо только упомянуть, что причиной самоотравления организма может явиться также расстройство деятельности особой группы так называемых желез внутренней секреции, каковы: щитовидная, гипофиз (или придаток мозга), поджелудочная, надпочечная и

другие. Они отделяют в кровь своеобразные вещества, **инкреты**, которые регулируют всю жизнедеятельность организма, при чем ненормальное, качественно или количественно, образование этих инкретов и неправильное соотношение между количеством инкретов разных желез вызывает различные виды самоотравления, которые выражаются такими болезнями, как базедова, акромегалия, сахарная, бронзовая и др.

К сожалению, и этот интересный вопрос не может быть рассмотрен здесь более подробно.

Во всяком случае, необходимо принять во внимание, что отравления извне, о которых говорилось выше, производят в организме такие глубокие внутренние изменения, при которых в громадной степени расстраивается деятельность органов выделения и инкреторных желез.

Следовательно, отравление извне неизбежно влечет за собой и самоотравление организма.

# Люди и факты

1. МИХ. НИКИТИН. Ханнычар-река. — 2. ЛЕВ АЛПАТОВ. Нефть. —
3. БОР. АНИБАЛ. На отдыхе.

## 1. ХАННЫЧАР-РЕКА

Мих. Никитин

*Р. Н. Кронгауз.*

### I

Розовые блики огня медленно колыхались на белом полотне палатки. Рассказ ссыльного контрабандиста приближался к концу.

— Я в таком разе открываю окно и выбрасываю наган.

— Наган, — сонно думал Кедров, — почему наган?

Он полулежал на оленьей шкуре, опираясь на руку и подбив ладонь под темную щеку. Глаза у него слипались. Голос Игната, глухой и печальный, казался ему похожим на жужжанье шмеля. Ссутулив широкую спину и обхватив колени руками, Игнат жужжал:

— В ту же ночь увозят нас в Каменец-Подольский. Через неделю суд. Как старого контрабандиста, приговаривают к высылке.

— Каменец-Подольский, — мысленно повторил Кедров, раскрывая глаза. Игнат замолчал. Ветер залепетал в кустах. Не вставая с места, Игнат дотянулся до кучи валежника, сложенной у костра, выдернул несколько жердинок, переломил их и бросил в костер. Жердинки вспыхнули, как порох.

Игнат шумно вздохнул:

— Эх, Сергей Николаич, какие у нас сады в Каменец-Подольском!

Надо было ждать, что Игнат надолго замолчит. Воспоминания о садах Волыни не проходили даром.

Костер разгорелся. Дым потянуло на реку. Рослый пес вышел из темноты и лег у костра, положив морду на вытянутые лапы. Игнат вздохнул еще раз

и выругался. Мохнатые брови сошлись над его переносьем. На рябых челюстях проступили каменные желваки.

— Плохие дела, — подумал Кедров. Рука у него затекла. Он лег на оленью шкуру, положив голову на спелые пальцы.

Луна шла над лесом. Звезды, поосеннему прозрачные, напомнили Кедрову прогулки вокруг институтских корпусов. Сколько месяцев прошло с тех пор? Август, июнь, июль. В мае он жил в институте. Да, он жил в институте, ничем не отличаясь от других студентов.

Налаженная жизнь катилась без помех. Он ходил на лекции, посещал собрания, работал в лаборатории, вздыхал под звездами, играл в шахматы и пел в хору.

В середине апреля профессор Ваганов вывесил на дверях своего кабинета объявление, что может взять студента старшего курса в лесоисследовательскую экспедицию, отправляющуюся на Север.

Кедров прочитал это объявление, — тонкая льдинка его спокойствия мгновенно растаяла. Попрежнему он ходил на лекции и на лабораторные занятия. Люди и вещи остались на прежних местах. Банки с реактивами стояли на лабораторных полках, синее пламя горелок билось под тигельками; в водопроводных трубах, проложенных вдоль стен лаборатории, ворчливо переливалась вода, — все было по-старому; Кедров заскучал. Ровный шум газовых горелок не мешал ему думать о путе-



шествиях. От рассеянности он бил посуду.

Решение пришло неожиданно. В апрельское утро он разбил четвертую колбу. Собрав стеклянные осколки, он запер их в шкаф и торопливо вышел из лаборатории.

Разговор в профессорском кабинете был непродолжителен. Профессор Ваганов принял Кедрова, стоя у чертежного стола. Держа в правой руке рейсфедер, а в левой линейку, профессор повернулся к Кедрову, вставшему у двери.

Кедров заявил, что он желает быть сотрудником экспедиции.

— Лесфак? — спросил профессор скрипучим и неприятным голосом.

— Да! — ответил Кедров.

— Четвертый курс?

— Да!

Положив рейсфедер и линейку, профессор подошел к Кедрову. Он был темен лицом и тщедушен. Белый его халат было выпачкан тушью.

— Имейте в виду, — сказал профессор, морща пергаментный лоб, — имейте в виду, вам придется в некоторых случаях выполнять физическую работу.

— Я не боюсь, — буркнул Кедров. Профессор вытер руку о полу халата и протянул ее Кедрову.

Это было согласие.

В первых числах июня профессор Ваганов и студент Кедров прибыли в таежный поселок Литвенцова, расположенный в верховьях северной реки. Здесь началось формирование экспедиции. В воскресное утро небольшая илимка <sup>1)</sup> с четырьмя гребцами и двумя пассажирами отошла от Литвенцова. Таежная река, порожистая и быстрая, подхватила лодку и понесла по течению.

Берега реки были пустынные. Изредка попадались тунгусские чумы. Газа три над зеленым разливом береговой тайги возникали тонкие силуэты колоколен. Экспедиция шла по пути казаков, промышлявших некогда земли и «мягкую рухлядь» мехов. Церкви были брошенные.

Экспедиция прошла мимо двух цер-

квей. Привал пришлось на третью. Она стояла на высоком пригорке. Вечер пепельно-синий был необычайно тих. Гребцы поставили палатку. Кедров поднялся на пригорок. Силуэт колокольни был акварельно тонок. Слюдяные окна горели на солнце. Разбитые двери косо висели на ржавых петлях. Странный свет проникал сквозь слюдяные окна. Под куполом летали стрижи. Пять-шесть икон висели на трухлявых стенах. Церковь давно была брошена. Следы грубых сапогов отпечатались на пыльном полу. Семнадцатый век взглянул на Кедрова из-под темных сводов.

В самой экспедиции семнадцатый век был представлен братьями Семиколленных — Петром и Павлом. Корежные жители Литвенцова — высокие, худые и жилистые, — они никогда не видели железной дороги и парохода. Как-то раз Кедров сказал им, что все население Литвенцова можно вместить в один городской дом. Братья Семиколленных улыбнулись и сладко, по-северному, зашепелявили:

— Ну, это ты, однако, парень, сутишь!

Семиколленных озадачивали Кедрова безразличным отношением к гнусу <sup>1)</sup>. Остальных участников экспедиции гнус доводил до бешенства. На воде было еще терпимо, ветер относил в сторону мошку и комаров, но на берегу во время таксационных работ гнус был неотвратим, как рок. Он проникал под сетку, забиваясь в нос, в уши, в рот, в глаза. Особенно страдала шея. Дни, проводимые на берегу, были нестерпимо мучительны. Семиколленных утешали путников:

— Будут жаморожки, — гнус пропадет!

С половины августа гнус, действительно, стал пропадать. Путники повеселели, плаванье подходило к концу. Можно было надеяться, что экспедиция выполнит маршрут за две недели до назначенного срока.

Пронсшествие у Бокового Порога спутало все расчеты. Когда илимка вошла в стремнину порога, Петр Семико-

1) Илимка — крытая лодка.

<sup>1)</sup> Гнус — сибирское название мошки, комаров.

ленных, сгоявший у руля, сделал неверный поворот, илимка царапнула днищем о подводный камень и быстро наполнилась водой. С трудом удалось довести ее до берега. Гребцы заделали пробоину, а щели засмолили живицей. Течь все же была заметна.

Тридцативерстное расстояние, отделившее факторию «Север» от Бокового Порога, экспедиция прошла в два дня. Это было трудное испытание. Течь все усиливалась. Под конец пришлось беспрерывно вычерпывать воду.

В фактории «Север» илимка была поставлена на ремонт. Вынужденную остановку профессор решил использовать для рекогносцировочного обследования речки Ханнычар, впадающей в великую северную реку. Заведующий факторией уступил профессору лодку. Взяв Кедрова, Марка и Игната, профессор отправился в путь. Братья Семиколенных, оставленные в фактории, должны были отремонтировать илимку с тем, чтобы не позднее восьмого сентября подвести ее к устью Ханнычара.

Братья Семиколенных пообещали профессору:

— Ждем в лучшем виде!

## II

Кедров лежал у костра лицом к огню. Легкие иголки озноба покалывали ему спину. Повернуться было лень. Машинально он шептал:

— Ханнычар, река Ханнычар...

Дрема пеленала ему мускулы. Он слышал лепетание ветра и всплески волн, набегающих на берег.

— Ханнычар, река Ханнычар...

По временам он открывал глаза. Игнат сидел у костра, застывши в огромную глыбу. Рядом с ним растянулась собака; правый ее бок, обращенный к огню, светлел от огненных бликов.

Внезапно она подняла голову, шерсть на ее спине встала дыбом, она зарычала.

— Урикан! — негромко крикнул Кедров.

Пес подбежал к нему и ткнул его носом в плечо. Кедров поймал его за уши, пес вырвался и побежал в кусты.

— Идет кто-то, — сказал Игнат.

Послышался треск валежника, Кедров встал, невидимый пес залился тревожным лаем.

— Инканым! — послышалось в кустах.

Урикан смолк. Сухой треск приближался.

— Человек, должно быть!

Игнат встал рядом с Кедровым.

Кусты раздвинулись, человек с пальмой<sup>1)</sup> вошел в светлый круг костра.

— Какой здесь людя? — спросил он негромко.

Это был молодой тунгус, тщедушный и тонконогий. Не дожидаясь ответа, он подошел к Игнату и, перехватив пальму, несмело протянул руку:

— Дравтуй!

Игнат потряс его руку. Он был выше тунгуса на целое плечо. Тунгус стоял перед ним, расставив ноги и запрокинув голову.

— Большой нацальник, — сказал тунгус, — большой нацальник, как жить будем? Белка пропал, хлеб-та нету, — худое дело, борони бог!

Игнат глядел на тунгуса, недоумевая. Желтое лицо перекошилось. Тунгус наморщил лоб и с видимым усилием добавил:

— Большой нацальник, дай мне грамота, закон — бумагу дай! Хочу век владеть Ханнычар-река!

Лицо Игната налилось кровью, плечи затряслись, он хлопнул себя по ляжкам и закричал:

— Ай, уморил! Вот история-то какая!

Глядя на прыгающий кадыж Игната, тунгус растерянно бормотал. Игнат давился смехом. Огромное тело тряслось. Он приседал даже, крича в сторону лодки, покачивающейся у берега:

— Марк, вставай, засоня! Марк, история-то ведь какая!

Невидимый Марк не вставал. Игнат бил себя по ляжкам. Он задыхался. Он даже стонал.

Тунгус продолжал бормотать:

— Хлеб-та нету, белка пропал... Сами пропадем, быват, борони бог.

Лицо у него было очень усталое.

Кедров подошел к нему.

1) Пальма — род рогадины.

— Боё, — сказал он, положив руку на его плечо; — боё, есть хочешь?

— Не снай, — ответил тунгус. Он вдруг стал сползать. Кедров поддерживал его, но это был не обморок. Тунгус сел на землю, подбив под себя ноги.

— Странный гость! — подумал Кедров. Повернувшись, он зашагал к палатке. Песок зачавкал под ногами, длинная тень упала на лунный берег. Кедров отдернул полотнище, прикрывавшее вход, белая лунь пролилась в палатку. На походной кровати, стоявшей направо от входа, медленно качнулась меховая горка. Из мехов послышалось:

— Что там такое?

— Проснулись? — спросил Кедров. — Там, знаете ли, Владимир Львович, тунгус пришел.

— Какой тунгус?

Из мехового кокона вылунилась голова. Чиркнула спичка. Волосатая рука поднесла ее к свече, стоявшей в подсвечнике на опрокинутом чемодане. Желтый свет, вытесняя луну, заполнил четырехугольное пространство палатки. Профессор нашарил роговые очки, лежавшие у подсвечника.

— Какой тунгус, — переспросил он, усаживаясь на постели.

Кедров прошел в тот угол, в котором была свалена его постель.

— Обыкновенный, знаете ли, тунгус. Он принял Игната за большого начальника, вероятно, его Игнатов рост смутил.

Кедров разрыл постель и вытащил небольшой чемодан.

— Оп, знаете, профессор, попросил у Игната грамоту на вечное владение рекой Ханнычар.

— Так он с Ханнычара?

— Говорит, что с Ханнычара.

Профессор одел очки и хмыкнул.

— Возьмем его в проводники.

— Это было бы здорово, — обрадовался Кедров.

Он достал из чемодана консервную банку.

Профессор выкинул руки и потянулся. Коричневая фуфайка раскрылась на тойшей груди, обнажая мелкие латы ребер.

— Сергей Николаевич, не забудьте. — подым в шесть!

— Слушаю, Владимир Львович! — Кедров захлопнул полотнище входа и встал у палатки.

Река чешуилась лунным серебром. Илимка мерно покачивалась на волнах. Звезды стояли низко.

— Проболтаем всю ночь! — подумал Кедров, прислушиваясь к говору у костра.

Комар запыл над ухом. Он хлопнул себя по щеке, счастливая бодрость наполнила тело, он засмеялся и зашагал к костру...

Предположения Кедрова оправдались. Он просидел у костра всю ночь. Оставшись с тунгусом наедине, Кедров спросил его, на что ему пужна грамота на вечное владение рекой Ханнычар. Из сбивчивых объяснений тунгуса Кедров понял следующее. Минувший год был очень тяжелым для охотников этого района. Вследствие неурожая кедровых орехов белка ушла в Сымскую тайгу. За всю зиму Кима добыл двадцать две белки и одну сиводушку.

В начале лета захворал отец Кима. Повидимому, это было последствием плохого питания. Шаман врачевал его два дня, но не помогло: старик умер. Шаман взял за работу лучшего оленя и два потакуя<sup>1)</sup> с мукой. Олень был совершенно белой окраски, что у туземцев очень ценится. Об этом олене Бургукан говорил с таким же волнением, как и о смерти отца.

Несчастья его на этом не кончились. Уходя на охоту, он загнал оставшихся трех оленей вместе с телятами на моховище и там их привязал. Вернувшись, он не нашел телят. По следам он определил, что их утащила рысь. Оставшиеся олени в скором времени пали один за другим. Бургукан описал болезнь так: сначала у оленей распухли ноги, потом загноились копыта. Повидимому, это был бугун.

Положение создалось тяжелое. Вечера утром, когда Кима выходил на охоту, жена сказала ему, что мука осталась лишь на дне потакуя. Бургукан пошел в лес с твердым намерением добыть сохатого. План был такой. Бургукан должен был добыть сохатого и

<sup>1)</sup> Потакуй—ранцы из оленьей шкуры. В этих ранцах тунгусы-оленьеводы хранят имущество.

забрать его в лабаз с тем, чтобы потом перекочевать с чумом к мясу и устроиться на новом стойбище.

Вначале Бургукану посчастливилось. Спустившись в распадок, на дне которого протекал ручей, он напал на след лося. След вывел его к реке. Сохатый, по всем признакам, вошел в воду и переправился на противоположный берег. След его заходил в реку, теряясь в двух саженях от берега.

Бургукан приготовился к переправе, как вдруг на глаза ему попала чужая тамга, то-есть чужой родовой знак, вырезанный на дереве. По следу шел другой охотник, о чем он и предупреждал возможного конкурента.

Бургукан рассердился и даже бросил ружье на землю. Именно в этот момент он увидел ветку, которая шла по течению. В ветке, иначе говоря, в туземной лодке, сидел человек. Бургукан, разумеется, остановил его. Первым вопросом был, вероятно, обычный для туземца вопрос: какие новости?

От тунгуса, сидевшего в ветке, Бургукан узнал, что сверху идут в лодке русские начальники. Расставшись с тунгусом, Бургукан пошел навстречу экспедиции.

...Без пяти шесть Кедров вышел из палатки. Ленивое солнце выползло из-за тайги. По реке шла розовая рябь. Сильный дым почти погасшего костра стлался к земле. Игнат спал у костра, завернувшись в оленью доху. Тунгус спал, сидя, положив пальму на плечо и скрестив на древке руки. Голова его свешивалась на грудь, синяя повязка, поддерживающая волосы, сбилась на глаза.

— Игнат! — крикнул Кедров.

Тунгус вздрогнул и уронил пальму. Над носом лодки поднялась взлохмаченная голова.

— Вставай, Марк! — крикнул Кедров. Марк сонно поморгал опухшими глазами.

— Пошто Игнат не встает?

Игнат сбросил доху и шумно позевнул. Потягиваясь и позевывая, он проревел:

— Чертов лентяй! Я давно не сплю!

— Сам ты турок! — примирительно отозвался Марк.

Лагерное утро началось. Из палатки вышел профессор. Ежась от утренней прохлады, он встал у лодки, мохнатое полотенце, висевшее на его плече, запылось от ветра. Марк зачерпнул ведро воды и вылез из лодки.

Началось умыванье. Профессор фыркал п шумно расплескивал воду. У ног его натекла лужица.

— Выдра, — думал Бургукан, глядя на профессора. Ему было трудно поверить, что это и есть начальник...

Во время завтрака, когда люди расселись по краям брезентового плаща, разостланного у костра, профессор внимательно поглядел на Бургукана поверх огромных очков. Бургукан ничем не отличался от тех туземцев, которых он видел в пути.

Тунгус сидел, скрестив ноги, острые углы колен были подняты. Он был одет в синие штаны, заправленные в унты из оленьей замши, и в рваную парку. Засаленная синеватая повязка закрывала лоб, поддерживая длинные волосы. Лицо у него было скуластое, коричневые глаза немного косили, темная растительность чуть пробивалась на верхней губе.

— Где ты живешь? — спросил профессор.

— Там!

Тунгус показал рукой на северо-восток.

— Далеко твой чум?

— День мера.

Тунгус протянул Игнату пустую чашку, Игнат снял с огня задымленный чайник, густое кофе потекло в чашку.

— Хороший вода, — сказал тунгус.

Несмело улынувшись, он вдруг дотронулся до руки профессора и залепетал:

— Миколка Большой чум — место лабаз ставил. Миколка — худой людя, борони бог.

Коричневая рука взметнулась в полуденную сторону.

— Миколка та сторона живет! Худой людя! Ханнычар-место ходит, водка несет! Водку несет — белка просит! Начальник боится, — борони бог.

Профессор пожал плечами:

— Какой начальник, какой Миколка?  
— Охотничий лабаз, — подумал Кедров. — Надо запомнить.

Сладкая вода, которую пили русские, понравилась Бургукану. Он выпил пять чашек. Вероятно, он выпил бы шестую, но русские очень торопились. Пока Бургукан допивал пятую чашку, путники пргрузили в лодку все свои вещи. После этого они разобрали палатку.

Бургукан подумал, что он не смог бы разобрать чум с такой быстротой. Его многое дивило. Войдя в лодку и увидев треноги геодезических инструментов, он спросил Кедрова:

— Какой его дело?

Кедров объяснил, что этими инструментами они измеряют землю.

— Зачем смеешься? — обиделся Бургукан. Кедров растерялся и ничего не ответил.

Он сидел на носу лодки. Бессонная ночь вошла в его тело усталой немотой. Игнат и Марк сидели на веслах. Ровный скрип уключин вызывал сонливость. Кедров сполз на дно лодки, — берег в осеннем багрянце леса поплыл ему навстречу.

Он закрыл глаза. Неторопливое движение лодки отдавалось в каждой кровинке. Он слушал это движение всем своим телом. За бортами лодки плескались волны. Станный сон сковал его тело, он слушал скрип уключин, ему казалось, что за бортами лодки неотвратимо струится жизнь.

### III

Вечер застал их в чуме. Сидя на подстилке из сосновых веток, профессор знакомил Кедрова с основами туземного права.

— Сергей Николаевич, мы были свидетелями интереснейшего прецедента. В туземном родовом праве особенно важны те моменты, которые относятся к владению охотничьим угодьем. Всякий туземный род, всякое туземное семейство всегда стремилось закрепить за собой то или иное охотничье угодье. Раньше туземцы не знали нотариальных актов. Чтобы закрепить за собой угодье, достаточно было доказать годичную давность владения этим угодьем.

Профессор прихлебнул из кружки чай. Голос его звучал так, точно он читал лекцию в вузовской аудитории.

— В настоящее время годичная давность не является уже юридически действенным моментом. Родовое право разлагается. Туземцы не довольствуются изустными актами. Как следствие этого, мы имеем просьбу Бургукана о грамоте на владенье.

Бургукан, сидевший у очага, настояжился. Разговор шел о нем.

— Следует заметить, что туземцы верят в бумагу слепо. То, что написано на бумаге, — неоспоримый для них закон. Поэтому, Сергей Николаевич, меня несколько не удивила просьба Бургукана о вводе его во владение речкой Ханнычар.

Профессор вынул трубку и выбил о колено пепел. Кедров протянул Бургукану пустую чашку, Бургукан потянулся к котлу, висевшему над очагом.

— Больше не надо, — сказал Кедров.

У входа в чум сидела женщина с медким скуластым лицом. Черноглазый мальчик выглядывал из-за ее спины.

— Как тебя зовут? — спросил Кедров, обращаясь к женщине. Она засмеялась, крохотный рот раскрылся, мелкие зубы блеснули.

— Майгуль зовут, — сказал Бургукан, передавая женщине пустую чашку. Женщина раскрыла сундучок, наполненный стружкой, стружкой она вытерла чашку. Движения у нее были проворные. По виду ей нельзя было дать более двадцати трех лет. Рот у нее был свежий. Тонкие дуги бровей, взползающие на лоб, придавали лицу переменчивое и недоумевающее выражение.

— Его как зовут? — спросил Кедров, показывая на мальчика.

— Чунго! — улыбнулся Бургукан.

Кедров взял из коробки кусок сахара и подал мальчику. Чумахая лапка дотронулась до его ладони и тут же отдернулась, лицо мальчика покрылось бисером пота.

— Ежик! — подумал Кедров. Неожиданная нежность согрела ему сердце. Он представил ночлег этой семьи в зимнем чуме.

В очаге слабо тлеют уголья, мужчины и женщина спят на оленьих шкурах,

за меховыми стенками чума воев мятель, маленький сын спит рядом с матерью, ему тепло, он—как звереныш в логове.

Кедров беспокойно завозился на месте. Воспомнив городскую комнату, он внимательно осмотрел чум.

Деревянный его каркас был обтянут коническими полотнами, сшитыми из оленьей замши, дым выходил в круглое отверстие, устроенное в верхнем своде, вокруг очага лежали оленьи шкуры, запах дыма и сосновых веток плотно утвердился в чуме.

Кедров сидел по-туземному с поджатыми ногами. Когда он осмотрел чум, туземная поза показалась ему постыдной. Он встал, ноги у него затекли; прихрамывая, он вышел на воздух.

В пятнадцати шагах от чума Игнат и Марк ставили палатку. Держа в одной руке топор, а в другой — развилстый колышек, Игнат крикнул:

— В аккурат кончаем!

Чум стоял на солнечной слани. Внизу блестела река. Кедрач взбежал на пригорок. Полянка, увенчивающая слань, поросла кровохлебкой. Кедров внимательно оглядел стойбище. Незыснимая грусть овладела им.

В нескольких шагах от чума были раскиданы оленьи шкуры. На берестяных подстилках лежали потакуи. Кедров знал, что эти большие ранцы, сделанные из оленьей кожи и расшитые бисерным узором, служат для хранения имущества. Он насчитал шесть ранцев. С этим имуществом тунгус жил в тайге.

В городских мечтаньях жизнь лесного человека представлялась ему исключительно счастливой.

Теперь он бормотал:

— Книжный вздор... ерунда!

Он готов был поколотить того олуха, который бил посуду в вузовской лаборатории и возвешивал лесного жителя.

#### IV\*

Для туземца каждая бумага—закон. Эти сведения Кедров использовал в тот же вечер, в который он их получил от профессора. Когда профессор ушел в палатку, Кедров приступил к Бургукану:

— Боё, до лабаза отсюда далеко?

— Верста мера, — ответил Бургукан.

— Боё, сходим до лабаза?

— Однако, можно.

Бургукан повел Кедрова по тропинке, прострочившей ельник. Кедров заметил, что походка у Бургукана особенная. Корпус его чуть откидывался назад, голову он нес несколько вбок. Повидимому, он был неутомим в ходьбе.

Дойдя до бурелома, покрытого бархатом зеленых лишайников и шелками тихого заката, Бургукан свернул в березовый подлесок.

Через несколько минут лабаз предстал перед ними. Это была избушка на четырех столбах, с квадратным лазом, чернеющим в жердяном настиле.

На земле лежало бревно, иззубренное приступками.

Приставив к лазу бревенчатую лестницу, Кедров поднялся в избушку. Затхлый сумрак охватил его. Он зажег спичку, — избушка была низка, он доставал головой до потолка. На жердяном полу лежали мешки, поверх мешков были брошены широкие и тупые лыжи, отделанные камысом<sup>1)</sup>.

Кедров прощупал мешки, они были набиты сухарями.

Спичка обожгла ему пальцы. Он спустился вниз. У лабаза произошел такой разговор:

— Боё, ты пойдешь с нами завтра?

— Однако, так.

— Хлеба у тебя нет?

— Однако, нет.

— Семья без тебя голодать будет?

— Однако, так.

Кедров решил идти напролом. Экономия не могла оставить продовольствия для семьи Бургукана, продовольствие было взято в обрез. Тунгусской семье угрожала голодовка, в лабазе спиртоноса гнили сухарп. Кедров приступил к тунгусу.

— Боё, Миколка пропадет, если у него взять один мешок?

— Однако, нет.

— Значит, можно взять один мешок?

Тунгус изумленно взглянул на русского. Русский не смеялся. Русский на-

<sup>1)</sup> Камыс—мех. шкура, снятая с оленьих ног.

стойчиво спрашивал: можно взять из чужого лабаза мешок сухарей?

Бургукан переступил с ноги на ногу.

— Так худо бывает.

— Почему худо?

Кедров задумался. Как сломить это равнодушное упрямство? Человек тайги считает величайшим преступлением посягательство на чужой лабаз. Но Миколку Большого нельзя ставить под действие этого закона. Миколка—явный спиртонос. Изъятие части его запасов в пользу голодной семьи было бы актом простой справедливости.

Несколько минут они молчали. Ветер ворошил листья. В лесу ухала птица.

— Боё,—заговорил Кедров,—раньше такой закон был, чтобы человек не трогал чужого лабаза. Теперь закон вот какой: у тебя хлеба много, у меня хлеба нет, новый закон разрешает бедному брать у богатого лишний хлеб. У Миколки сухарей много. У Миколки лежат в лабазе четыре мешка. К тому же он спивает народ и за бесценок берет меха. Если бы Миколка попался начальнику, начальник велел бы его связать, весь его припас начальник роздал бы народу.

Кедров перевел дух. Кровь прилила к лицу.

— Правильно ль я говорю? — спросил он себя. Темное лицо тунгусенка всплыло в его памяти.

— Ежик! — шепнул он. Сомнения исчезли. Да, он действует правильно.

— Боё,—начал он вкрадчиво,—я дам тебе бумагу с новым законом. Мы возьмем один мешок и отдадим Майиуль.

Расчет был правильный: Кедров сел и, вынув блокнот, написал на чистом листке:

«Гражданин, известный мне под именем «Большой Миколка», мешок сухарей из вашего лабаза взят под мою ответственность тунгусом Бургуканом Кима. Семья его голодает. Советую никаких неприятностей не чинить, так как я всегда сумею найти на вас управу.

31 августа. Сотрудник Лесоисследовательской экспедиции

Сергей Кедров.»

...Ночью они вернулись на стойбище. Бургукан пришел в чум, неся мешок на спине.

Кедров скрылся в палатке. Засыпая на оленьих постелях, он улыбался:

— Знал бы профессор, что я издаю декреты!

Профессор спал на походной койке. Спокойное дыхание наполняло палатку. Он не знал о декретах, как не знал того, что судьба человека может быть записана на блокнотном листике.

▼

1/IX. Сегодня мы покинули тунгусское стойбище. Когда наша лодка отходила от берега, Майиуль и Чунго стояли у чума. Я с тревогой думал: правильно ль мы поступаем, увозя Бургукана. Вернемся мы не ранее как через неделю. Эту неделю Майиуль должна провести в тайге в полном одиночестве. Правда, у нее есть ружье, она хорошая охотница, но мне все кажется, что остаться одной в чуме не совсем безопасно.

Возможно, что это городская точка зрения. Во всяком случае я доволен тем, что мы обеспечили Майиуль сухарями. Голодать она не будет.

С городской точки зрения много кажется странным. Меня очень удивил вчерашний эпизод. Когда мы возвращались на стойбище с мешком сухарей, Бургукан остановил меня на пути. Вынув нож, он быстро вырезал на палочке лук со стрелой, обращенной кверху. После этого он вернулся к лабазу. Я понял его действия так. Лук со стрелой—это родовой знак. Бургукан вернулся к лабазу для того, чтобы оставить взамен мешка своеобразную расписку или, иначе говоря, визитную карточку.

Таким путем он извещал хозяина, что сухари взяты из лабаза именно им.

2/IX. Пишу в лодке. День очень погожий. Мы идем на веслах, сменяясь попеременно. Я гребу в паре с Бургуканом. По-своему, Бургукан очень сметливый человек, хотя жизненного опыта, в нашем смысле слова, у него, конечно, нет. Он лишь однажды выходил с отцом на факторию, на суглапе был всего один раз. Чрезвычайно интересен рассказ его об этом суглапе.

Дело происходило так. Уклоняясь от гражданской войны, тунгусы забилась

в тайгу. До 1923 г. тайга не имела никаких сношений с внешним миром. Кордоны тунгусского князя Чунго перехватывали русских людей, которые пытались пройти в тайгу. В 1923 году одному «начальнику» (как выражается Бургукан) удалось прорвать кордоны. К тому времени тунгусы стали тяготиться изолированностью от мира, начальник нашел в их среде союзников, которые помогли ему созвать суглан. На суглан явился Чунго. Сторонники его кричали, что новая власть—худая, потому что она не дает ни сахару, ни чаю.

Начальник (повидимому, это был инструктор рика) приказал вскипятить воду. Когда вода в котлах закипела, начальник всыпал туда фунт чаю и около котлов поставил мешки с баранками. Тунгусы быстро опустошили мешки и выпили весь чай,—тогда недовольство против князя Чунго прорвалось наружу, тунгусы подняли крик: зачем Чунго людей убивает?

Рассказывая о суглане, Бургукан особенно подчеркивал, что Чунго убивал людей.

В его рассказах кровопролитие—большое преступление. Мне кажется, что здесь природа подсказывает человеку мудрые законы. Людей в тайге чрезвычайно мало. Природа бережно относится к дорогому человеческому материалу.

О чем еще написать? Совершенно упустил из виду: мы установили в лодке гониометр. Ведем маршрутную съемку. По гониометру отмечается каждый поворот, а по часам—время прохода излучины.

Ландшафт реки довольно однообразный. Берега крутые, иногда попадают известковые скалы. Чтобы захватить исследованьем оба берега, мы делаем остановки то на правом, то на левом берегу. Во время остановок делаем экскурсии, по возможности углубляясь в тайгу. Насаждения здесь смешанные, в громадном большинстве лиственные со вторым ярусом из хвойных пород. Полог второго яруса, заходя в полог первого яруса, производит впечатление III класса по классификации Крафта. Лес средних стандартов.

Владимир Львович очень доволен

тем, что мы захватили обследованием бассейн реки Ханнычар. Это неожиданное дополнение к нашему основному маршруту даст чрезвычайно интересный материал.

Меня радует другое. Предварительные итоги нашей экспедиции дают возможность говорить о рентабельности постройки лесозавода в районе Нового Порта.

Очень возможно, что по Ханнычару лет через пять будут производиться лесные сплавы. Именно тогда начнется завоевание этих огромных лесных площадей, которые измеряются миллионами гектаров и которые в настоящее время совершенно не имеют цены.

Лесные сплавы, дойдя до гигантского лесозавода, будут превращаться в лесозэкспортные ценности.

Я очень доволен тем, что я участвую в экспедиции, которая в какой-то степени должна поспособствовать пробуждению этого огромного края.

3/IX. Вчера на дневном привале Бургукан заснул. Проснулся он в мрачном настроении. Заметив это, мы начали выпрашивать, что с ним случилось.

Он сказал: приснился плохой сон, он думает, что с семьей случилось несчастье.

На ночном привале Бургукан подошел к Владимиру Львовичу и, видя, что тот укладывается в постель, сказал ему:

— Однако, сон замечай. Сон хороший—Майиуль хорошо, сон худой—Майиуль худо.

Это развеселило Владимира Львовича. Он долго хохотал, а когда успокоился, решительно мне заявил, что нам нельзя терять такого проводника, как Бургукан. В заключение Владимир Львович пообещал «увидеть» благополучный сон.

Сегодня утром Бургукан разбудил его ни свет, ни заря. Здесь-то и сказала разница умственного склада. Бургукан спросил, какой сон видел Владимир Львович. Тот смутился и забормотал: плывет лодка, сидит человек.

Дальше этого сон не пошел. Владимир Львович не смог сочинить такого рассказа, который дошел бы до примитивного сознания.



Бургукан нашел сон неубедительным. За завтраком он обратился к профессору с просьбой о том, чтобы его отпустили домой. Уговоры оказались безуспешными. Пришлось согласиться.

В связи с уходом Бургукана мы снялись с бивака с большим опозданием. С разрешения профессора я проводил Бургукана.

Мы прошли с версту. Чтобы помочь Бургукану ориентироваться в направлении, я взял с собою компас. Бургукан отнесся к компасу, как к занятой игрушке. Оказывается, достаточно взглянуть на стволы осинника, чтоб определить север и юг. С южной стороны стволы деревьев совершенно чистые, тогда как с северной стороны они покрыты мхами. Замечательно просто! Я знал об этом из ботаники, но мне в голову не приходило применить это на практике.

Расставаясь с Бургуканом, мы снабдили его подарками. Профессор дал пять рублей, я отдал рубаху. К деньгам он отнесся весьма равнодушно. Рубахе—обрадовался. Более же всего обрадовали его сухари и две банки с консервами, которые мы ему дали.

Берега Ханнычара Бургукан изучил прекрасно. Уходя от нас, он сказал, что к вечеру мы доберемся до остяцких избышек.

Сейчас—вечер. Мы, действительно, дошли до тех избышек, которые Бургукан назвал остяцкими. В прошлом году здесь было, по словам Бургукана, остяцкое стойбище. Потом остяки ушли, неизвестно куда.

Брошенные избышки я назвал бы избышками на курьих ножках. Они стоят на довольно высоких столбах, образованных спиленными деревьями. На фоне багряных осин и темно-зеленых кедров при неописуемо-красочном закате избышки имеют совершенно сказочный колорит.

Все это я пишу на биваке. Рядом со мной сидят Игнат и Марк. Как всегда, они ссорятся. На все ругательства Игната Марк безучастно отвечает.

— Сам ты турок!

Кажется, эта безучастность особенно допекает Игната. Владимир Львович только что сфотографировал остяцкие избышки. Хочу его попросить, чтобы

он сфотографировал нашего прекрасного северного пса Урикана.

Воображаю, какой эффект мы произведем в институте этими фотографиями.

## VI

Расставшись с русскими, Бургукан к вечеру второго дня достиг той ложбинки, в которой экспедиция вставала на первый бивак.

Трава в ложбинке была сильно прижата. На том месте, где стояла палатка, валялись пустые банки. Взрытая земля чернела.

Бургукан набрал сушкинку и разложил костер. Сходяв с чайником к ручью, журчавшему на дне оврага, Бургукан поставил над огнем козелки из жердинок и на перекладинку повесил чайник. После этого он достал из мешка консервную банку. Раскупорив банку, он закопал ее в горячую золу. Этому он научился от русских.

Незаметно подкрались сумерки. Густые тени наполнили из кустов. Над ложбиной сомкнулась ночь.

Опустошив консервную банку и выпив всю воду из чайника, Бургукан лег у костра. Усталость его сморила.

На рассвете он поднялся и вышел из ложбины.

Ноги у него ныли. Он запагал по охотничьей тропке. Нельзя было определить время. Он шел час, день, год. Он шел целую жизнь.

Чум появился внезапно. Бургукан отбросил ровдугу, прикрывавшую вход. В чуме было темно. Угольки звезд тлели в дымовом отверстии. Майпуль лежала у погасшего очага, за ее спиной спал маленький сын.

Бросив ружье, Бургукан присел на корточки. Он нащупал оленью постель, его рука дотронулась до чужого плеча, оно было теплое.

— Ты? — шепнула женщина. Глаза ее блеснули. Она потянулась к Бургукану.

Внезапно качнулась сосна. Он крикнул. Сосна упала на чум. Предсмертное томление потрясло его. Крикнув еще раз, он очнулся. Он лежал не под сосной. За ночь одна из жердинок перегорела, на него свалились козелки.

Бургукан пробормотал ругательство. Это не вернуло спокойствия. Плохой сон повторялся недаром. Было ясно: с семьей случилось неладное.

Бургукан поднялся. Ночь была на исходе. За рекой горела заря. Вымытое солнце всходило, трава блестела росой.

Бургукан вышел из ложбинки. Было холодно. Он зашагал по охотничьей тропке. Это был не сон. Ноги у него намокли. На ходу он быстро согрелся.

Он шел по прямой линии, постепенно уклоняясь от реки. В полдень река блеснула в просвете леса. Это был конец пути. Встав у горелой сосны, Бургукан перевел дух. Он был в испарине. Темные предчувствия его тревожили. Небольшой мысок отделял его от чума.

Перед ним спокойно струилась река. Белая птица скользнула над волной, выхватив рыбку. Крылья ее блеснули на солнце. Желтая трава шелестела у берега.

Этот шелест немного его успокоил. Он пересек узкий выступ берега, — чум стоял на старом месте, над ним не вился привычный дымок.

Предчувствия не обманули. Тяжело дыша, Бургукан вбежал в чум, — у погасшего очага лежал Миколка.

Бургукан склонился над Миколкой, из-под руки Миколки из опрокинутого чайника тихо струилась вода.

— Боё! — крикнул Бургукан.

На бородатом лице медленно раскрылись мутные глаза.

— Ково? — пробормотал Миколка. Острый запах водки ударил Бургукана в лицо.

— Боё, — залепетал Бургукан, — где Майиуль, Чунго где?

— Змеина! — промычал Миколка, — зыкана, хлопана, чо я имя сторож чо ли? — Миколка медленно сел и сбился: — Должно по бруснику ушли!

Бургукан вышел из чума. Прихватив ружье, стоявшее у входа, он выстрелил в воздух. Песок заскрипел за его спиной. Он обернулся. Миколка, — огромный, рябой, бородатый, — стоял перед ним.

— Змеина! — промычал Миколка. — Пошто мой лабаз зорил?

Бургукан вынул из-за пазухи бумагу, прожелевшую от пота:

— Начальник закон бумагу давал.

— Зыкана, хлопана, — пробормотал Миколка, качаясь на нетвердых ногах.

Бургукан был спокоен. Бургукан думал: сейчас Миколка прочтает бумагу и даст ему жгучей водки. Бургукан улыбался, глядя в нахмуренное лицо Миколки и думая о водке.

Удар был внезапен. Бургукан не почувствовал боли. Было удивленье. Потом он упал под тяжестью огромного Миколкина тела...

...Утром этого дня Майиуль с трудом вырвалась из Миколкиных рук. Схватив Чунго, она вышла из чума. Ей было не до брусники. Она засела в лесу, в полверсте от чума. Огнива она не захватила. Нельзя было развести костра.

Майиуль видела, как Миколка прошел к лабазу. Она видела также, как на обратном пути Миколка ломал в щепы какую-то палочку. Повидимому, это была тамга. Майиуль испугалась. До Бургукана нельзя было возвращаться в чум. Она это поняла. Ее страшила мысль о том, что Бургукан вернется нескоро. Чунго плакал.

Усевшись на трухлявый пенек, она посадила рядом маленького сына и, чтобы его утешить, начала рассказывать сказку. Рассказывала она приблизительно так:

— В старое время жили-были два брата. Были они казаки, старшего звали Шектауль, а младшего Калбувыл. Жили братья ладно, добывали белку, а иной раз и соболя.

Старший брат женился на тунгуске, жена родила ему сына. Однажды Шектауль дал сыну лук, сын натянул тетиву, и лук сломался. Такой он уродился сильный. Шектауль тогда сказал: будем его звать Сломанный Лук.

Прожили братья много лет, — многих зверей добыли. Только раз убили на охоте младшего брата. Шектауль рассердился, даже из чума ушел, а жену с сыном бросил.

Ушел Шектауль в лес и начал народ убивать, — сильно рассердился Шектауль.

Стали люди думать, что сделать с Шектаулем. Один раз к большому шаману приходит Сломанный Лук.

— Я Сломанный Лук. — говорит он шаману, — пойду-ка я в лес, убью Шек-

тауля, — много через него народу пропало.

Шаман посмотрел на него и говорит:

— Где тебе Шектауля одолеть, — больно он сильный.

Сломанный Лук пошел в лес, долго он шел, на седьмой день встретил Шектауля, и начали они бороться, боролись весь день, а вечером кричали:

— Жалко, что я тебя не убил! — кричал Шектауль.

— Жалко, что я тебя не убил! — кричал Сломанный Лук.

На утро они вновь сошлись и снова стали бороться, бились до вечера, а вечером опять кричали. Так они бились семь дней. Добывать зверя было им некогда, бились они голодные. На седьмой день Сломанный Лук бросил Шектауля на землю. Лежит Шектауль на земле и спрашивает:

— Как тебя зовут?

— Сломанный Лук!

Шектауль заплакал.

— Я, — говорит, — твой отец. Возьми мой нож и вырежь мне сердце. С'ешь мое сердце, — будут тебя бояться люди, как боялись меня.

С этим словом Шектауль умер. Сломанный Лук разрезал ему грудь и вынул три сердца.

Взял он в руки три сердца и говорит:

— Не хочу я людей убивать, как убивал Шектауль.

С этим словом закопал он в снег три сердца и по крепкому насту вернулся в чум...

Выстрел пришлось на конец рассказа. Майиуль испуганно вскочила, думая о Бургукане...

...Нехватало дыханья. Миколка давил его огромным своим телом. Правой рукой Миколка дотянулся до ножа в деревянных ножнах, привязанного к ноге Бургукана.

Надо было держать Миколкины руки.

От этого теперь зависело спасенье. Прямо над собой Бургукан видел багровое лицо. В багровом тумане плавали осипины. Бургукан не выпускал Миколкиных рук. Страх он не чувствовал.

Главное, нехватало дыханья. Мускулы его заметно слабели. Миколка выпростал левую руку. Это был конец. Бургукан вцепился в Миколкино плечо.

Произошло непонятное. Миколка вдруг сполз. Бургукан судорожно втянул воздух. Он увидел Майиуль, сжимающую ствол ружья. Перед ним громоздилась Миколкина спина. К круглому затылку прилипла травинка. Он увидел кровь и потерял сознание.

## VI

5/IX. Я сплю неспокойно, ночью с меня непременно сползет одеяло. Сегодня утром я проснулся от дьявольского холода. У меня зуб на зуб не попадал. Я невольно позавидовал Владимиру Львовичу, который спал на походной койке, завернувшись, точнее, закутавшись в меховое одеяло, как в теплый конверт.

Я оделся и, щелкая зубами, вышел к реке. Здесь меня ждал приятный сюрприз. За ночь вдоль берегов настыли тонкие закраны.

Вернувшись в палатку, я разбудил Владимира Львовича и сообщил ему свои наблюдения. Владимир Львович встревожился и попросил меня потопиться с завтраком.

Во время завтрака Владимир Львович объявил, что мы пойдем в обратный рейс. Реки здесь очень вероломные, в течение двух ближайших недель может пойти шуга. Поэтому мы должны торопиться.

Я спросил Владимира Львовича, уверен ли он, что наши рабочие к назначенному времени приведут илимку. Владимир Львович ответил утвердительно.

Напившись чаю, мы отправились в путь. Ветер дул северный, то-есть боковой по отношению к нам. Едва мы отошли от берега, как нас понесло обратно. Грести пришлось в две смены. Профессор сел в пару с Игнатом, но через полчаса выдохся. Игнат отобрал у него весло.

Надо сказать, что Игнат, как южанин, сильнее нас страдает от холода. Сидя в веслах, он быстро согревается и даже сбрасывает полушубок.

За два последних дня лес сильно поублек. Желтые листья устилают берег и падают в реку.

6/IX. Сегодня мы много потрудились. По распоряжению Владимира Львовича

часы привалов сокращены, а ботанические сборы отменены совсем. Поднялись сегодня в пять часов утра. День выдался холодный, ветер дул с северо-востока, понадобилась исключительные усилия, чтобы продвинуться вперед.

Во время обеденного привала у нас с профессором завязался интереснейший разговор о будущности реки Ханнычар. Я выразил надежду, что с постройкой лесозавода в бассейне реки Ханнычар будет организовано культурное лесное хозяйство.

Профессор пожал плечами, и я услышал неожиданные вещи.

— Хозяйство — хозяйством, — сказал профессор, — вы не забывайте другого. Когда на Ханнычар придут люди, они непременно вообразят, что им скучно в этой дыре.

— Что же из этого вытекает? — спросил я профессора, не подозревая, куда он клонит.

Профессор показал рукой на лес и ответил так:

— Раз людям скучно, они развлекаются. Я предвижу появление банальнейшего пикника на том самом месте, на котором мы с вамп спдм.

— Что же из этого? — спросил я опять.

— Как вы не понимаете, — рассердился профессор, — под тем вон кедром поставят самовар, люди усядутся на травку, и доморощенный фотограф из лесных кондукторов снимет с них фото на память.

Я решительно не понял профессора. По-моему, надо рассуждать так: пусть будет десять самоваров под кедром, — лишь бы в тайге зазвенели топоры.

Сейчас, когда я пишу дневник, пальцы у меня чуть движутся, так они затекли от гребли и холода.

Бивак наш расположен на пепелпше старого привала, второго по счету чума. Солнце заходит за высокие сосны. На биваке тихо. Усталые гребцы спят в палатке.

Я вижу птицу, встречный ветер вздымает ей перья, она летит боком, четко выделяясь на медно-лиловом фоне заката.

7/IX. Произошла дикая история. Могли я знать, что моя записка сыграет такую неожиданную роль?

Впрочем, начну по порядку. Часа два назад мы прибыли на Бургуканово стойбище. Нас встретила Майиуль.

Из путаного ее рассказа мы поняли, что у Бургукана произошла драка с Большим Миколкой, Большой Миколка пришел в чум за несколько часов до возвращения Бургукана и выгнал Майиуль. Прибежав на выстрел, Майиуль увидела такую сцену: Миколка, свалив Бургукана, старается его задушить. Майиуль схватила ружье и прикладом ударила по Миколкину затылку. Миколка потерял сознание. Бургукан и Майиуль внесли его в чум и обмыли ему голову. На другой день, то-есть вчера, Миколка был перенесен в лодку.

Из объяснений тунгуски трудно понять, куда отправился Бургукан с больным Миколкой. Известно только, что Бургукан решил доставить больного к русским. Повидимому, он отправился в факторию «Север».

Изумительная история! Мне здорово попало от профессора. Чего он только не наговорил? Я, по его мнению, легкомысленный мальчишка и несерьезный студент. Я почти авантюрист. Мои странные действия компрометируют экспедицию.

Походив по берегу и успокоившись, профессор милостиво отпустил мне мои грехи и обещал поддержку в ликвидации этого необычайнейшего происшествия.

Сейчас я сижу у костра. Отрываясь от дневника, я вижу Бургуканов чум.

Встретят ли нас завтра братья Семиколенных? Я настроен очень тревожно.

9/IX. Худшие ожидания оправдались. Братья Семиколенных нас не встретили. Мы ждали их до сегодняшнего утра. В двенадцать часов дня тронулись в путь. Идем в факторию «Север». Надеемся там быть послезавтра.

Сейчас, когда я пишу дневник, Игнат шагает по берегу с ляжкой через плечо. Мы познакомились с бечевой. Попеременно с Марком Игнат буксирует лодку. Я тоже вставал в ляжку, но у меня тесные сапоги, так что я быстро набил кровавые мозоли и отступился. Сейчас я сижу в лодке, мне очень неудобно, что мы как бы едем на чело-веке. Забыть про ляжника никак нельзя. Под ног Игната сыплются камни,

они падают в воду и звонко булькают.

Игнат поминутно ругает чортовых челдонов. Братцы Семиколенных действительно пас подвели. В расчете на встречу с ними мы отдали Майиуль большую часть продовольствия. У нас осталось пять консервных банок и фунтов шесть сухарей.

Ночь, которую мы провели на Бургукановом стойбище, особенно мне запомнилась. Ночью захопало полотнище, непрочно закрепленное над входом. Я проснулся от шума. Ветер рвал полотнище. Над рекой я увидел луну, она была круглая и совершенно багровая. И даже напугался. На минуту мелькнула мысль, что мир сразу умер, и я остался один с этой багровой луной.

### VIII

Бревенчатые стены избы медленно темнели. За окном выл ветер. Он раскачивал рябину, подхватывая сухие листья и кружа их в воздухе.

Глядя на скругленную спину счетовода, Бургукан сказал:

— Боё, пускай меня чум-место!

Счетовод положил ручку на край стола и повернулся к Бургукану лисьим личиком.

— Никак нельзя, боё, я тебя отпущу, а меня за это взгреют.

Тонкие губы счетовода раздраженно дернулись.

— Вот беда, — подумал он, — надо отчетливо гнать, а тут такое дело!

— Боё, — сказал Бургукан, — пускай меня, Майиуль худо бывает, Чунго-то худо бывает.

На желтом лице тунгуса пробился слабый румянец. Счетоводу стало неловко, он отвел глаза, взгляд его упал на окно; счетовод быстро вскочил: в маленькую бухточку фактории входила лодка. Счетовод узнал Кедрова, стоявшего на носу лодки. Рыжая собака лезла у его ног.

Едва лодка поровнялась с паузком, покачивающимся у берега, собака прыгнула в воду.

Гребцы затабанили, лодка выровнялась и пошла к берегу.

— Пойти встретить. — пробормотал счетовод.

Фактория стояла на пригорке. Выйдя на крыльцо, счетовод увидел Кедрова, поднимающегося, на пригорок вперегонки с собакой.

— С прибытием, товарищ Кедров! — крикнул счетовод, приветливо махая рукой. Рыжая собака вбежала на крыльцо, отряхнувшись, она забрызгала его водой.

— Бургукан у вас? — крикнул на ходу Кедров.

— Второй день сидит, — затараторил счетовод, — ои, видите ли, охотника привез, а охотник...

— Знаю, знаю, — перебил Кедров, — только вы ошибаетесь, Бургукан вам самого настоящего тунгусника доставил, неподдельного тунгусника.

— Это не моего ума дело, — сказал счетовод, пожимая протянутую руку, — завтра Василь Никанорыч придет, тогда и порешим, как быть. Я думаю, обоим придется в рик отправить.

— Зачем в рик, — вскипел Кедров, — Бургукан ни в чем не виноват, я могу доказать, он совершенно...

— С прибытием, товарищ профессор! — крикнул счетовод.

Профессор Ваганов подходил к избе, счетовод бежал с крыльца, они встретились у рябины, развесившей под окном багряное тряпье листья.

— Благополучно ли сплавали, профессор?

Ветер рвал багряное тряпье. Профессор задыхался. Сорвав кепи, он вытер лоб.

— Товарищ Ведрушко, — начал профессор (голос у него пересох), — товарищ Ведрушко куда делась... да, куда делась... наша илимка?

— Тут, видите, профессор, история вышла...

— Какая история? Я вас про илимку спрашиваю.

Счетовод улыбался.

— Да я и хочу про илимку. Тут, видите, вышла история!

— Опять история! — пробормотал профессор. Он задыхался.

Кедров подошел к нему.

— Владимир Львович, дайте ему рассказать!

— Вот, вот, — обрадовался счетовод, — именно так: тут получилась история! В тот день, как вы ушли, у

нас получилось известие: ждите экспедицию культбазы. Стали мы ждать. Пятого числа, действительно, увидели караван: два паузка да три илимки, а ведут их плохонькие катершники.

Я моментально сажусь в ветку и нагоняю передовой паузок. Паузок, вижу, тяжело груженный, мешки и чемоданы горой навалены, на мешках постели и всякая домашность, народу тоже немало понатыркано, а народ все странный: дамочки на высоких каблуках да ребятишки.

— Послушайте, товарищ Ведрушко (профессор недоумевающе пожал плечами), — я вас об илимке спрашиваю.

— Сейчас об илимке будет, — засуетился счетовод, — сядемте на крыльцо, я вам по порядку изложу.

Они подошли к крыльцу. Усевшись на верхнюю ступеньку, счетовод вернулся к прерванному рассказу.

— Подплываю я к паузке, спрашиваю начальника. Из каюты выходит молодой человек, — белый такой, крупчатый, сапоги высокие, через плечо наган. Я спрашиваю: вы начальник экспедиции? — Он подтверждает. Я тогда и говорю: позднечко в путь тронулись, кабы вас шуга не хватила, опять же порог обмелел, паузки у вас тяжелые, а катера слабосильные.

Начальник сразу взбеленился:

— Гражданин, — говорит, — проваливайте отсюда, не разводите паники!

Я тогда ударяю веслами и прохожу повдоль каравана. Паузки и илимки все груженые, народу везде много, а железных печей и в помине нет.

Вечером сошлись мы с Василь Никанорычем. Секретарь пришел из родового совета, сидим, разговариваем, вдруг слышим: моторчик стучит. Подбегаем к окну, у берега фонари горят, — значит верно — подвалил катерок.

— Товарищ Ведрушко, — напомнил Кедров, — скажите про илимку!

Лисье личико расплылось в улыбке. Счетовод наклонился к Кедрову, сидевшему на нижней ступеньке:

— Что тут говорить! Что я предсказывал, то и сбылось! Катершники, действительно, застряли на пороге, начальник вернулся и паузок с муркой

привел, а вместо паузка забрал вашу илимку, заодно ваших рабочих мобилизовал на помощь экспедиции да Василь Никанорыча, да секретаря.

Профессор посерел от волнения.

— Вы не беспокойтесь, — наклонился к нему счетовод, — мы вас на своей лодке доставим, а о пароходе не говорите, пароходов теперь много пройдет.

— Почему много? — хмыкнул профессор.

— А я сообщение имею, — ответил счетовод, — пойдете в хату, я вам покажу.

Рыжая собака ткнулась мордой в его колено. Он боязливо посторонился и повернувшись к профессору, показал на дверь:

— Пожалуйте!

Профессор первым вошел в сенки, в распахнутую дверь ворвался ветер, за ним вбежала собака, Бургуган кинулся навстречу Кедрову, бормоча растерянно:

— Боё, пускай меня чум-место!

Кедров отвел его к столу, они зашептались.

— Извиняюсь, — сказал счетовод, — одну минутку!

Он вошел в комнату, смежную с конторой, в раскрытую дверь профессор увидел край стола и черную тарелку громкоговорителя.

В конторе стоял стол и два стула. Здесь утвердился запах сосновых стен. Он был свеж.

Счетовод вышел из комнаты, держа перед глазами клочок бумаги.

— У меня тут радиограмма, — сказал счетовод, — я ее вчера перехватил на свой приемник. Вот слушайте: в ночь на шестое сентября пароходы «Товарищ» и «Красная Рыбачка» были захвачены штормом в районе Нового Порта. «Красная Рыбачка» встала на якоря. «Товарищ» с двумя лихтерами потерял управление и был выброшен на берег. На помощь «Товарищу» вызваны вспомогательные суда.

Счетовод сунул бумажку в карман и успокоительно засмеялся:

— Теперь пароходы гусем пойдут, садись на любой!..

В сумерки, когда все вещи из лодки были перенесены в контору, студент

Кедров и счетовод Ведрушко вышли из избы.

— Нынче мы во всей фактории вдвоем остались, — сказал Ведрушко, — я да Наталья Федоровна.

— Какая Наталья Федоровна? — рассеянно спросил Кедров.

— Будто вы не знаете! — засмеялся Ведрушко. — Наша учительница, жена секретаря!

Они зашагали по тротуарчику, соединявшему школу и контору. Тротуар был узок. Они шли гуськом. У крыльца Ведрушко забежал вперед.

— Навестим секретариху, — засмеялся он, вбегая в сенцы.

— Да, да, — согласился Кедров. Они вошли в коридор. Ведрушко постучался в дверь.

— Войдите! — крикнул женский голос.

Ведрушко распахнул дверь. Острый запах лекарств ударил им в лицо. Кедров увидел комнату, заставленную столами. Керосиновая лампа горела тускло, на широкой постели, стоявшей у стены, грузно сидел человек, высокая белокурая женщина склонилась над ним, руки ее бегали вокруг головы грузного человека, она закутывала голову, в ослепительно белые бинты.

— Так вот он какой спиртонос! — подумал Кедров, глядя на человека, сидевшего в постели. Лицо у человека было отечное, черная борода оттеняла белизну бинтов. Он сидел, опираясь руками о подушку.

— Наталья Федоровна, — сказал Ведрушко, — можно вас на одну мпнутку?

— Сейчас! — отозвалась женщина. Голос у нее был грудной и мягкий. Она завязала концы бинтов, человек, сидевший на постели, поднял голову. Глаза у него были безбровые и очень выпуклые, лицо изрыто оспинами.

— Ложитесь! — сказала женщина. Она вышла в коридор. Дверь захлопнулась. За дверью послышался негромкий говор.

Человек сдвинул белую чалму бинтов, она мешала слушать. Человек потянулся к двери. Решительный и твердый голос произнес за дверью:

— Тунгусник безусловный!..

...Вернувшись в контору, Кедров в темноте наткнулся на Бургукана. Бургукан спал сидя, прислонясь спиной к

печке. Гребцы храпели на полу. Кедров ощупью пробрался к столу, на котором была разостлана его постель.

Дверь в комнату счетовода осталась неприкрытой. Свет керосиновой лампы пробивался в контору. Счетовод склонился над клавиатурой радиоприемника.

— Слышно что-нибудь? — спросил Кедров громким шонотом.

Счетовод повернулся к нему, блеснув наушниками:

— Московский концерт. Хотите, поставлю громкоговоритель.

Счетовод повозился со штепселями. Заглушенная музыка вплыла в контору, позывные сигналы радиостанции вылились в певучую музыку.

Кедров закутался в одеяло. Позывные сигналы протяжно ныли. За окном шумел ветер..

Звук падающего тела разбудил его. Он открыл глаза. Маленький человек носился по комнате, обегая спящих, он размахивал руками и кричал:

— Упустили! Упустили! Убежал, анафема. Тунгусника упустили! В окно выпрыгнул!

Кедров с трудом узнал заведывающего факторией в этом растрепанном человечке.

В дверях конторы стояли братья Семиколенных, из-за их сомкнутых плеч выглядывал Бургукан.

— Упустили! — кричал человечек. Он топал ногами. На немощном носу прыгали очки.

## IX

Вечером Кедров сидел в комнате Ведрушки. Перед ним лежала потрепанная тетрадь. Кедров писал:

...Только сейчас я проводил Бургукана. Мы прошли с ним версты три. Возвращаясь домой, я думал о событиях этого дня. Нельзя не признать, что они развернулись с кинематографической быстротой.

Рано утром в факторию вернулся заведующий В. Н. Колесов вместе с секретарем родового совета и нашими рабочими. Все они были мобилизованы на работы по спасению экспедиции культурбазы, застрявшей у Бокового Порога.

Войдя в свою квартиру, секретарь разбудил жену — учительницу Наталью

Федоровну, на попечение которой был отдан раненый тунгусник. Проснувшись, Наталья Федоровна обнаружила: тунгусник ночью исчез. Наталья Федоровна подняла крик. Секретарь, не знавший еще всей этой истории с Бургуканом и с тунгусником, с трудом выудил у нее необходимые объяснения.

Осмотрев квартиру, секретарь обнаружил, что тунгусник вылез в окно. С этим секретарь и пришел к В. Н. Колесову, В. Н. прибежал к нам и поднял такой шум, что мы даже перепугались.

Известие о побеге Большого Миколки меня очень обрадовало. Я понял, что этот побег развязывает нам руки.

Ожидания мои оправдались. Покричав, сколько следует, В. Н. послал Ведрушко на стойбище тунгусов Бургухлинского рода, находящееся в пяти верстах от фактории.

Так как Бургукан прибыл в факторию в отсутствие В. Н. Колесова, мне пришлось рассказать В. Н. всю историю с сухарями. В. Н. отнесся к тунгусу с большим сочувствием.

Когда Ведрушко привел со стойбища председателя родового совета тунгуса Ачолана и председателя родового комитета взаимопомощи тунгуса Харкиму, В. Н. открыл совещание.

На совещании сразу же определилась такая точка зрения: поскольку спиртос ушел, Бургукана не следует отправлять в рик, тем более, что до рика при местных транспортных условиях очень нелегко добраться.

Я, разумеется, поторопился известить Бургукана о таком решении.

Когда выяснилось, что родичи Бургукана вымерли, В. Н. Колесов поставил вопрос, не смогут ли Бургухлинцы принять его в род.

Ачолан и Харкима согласились принять Бургукана на ближайшем суглане, то-есть на ближайшем родовом собрании.

После этого В. Н. попросил Ачолана и Харкиму дать Бургукану двух оленей из стада родового комитета взаимопомощи, на что Ачолан и Харкима после некоторого колебания согласились.

Замечательный человек В. Н. Колесов! С виду невзрачный, маленький, лицо у него шафранного цвета, очки проволокой связаны, — все это не мешает В. Н. Колесову быть простым, вдумчивым и изумительно сердечным человеком.

Сейчас Владимир Львович ушел к В. Н. в гости к секретарю. Наши рабочие собрались в конторе, Игнат научил братьев Семнколенных прелестям девятки, сейчас они ожесточенно дуются в девятку, расплачиваясь спичками.

Кедров захлопнул тетрадь. В комнату входила ночь. Ведрушко сидел над радиоприемником, ртутные лампы наливались светом. Близоруко шурясь, Ведрушко покрывал значками листок бумаги, лежавший на доске приемника.

В конторе слышался негромкий говор и звонкие шлепки карт. Свет керосиновой лампы пробивался в дверь. Ведрушко блеснул наушниками.

— Слушайте! — сказал он, повертываясь к Кедрову и держа перед глазами листок бумаги.

— В ночь на девятое сентября, при благоприятном северо-западном ветре, «Красная Рыбачка» подошла к «Товарищу». Геронческими усилиями команд «Товарищ» снят с берега и отведен в закрытую бухту. Лихтеров снять не удалось, так как ветер переменял направление. У «Товарища» поломано левое колесо. Командир «Рыбачки» сообщает: ветры нордовых румбов свирепствуют вторые сутки.

Ведрушко сорвал наушники и взглянул на Кедрова.

— Ветры нордовых румбов, — повторил Кедров. Улыбка тронула его губы. Он подошел к окну.

Луна стояла над рекой, кутаясь в прозрачное облако. По реке шлп волны. Паузки качивались у берега, зарываясь в воду то кормой, то носом.

Кедров вспомнил о Бургукане. Ему представился костер. Бургукан сидит у костра. За светлым кругом приталась ночь. Преодолевая сон, Бургукан поет о русских людях. Он поет о тех, которые дают бедным оленей, а на богатых топают ногами.



2. НЕФТЬ<sup>1)</sup>

Лев Алпатов

Остров, проклятый тысячами людей, принявших на нем мученья и смерть. Кандальным звоном известен Сахалин на весь мир. Теперь там каторги нет, глубже врубается в угольные пласты кайло шахтера, растут нефтяные вышки, по берегам раскинулись рыбные и дельфиньи промыслы. Всеми признано, что Северный Сахалин со своей нефтью и коксовыми углями уже играет значительную роль в экономической системе Тихого океана.

Еще в девятнадцатом веке один якут привез бутылку «керосин-воды» в Николаевск на Амуре. Она привлекла русский, китайский, английский и японский капиталы. В результате работ многих экспедиций нефть обнаружена на восточном берегу острова на протяжении 350 километров. В 1925 году японцам дали концессию, и по договору нефтеносные участки разбиты между концессионером и нашим трестом в шахматном порядке.

Японская концессионная шхуна доставила нас на рейд к заливу Уркт. Рядом дымил наливное судно, громадное, серое.

С шхуны на катер, с катера в лодку, ее подтянули к берегу, нас накрыла волна, и выскочили мокрые, с солеными брызгами на губах.

Через залив на катере, потом узкоколейкой в тайгу.

При взгляде на унылый мох, с янтарной морозкой, серые стволы лиственниц человеку становится жутко и одиноко. Если даже пробежит олень, пощелкивая копытами, он, словно верблюд в песках пустыни, ненадолго оживит общую картину дикой страны.

На эту землю никогда не ступала лошадь до прихода человека за нефтью. По жидкому торфу, среди лиственниц, безопасно может пройти только олень туземца. Первым звоном цепи, скрывающей тайгу, является узкоколейка.

Дизеля, долота и трубы покоряют тайгу. Стальной двенадцативерстной трубой, на землю и воду, лег нефтепровод. Стальными хоботами загнали

новый в «горизонты», он высасывает маслянистую нефть, и она бежит в животы бронированных гигантов, стоящих в море.

Четыре версты идем узкоколейкой в глубь тайги и вот слышим нечеловечески-мощную песнь, это—гордая красавица, циркулярная пила, рвет клетчатку дерева.

На бланке треста «Сахалин-нефть» стоит адрес: «город Оха». Собственно, города еще нет, но он будет, за это ручаются богатые залежи нефти, она несомненно превратит таежную пустыню в оживленный край. Ни авто, ни трамваев здесь не услышишь, лишь ревут стальные топки и хлюпают насосы.

Осматриваем концессию. Наш трестуар — замасленная узкоколейка, кругом трубы и доски, — все привозное. Концессионная лесопилка не удовлетворяет потребностей промысла, и в тайгу везут пиленый лес.

Мы смеемся над таким хозяйством, а инженер Абазов объясняет это странное явление тем, что японцы не хотят забрасывать сюда дорогих машин.

— Мне много приходится скандалить, чтобы здания строили из кирпича и железа.

Японцы не хотят строить капитальных зданий, потому что через сорок лет промысел переходит нам.

Входим в буровую № 24. Шатун паровой машины обхватил кривошип, косматый ремень, как пес, лапится на колесо, а оно вращается пятнистой лунной.

Это самая богатая буровая, она дает 25 тонн в сутки, а оборудование ее «допотопное», как сказал смазчик.

— Эксплуатация хищническая, — добавил инженер.

Кто-то спрашивает Абазова: догонит ли трест концессию?

— В нефтяном деле нужна смелость и быстрота. Потом увидите, что сделали наш трест за один год, а японцы здесь копаются уже восемь лет.

<sup>1)</sup> Из книги «Записки этнографа».

Японцы нас хотят подсосать, но видите там вышки с красными флагами, это — наши, на-днях приступаем к бурению.

Квалифицированный буровой мастер-ключник на глубине в сотни метров должен почувствовать крик и трепет инструмента. Это необходимо для того, чтобы сталью и мозгом разгадать тайну земли, чтоб прощупать антиклиналь, и нефть пошла бы сквозь «горизонты» наверх, где, блистая искрами и отплевываясь, ее сожгут дизеля.

Вымазанный в жирный «мазут» ключник стоит около скважины, в его руках спусковой рычаг-ключ к долоту в глубине. Переплетом брусков с «приситыми» боковыми досками уходит к небу вышка, в самой вершине по замасленному блоку вниз и вверх скользит канат, спускаясь к грохочущему долоту.

Абазов снимает шляпу, промасленную подругу старого нефтяника, вытирает с лица пот, и все мы садимся на бруски.

— Это легло на диво хорошее, здесь давно не видали такой погоды.

Инженер говорит энергично и легко.

— Представьте, как иногда бывает тоскливо: ни газет, ни почты не проникает из-за болот и моря; только радио приносит короткую сводку новостей.

Он вспоминает старое: «дело нефтяников — темное дело, рискованное».

— Проходим инструментом горизонт «С», нефть ожидаем через сто двадцать футов в горизонте «Е», потому что песок мало-мало нефтью пахнет. Ключник снимает резцы и идет одним долотом. Второго апреля рассчитываем четыре фута пройти и воду закрыть. Вечером пью чай, газету читаю. Телефонный звонок.

— Бьет фонтан.

Голос женщины, хотя и взволнованный, но думаю, — притворяется; отвечаю со смехом:

— Знаю, знаю: первый апрель, никому не верь.

Она голос потеряла.

— Товарищ Абазов, голубчик, скорей, несчастье случилось, не до шуток...

Ноги ослабли, но бегу. Смотрите, около буровой ходит инженер Антонов, от газов пьяный. Оголов — ключник, молодец, побежал тушить кочегарку. Фонтан бьет тысяч на 40 тонн в сутки. Пять ночей не спал, три плотины построил, уловил нефть. На шестой день тучка показалась, хлынул дождь, прорвала вода плотины, ушла нефть, пулю себе в лоб пустить мало, — жалко добра.

Абазов рассказывает под глухие удары бурового инструмента. Система колес, ремней, канатов с долотом на одном конце и паровой машиной — на другом, зависит от движения руки ключника, и он, как всякий квалифицированный рабочий на ответственном посту, напряжен и спокоен.

Мы идем по промыслу дальше, надо иметь некоторую ловкость, чтобы не спотыкаться о шпалы узкоколейки, особенно при переходах через трубы газо-нефте-паро-водопроводов. Пройти мимо действующей буровой, насыщенной газом, с папироской, все равно, что провести эскадру через минное заграждение «на авось», без точной разведки. Все курево поэтому оставлено дома.

Сейчас эксплуатация производится паром. Это для них режут котлы кочегарок. Абазов доказывает, что надо перейти на электрическую энергию.

— С следующего года трестовские предприятия будут электрифицированы.

Над конторой концессии белый флаг с красным кругом. Лицо управляющего Наритоми-сана из двух частей: верхняя — глаза темны и холодны; нижняя — зубы обнажены улыбкой. Переводчик Сузуки-сан толст, кругл, с сощущей дипломатической улыбкой. Рука Наритоми как гниющий гриб, а у Сузуки — словно резина.

Обмениваемся комплиментами. Узнаю про буровые, их — 23, кроме того, две в бурении. Применяется японская система канатного бурения, вышки строятся до десяти саженей, работа идет как летом, так и зимой; нефть перекачивается в приемные баки, потом в ре-



Общий вид промыслов Оха.

зервуары и, наконец, к морю нефтепроводом.

И взглянул в блокнот, где у меня была записана цифра рабочих: японцев—761, русских—661, а по договору японцев должно быть 25 проц.

— Несоблюдение процентного отношения, — объяснил Сузуки, — является результатом невыполнения владивостокской биржей труда нашей заявки на рабсилу. — Толстый Сузуки развел руками.

— Мы считаем, что советские законы ставят предприятие в затруднительное положение: большая плата, коммунальные и культурные услуги, такое обложение довольно большое для нас.

Господа японцы не понимают, что граждане нашей страны требуют справедливой оплаты труда. Японский капитал привык почти что к даровой рабочей силе. Вот они уже восемь лет долбят сахалинскую землю, паливают нефтью громадные суда, а рабочие все еще живут в дырявых палатках.

Для Японии, Китая, нашего Дальнего Востока Сахалин — топливная станция Тихого океана, и начальник этой станции — СССР.

Управляющий промыслами, бывший командир, краснознаменец, товарищ Худяков, все время горит, кругом него бурильщики, грузчики, конторщики, он всех поймет и отдаст приказ.

Рука инженера Сорокина кладет сухие резолюции, он день и ночь за столом, когда только спит?

Идем с Худяковым по промыслу.

Лесопильный завод. Просторно, светло.

Заведующий пытается что-то объяснить. Но в ушах вой и скрежет.

Циркулярная пила взвизгивает и острыми зубками вгрызается в белое тело дерева. Оно лезет тупым бревном на поюший украшенный световыми радиусами диск. Из-под пилы рабочие выхватывают ароматные доски и бросают к стене в кучу.

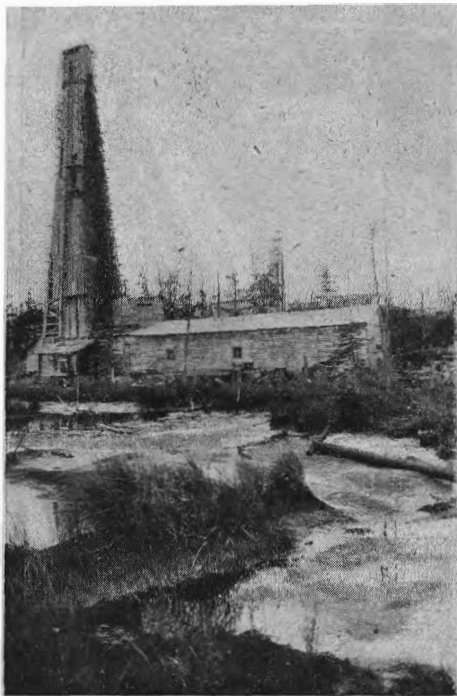
Стрекочет ленточная пила.

Шпалы, доски, бруски для вышек

пилит завод. Весь лесопильный материал для постройки промысла проходит через него. Пусть японцы везут с своих островов деревянные вышки, мы не повезем дерево в лес.

Вышки.

Кладу руку, и на ней остается тягучая капля смолы. Чем выше, тем уже жмутся бруски, а горизонт все шире. Вот уже тайга расступилась, с



Японская буровая вышка на концессии Оха

Охотского моря дует ветер, он гладит новую вышку и холодит меня. Я смотрю на восток, вижу тупые приплюснутые далью резервуары. Море в тумане.

На запад (близко совсем) большие красные резервуары, обтянутые колючей проволокой.

Рядом стоят наши вышки. Японские уже успели замаслиться и потемнеть. Там целый город палаток, — град, выпавший в грязь, белое на черном.

Там живут рабочие.

На вышке бьется ласкаемый ветром красный флаг. Внизу, на конторе, — белый с красным кругом в середине.

Советский и японский.

Худяков:

— Обратили внимание, как спешат японцы качать нефть, в два года мы должны их догнать. Технические сооружения будут закончены в этом году, все внимание сосредоточим на механизации производства. К бурению приступаем в сентябре. К началу следующего навигационного периода пробуем не менее 12 скважин.

Кирпичный завод.

— Привезти из Владивостока тысячу кирпичей, — говорит Худяков, — обойдется в 300 рублей, сделать на месте — 60 рублей. Могу гарантировать, что в следующем году снизим до 35 рублей, поставим глинятку и пресс.

А концессионеры привозят кирпич из Японии.

Спланирована электростанция в полтора раза больше концессионной.

Начаты работы по сборке резервуара на 10 тыс. тонн.

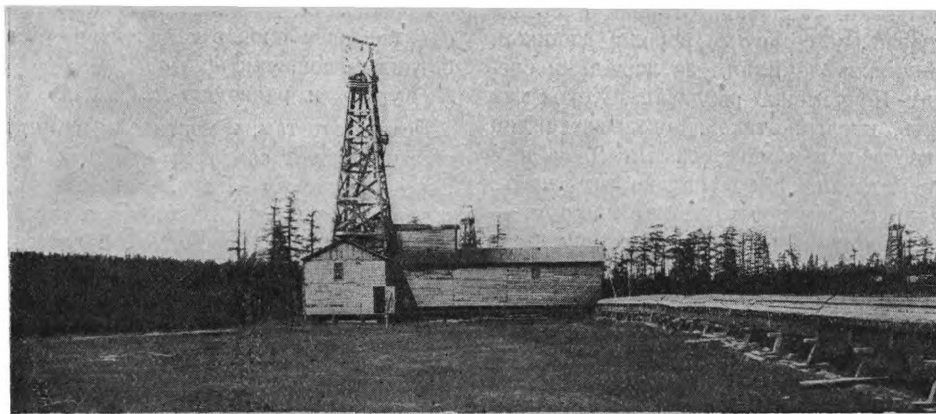
Строится водокачка и кочегарка. Выстроены дома на участках №№ 5, 10, 17, столовая, бараки. Собрано два железных склада. Сооружены пристань Уркт, пристань Кайган. Проведена узкоколейка. От пристани Уркт до промыслов идет основной железный путь, который потом разветвляется по промыслу. Узкоколейка соединяет все уголки: кузница, склад, лавка, вышки, кочегарка, кирпичный и лесопильный заводы, резервуар.

Узкоколейка — гордость треста.

Толстыми бревнами на болото, мостом через реку Оху, шпалами, стальными рельсами лег наш путь. И вот он гудит и гнется под колесами четырех вагонеток, впереди кургузый бензовоз. Трещит мотор, и кажется, молчаливая тайга бежит, расступается. (Птицы в ней не поют.) Уходит в глубь острова дикий, ветвисторогий олень, уносит с собой тайны нетронутых машинами мест.

Первой построена дековилька японцев — толстые шпалы с чахлыми рельсами.

Дековилька пригодна только для ручной откатки. Она сделана наспех, когда еще производилась только глубокая разведка, во время оккупации острова.



Буровая вышка

Надо пройти по промыслам, увидеть вышки — усеченные пирамиды, нефтяные резервуары. Увидеть все строения концессии: электростанции — старую и новую, дома — деревянные и железные, и занести все это на счет дековильки, теперь расшатанной, разбитой. По ней человеческой волей п мускулами было перекинуто все.

В глубь тайги врубаются топоры — русские и японские. Отступают изумленные медведи, скачет, закинув рога, олень. Бегут к синим горам Паль, где, по верованиям туземцев, живут властные духи, покровители зверей и охотников.

Ясна и четка задача треста — перегнать японцев. Худяков увлечен строительством, как в годы войны командованием армией.

— Далькрайтруд прислал мне бурильщиков вместо плотников, вместо здоровых — несколько человек умалишенных. Концессионеру прислали преступников, точно здесь каторга, старое помнят. Дисциплина на промыслах должна быть военная, ведь мы на глазах у иностранцев, а тут гибнет кунгас с динамо, а они выжимают копейку на пуд.

Входит завхоз.

— Слышишь, завтра чтоб был колеса, придет гужтранспорт, лошадей с вагонетками пустим по узкоколейке... Непременно чтоб колеса были. С Урка посуды перевезена?

— Столовая еще не готова, Николай Акимович.

— Я спрашиваю, посуда перевезена?

— Нет.

— Почему же?.. Непременно сегодня сделать.

И ко мне, просиявший:

— А путь наш видели? — и он радуется моей похвале.

Входит плотник Сафа.

— Николай Акимович, зима на носу, куда людей будем девать, ведь жить-то пегде.

— Завтра буду пробовать устраивать зимнюю палатку.

— Смотри, смотри, устраивай... Уж и работничков нам прпслали: смотрю на него, положил на спину три кирпича, идет, ногами еле двигает, сукин сын: говорю ему: ты что ж, на пана работаешь, балда, на себя работаешь, работай до мокра, на совесть, сам хозяин...

— А как продукты? — спрашивает плотник управляющего.

— На зиму хватит.

— А сезонники?

— Тают.

— Очкастый-то, в лавке заведующий, плохой человек. Яички продает по значкомству. Также холодец. Мясо свежее своим сует, а чужим солонинку, а солонинку надо с свежинкой мешать... Холостяки здорово голодуют.

— Завтра столовую пустим, — говорит управляющий.

— Ну, теперь с конями, ведь сегодня пригонят их. Раздавать будешь?..

Газдавай, раздавай. Старика с сыном знаешь, у самого-то борода венником, Медников фамилия, за лошадьми следит. Непременно раздавай... Хохол тут есть, кислый такой, сказывается он хвостобоем у японцев. Вы б за ним посмотрели, а то напакостит чего... Подругивает трест, винтит хвостом, — я, говорит, не рабочий, а сам микадины пряники жрет.

На одном холме жилые строения, на другом — буровые, спускающиеся в низину, на третьем — нефтяные резервуары, их восемь, и каждый как пороховой склад.

К деревьям прибиты предостерегающие объявления:

«Курить и разводить огонь строго воспрещается».

Все уголки промысла соединяет узкоколейка, и передвигаться по ней можно только с электрическим фонарем, кстати, они на промысле очень дешевы. Захожу в проем, там говорят, что взорвись хоть один резервуар, погибнет весь промысел, возможно, и людям не удастся прорваться через огненное кольцо к морю.

— Противопожарные средства плохие, есть несколько маленьких машин, и те в неисправности. Четыре раза загоралась кругом тайга, просек нет, Оха в постоянной опасности.

Пробираюсь дальше, временами бросаю световой снап в тайгу и вижу забогливые дощечки:

«Курить и разводить.....»

Но что это там, у мостика — папираса? Зловеще скалится красный огонек — жестокий зверь, заключенный в тонкую бумажку, их даже три, кто же это пляшет над пропастью, в глубине которой огненная бездна, уже поглотившая промыслы в Нутове?

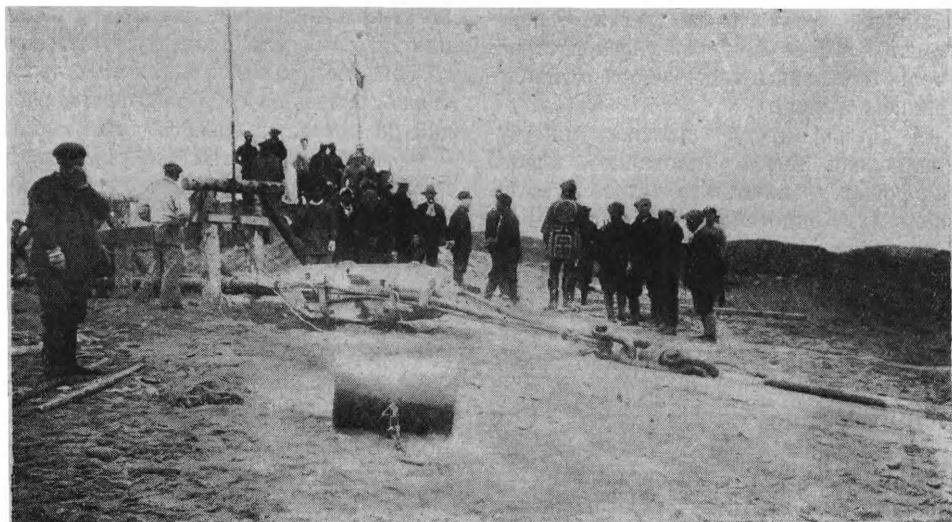
Подхожу, освещаю лица, — все знакомые, ценнейшие работники. Энергия в их движениях, словах и глазах, как они могут относиться так легкомысленно к тому, что сами строят?

Фамилии их я знаю, но не скажу, потому что таких на Охе много.

Перехожу горбатый мост и встречаю П. М. Винде (представивший так любезно прекрасные фотографии) и инженера Малых с женой, она смотрит на луну и говорит:

— Ой, какая большая, я такой не видала в России.

Луна-то, может быть, была самая обыкновенная, но здесь, где земля пропитана нефтью, где тайга с ее таннственными зверями, где ревет вечно Охотское море, не может быть обыкновенной луны, она кажется гораздо больше.



Прокладка подводного нефтепровода



Прокладка подводного нефтепровода.

Между трестами и концессией конкуренция, почти что вражда. Японцы вначале с улыбкой смотрели на приготовление треста, но теперь они изменили мнение — русские могут работать.

Оха и Токио — по радио и письменно, Токио с Москвой, через представителей, и вот в конечном результате переговоров управляющий промыслами Мичимаса-Наритоми с своим секретарем и переводчиком Сузуки пришли в контору треста «Сахалин-нефть».

— Мичимаса Наритоми-сан говорит, что поздравляет вас с заключением договора между Токио и Москвой о продаже добываемой вами нефти нам. Это известие получено по радио.

А позднее, когда после визита японцев пообедали, когда уже стемнело, в дверь управляющего кто-то постучался. Прекратили пение частушек, завяла гармонь.

— Пожалуйста, — крикнул Худяков.

Вошел Сузуки, сел и сразу сказал:

— Нами получено сведение с Кайгана, что на море шторм, ожидается тайфун, а вал катер № 1 в море. Если

угодно, мы можем предложить свои услуги для спасения.

С Дмитриевым, взяв фонари, мы отправились на пристань Уркт по доскам узкоколейки. Темнота абсолютная, чуть шагнешь в сторону и летишь вниз. Деревья стоят спокойно и молчаливо — ни малейшего ветерка.

Рулевой ведет белый катер с красно-зеленым фонарем на рубке через залив на огни Кайгана.

Нас встречает заведующий береговыми работами.

— На катере четыре человека, продуктов на три дня...

В стальные котел и трубы хлещет волна. Каждый вал несет гальку, и она бьется с пулеметным треском о сталь.

Воздух спокоен. От костров зарево на тумане. В море далеко прошел тайфун, он его раскачал, и сюда дошла мертвая зыбь. А катер, может, уже погиб?

Слепые волны рушились серой массой на песок.

Надо было ждать света. Заснул на сундуке в конторе.

.....



— Катер, на месте! — слышались крик.

Якоря выдержали.

Начался ветер, скоро он стал рвать одежду.

Дези, ирландский сеттер, ходит и скулит, она потеряла хозяина, ее пазухи продувает, хвост и уши, вся шерсть стремятся улететь по ветру.

Идем к японской конторе. Сузуки предупредил по телефону, переводчик говорит:

— Капитан может спасти катер. Но за людей не отвечает.

Уже грудным голосом гуляет лебедка. Теперь катер должен подойти, и силой лебедки его вытащат на берег.

Выкинули красный флаг: «катер выываем».

Разводят машину.

Японская команда на местах.

Переводчик говорит еще раз.

— За людей не отвечаем.

В зеленовато-серых бурунах в том месте, где морская волна спотыкается о дно, становится водяной громадой первый бар, через несколько саженей опять дыбится, — второй. Между ними идет катер. На палубе трое: рулевой и два матроса, четвертый в машине.

Это на всю жизнь запомню. Вот катер переваливается через последний бар, скрывается под водой. По толпе, словно волна, пронесится тяжелый вздох и крик.

— Смыло, смыло!

Осталось два человека, а третий в волнах.

Мы слышим его крик. Мы его видим.

Человек скрылся под водой.

Катер выбросило красным корпусом, с бегущей из пробойн водой, он влез на круглые поката.

Вчерашняя мертвая зыбь уже ожила, ветер завертывает гребешки, белая пена ключьями летит под ногами, через косу в залив.

Японцы спасли катер.

Москва и Токио заключили договор. Концессия и трест спасением катера как бы его подтвердили.

Кажется невероятным, но это так: на острове создана безработица. В этом

деле в полной мере проявилась тугопость и расхлябанность некоторых учреждений. Было это так:

15 марта трестом была получена телеграмма из Хабаровска с просьбой представить заявку на потребную в течение летнего сезона рабочую силу, «подлежащую вербовке во Владивостоке». Управляющий промыслами сообщает, что ему надо 150 плотников и 250 чернорабочих, и дальше указывает: «специалистов бурения надо четыре. Буровых рабочих будем обучать на месте, желательно из числа 250 чернорабочих дать 20 физически здоровых комсомольцев, желающих обучиться бурделу и остаться на Охе».

На концессию тоже требовались рабочие, японцы почти одновременно подали заявку на квалифицированную рабочую силу, и Далькрайтруд решил, что надо привлечь нефтяников из Баку и Грозного. В «Бакинском Работнике» дали объявление о вербовке на сахалинские промыслы, было обещано высокая зарплата, квартиры чуть ли не с ванными, школы для детей, пособия семьям и т. д.

Наркомтруд Азербайджана вызвал даже к сознательности бакинцев:

— Все силы надо напрячь, чтобы организовать новые промыслы.

Вызвались ехать 800 человек, было назначено испытание, отобрали нужное количество и повезли в Владивосток. Тем временем там вывесили на бирже труда объявление о приеме на концессионное предприятие 450 человек; вместо требующихся квалифицированных рабочих брали в порту кого угодно, и эту разношерстную компанию отправили 25 июня на концессию. 8 июля нахлынули бакинцы, измученные переездом через Сибирь и Дальний Восток в телячьих вагонах. Узнав, что на Сахалин партия рабочих уже отправлена, они здорово поскандалили на владивостокской бирже труда. От буйных бакинцев решили избавиться. Вот что им посоветовал зав. биржей тов. Маклюк:

«Мы, нижеподписавшиеся рабочие, заявляем, что при регистрации зав. биржей сказал, что нефтяников тресту



не надо, но мы можем писаться плотниками и грузчиками, иначе на Сахалин не отправят».

26 подписей.

Пароход «Астрахань» исправно доставил их на Сахалин. Худяков срочно писал в Хабаровск: «Я требовал 150 плотников и 250 чернорабочих. Из 140 плотников только 25 проц. оказались годными. Несмотря на категорическую просьбу не присылать семейных рабочих, вы прислали 295 ра-



Нефтеналивный пароход «Ташибанна-Мару»

бочих и 140 членов семей, всего около 450 едоков. Завоз рабсилы в конце июля, когда сезон кончается в сентябре, является полной бесхозяйственностью, происшедшей не по вине хозяйственника».

Товарищ Худяков сказал:

— Если вы хотите узнать, в каких условиях живут рабочие, заброшенные сюда по воле хабаровских и владивостокских ослов, то идите работать на Кайган.

Кстати, у меня кончались деньги, и я получил назначение работать грузчиком. Жить мне пришлось в бараке вместе с грозненцами и бакинцами.

В первую ночь прибой не дал заснуть, выхожу рано и сажусь на паровой котел у самой линии воды. Она катится разбитой волной, заливаает са-

поги, уносит песчинки из-под ног и готова увлечь меня.

За спиной маслянисто и грузно чухает насос и гудят телефонные провода.

Вот захлебывающе-быстро бьют о стальную трубу—звонок на работу. Подходит хохол Василь. Сидим рядом, смотрим вдаль и молчим. Видим на горизонте дымок:

— Пароход, — говорю.

Василь, сморщив нос в канапушках, улыбается и молчит. С ним хорошо молчать.

Артель «тузовцев» собирается, вот идет армянин Бабаянц, за ним поляк «Верблюд», прозванный так за большой рост и поразительно маленькую голову. Они всегда одинаково перебрашиваются:

— Бабаянц, кто тебя родил?

— Молчи, Ерблюд.

— Собак тебя родил, ишак помогал, чорт крестил.

— Тебя Ерблюдом прозвал.

Рядом садится мой доброжелатель и земляк Воробей, — продавец из сергиевской лавки Госспирта, он попал сюда случайно в погоне за «длинным» рублем.

— На зиму здесь останусь, а ты пиши из России, что почем. Скоро собираются все тридцать членов артели—странный состав грузчиков, главным образом, это квалифицированные рабочие из Баку и Грозного: ключники, котельщики и слесаря.

Старший артели Тузов приносит наряд на спуск катеров и кунгасов в море, надо разгрузить пришедший пароход.

От катера к морю выкладываем дорожку из досок, на круглых «покатах» катер надо столкнуть до воды и с помощью мотора вихнуть его в нахлынувшую волну.

Становимся вдоль бортов, и Тузов командует:

— Раз—два, взяли!

Кто-то подпевает:

— Еще раз взяли.

Катер подвигается к воде, слесарь Лозовский, высокий и проворный, впереди, он подкладывает поката, поправляет сбившиеся доски.

— Стой, братва, команды нет.

Из барака выбегает рулевой Жорж, ученик морского техникума, работающий на практике. Моторист Гриша, неизвестно почему так прозванный водниками, — имя его Лев Иванович, — залезает в низенькую дверцу, оставив ее открытой. Он смотрит в переднее окошко, глаза у него голубые, а лицо красное, почти как резервуар на холме.

Жорж волнуется. Понимаю его, — ведь всего несколько дней назад с катера № 1 смыло матроса. Все видели, как смыло, все слышали, как кричал матрос.

Когда в корму катера хлынула волна, — это вспомнили. Глаза моториста Гриши кажутся маслянисто-горькими, почему-то вспомнился взгляд обреченного на смерть. Вот катер наклонился набок, и хлопнула незакрытая дверца в мотор.

— Не давай на борт, валится, держи ребята!

Кто-то заботливо говорит мотористу:

— Закрой дверцу, ведь воды нальет, мотор станет, катер погубите и сами пропадете.

Гриша соглашается: «сразу встанет».

Рулевой Жорж дает в мотор звонки. Нахлынула волна.

— Раз—два, взяли... Дружно взяли... Ну, пошел, пошел!

— Братва, воды не бояться!

Моторист говорит:

— Ребята, отойдите от выхлопной трубы, может обжечь.

Мы нажимаем изо всех сил, взывает мотор, нас обдаёт волна (как холодна вода Охотского моря!), винт забрал, катер спущен.

Идем мокрые в барак. Рядом Воробей:

— По два рублика зашибли... В Москву поедешь, так пиши что почем.

Для грузчиков-сдельщиков нет обеденного отдыха, только перерыв на тридцать пять минут. Бежим в артельную кухню, дают надоевшую лапшу и кусок хлеба. После обеда стараемся переодеться в сухое, но это удается немногим, так как около печек столько навешано мокрого белья, что оно высушить не может.

Дует ледяной ветер, трудно устоять без движения, работаем быстро,

подгоняет нас еще охота зашибить «длинные» рубли.

Проходим мимо поющего телефонного столба, становимся за кирпичной кладкой, ждем старшего артели. Он приносит наряд на перевозку от линии прибоя на залив труб для буровых сважин.

Артель разбивается на три партии по десять человек.

Некоторые трубы набиты песком, поднять не можем, такие «кантуем», т. е. катим по наклонно подставленным рельсам. Их надо так класть, чтобы ни один конец не перевешивал.

— Возьми на себя, дай на нас.

Никифоров ровняет криком:

— Эй, ананас! — На том конце поднимают шутку: надо подать на нас.

Обрасываем трубы. Они охают, режут, готовы искалечить, надо быть проворным и осторожным.

В море катер ведет на буксире загрузженный кунгас; заведующий береговыми работами снимает нас с перевозки труб и назначает срочно разгрузить кунгас.

К вороту протягиваем канат; тысяче-пудовый груз, поставленный на «салазки», надо стащить на берег. Вот мы ходим, упираясь руками и грудью, ворот скрипит. Кричу Верблюду:

— Ну, нажмем.

Начинаем ходить быстрее, скрип переходит в бодрящую песню, как-будто деревянный ворот выговаривает: «вот так, вот так».

Рядом ходит котельщик из Баку в ковбойской шляпе.

— Человек с язвой, т. е. ядовитый, — шепнул мне Воробей.

Котельщик говорит:

— Как скоты работаем.

Но есть среди нас и веселые ребята, вот кто-то запекает:

— Э-эй! ухнем...

— Раз—два, взяли! еще раз взяли! дружно взяли!

Скрип ворота нас бодрит. Сейчас самый решительный момент, груз на перевале может свалиться в море, в корму кунгаса хлещет волна.

Тузов командует: «быстрее».

Мы нажимаем, и канат лопается.

Давно уж поденщики окончили работу, уже темно, мы все работаем.

— Коль за длинными рублями погнался, так не ленись.

Приходим в барак в 11 часов ночи, а завтра утром опять грузить.

На профессиональном собрании горняков докладчик из Хабаровска.

— Шестым всесоюзным съездом наряду с достижениями отмечены нетактичные деяния и прорехи нашего союза. Были драки, избиения. По этому поводу надо вести твердую классовую, воспитательную политику. Все шероховатости и нетактичности надо изжить клубно-просветительной работой. При том деле, товарищи, которое делает партийная организация, выявился эффект не только в производстве, но и в эффекте постоянного кадра актива производственных совещаний.

Очень долго говорил докладчик, даже председатель собрания, богатырский грузчик, вышел подышать свежим воздухом.

— Что ж это вы, товарищ?

— Уж очень мурно слушать, я не письменный человек, шибко тоскливо.

Прокопченным, сиплым голосом докладчик продолжает:

— Бытовые условия, товарищи, надо фиксировать. В коллективном договоре насчет амбарушек, тубареток надо иметь серьезное влияние. По банному вопросу, так же как и по медицинскому, Шестой съезд горнорабочих постановил вести культурно-просветительную работу.

В прениях выступил грузчик из нашей артели, бывший квалифицированный котельщик Замов:

— Жилищные условия надо фиксировать. Был ли докладчик в нашем бараке: посреди железка, кругом штаны и портянки висят, не сушатся, вялятся, разве можно высушить, если крыша протекает? Ночью покоя не найдешь: блохи, тараканы, вши-паскуды, мухи, да еще дождь сквозь крышу поливает. Днем мокнешь, ночью мокнешь, а ведь кости не железные. Перед входом штук пятьдесят ящичков с яйцами, яйца в червах...

— Товарищ, к делу! суть не в яйцах, — перебивает председатель промкама.

— В яйцах, товарищ председатель. Прошу не перебивать. Я говорю по существу: яйца кто протушил? сами протухли? Где санитарный надзор, где инспектор труда? Вот вам и культурно-просветительная работа.

«Человек с язвой», Замов, говорит убедительно и ядовито:

— Человек погиб, матрос ведь погиб? Где была охрана труда? Спасательных поясов нет, поручни поломаны, катера текут, где инспектор труда? Он на бережок и нос не показал... Работаем с утра до ночи без плащей, никакой прозодежды, рукавиц несчастных и то не дают.

Наконец, Замов закончил речь:

— Никуда негодный промком, в самый ближайший срок его надо сменить.

Всю ночь свищет ветер, в бараках не спят, происходит уплотнение сухих нар. «Скоро зима, что же будем делать?».

Николай Акимович Худяков тоже волнуется, вот он четким шагом ходит из угла в угол, грохает ветер крышей конторы, льет дождь. Управляющий знает, что его грузчики сейчас мерзнут и мокнут в палатках и бараках.

Он хватается за голову, становится передо мной и ударяет по столу кулаком:

— Не можем же мы их послать обратно в Баку, ведь это была б вторая глупость...

...Идиоты! что же наделали, мне нужны сезонники — плотники, землекопы и грузчики, — присылают квалифицированных рабочих-нефтяников на постоянную работу, ведь я для них должен выстроить помещение.

Николай Акимович выдумал какую-то «зимнюю палатку». Всех желающих остаться на промыслах он займет на постройке железной дороги, с восточного берега на западный. Многие не желают и бегут с острова. Если нет денег, — продают подушки, швейные машины; если нет парохода, — бегут на оленях и пешком через тайгу и, как во

времена каторги, переправляются через Амурский лиман на лодчонках.

Я тоже прошел этот путь, пришлось голодать, иногда «пищей» служил спирт, доставаемый китайцами-контрабандистами, и сушеная гилацкая рыба. Не всем удалось достать оленей. Одна женщина погибла в тайге, ее труп нашла следующая партия беженцев.

Кто хочет знать прошлое острова Сахалина, пусть прочтет книги Чехова и Дорошевича, тогда встанет перед глазами мрачная каторга.

Я видел и своими руками держал в Александровске цепи каторжника. В тайге слышал от старика:

— В Минской губернии у меня есть жена и трое детей.

Только на мой настойчивый вопрос: «когда?» — старик ответил, что это было тридцать лет назад.

Умрет старик, живой памятник каторги, как, может быть, умерла его старуха и погибли в войну дети, но каторгу забыть нельзя, и теперь, когда судно подходит к мрачным берегам, можно слышать унылый голос:

— На каторгу приехали.

Неудачливые бакинцы на весь Союз несут слух, что создана «новая каторга».

На острове каторги нет. Растут все новые и новые вышки, и радио приносит нам весть, что эксплуатация советских вышек уже идет полным ходом.

### 3. Н А О Т Д Ы Х Е

Очерк

Борис Анибал

#### Последний день

Была жара...

В. Маяковский.

В последний перед отпуском день на фабрике стоит дым коромыслом. Сегодня надо переделать тысячу дел для того, чтобы сегодня же к вечеру на фабрике не оставалось никого, кроме дежурных сторожей.

Кажется, в пошивочных отделениях попрежнему кипит работа, кажется, попрежнему ровен гул электромоторов и одинаково ритмично стрекотание игловодителей швейных машин, к которым несет полуфабрикат нескончаемая конвейерная лента. Но только кажется. Мотористки<sup>1)</sup> работают порывистой, и в размеренном ходе непрерывного потока создаются перебои. Старший инструктор—отец и командир отделения—больше обычного бегаёт от одного мотора<sup>2)</sup> к другому, регулируя ход ра-

боты, мальчишки-ремешники<sup>1)</sup> откровенно ничего не делают, поминутно выбегают на площадку курить и обсуждают, в какой бы им дом отдыха лучше поехать, куда дают путевки.

В отделение прибегают и убегают счетоводы расчетного стола, агенты, заходит завпроизводством. В отделении жара.

Если бы градусники<sup>2)</sup>, установленные на машинах, могли показывать температуру, они показывали бы все 100°. Даже воробей, который тут живет, попав в отделение через вентиляционный канал, встревоженно мечется под потолком.

На дворе пыхтят грузовики, ломовые лошади роют землю копытами и, роняя пену, грызут удила. Шофер ругается с извозчиками, подводы которых загородили ему дорогу, а те, дергая вожжами, осаживая своих Кентавров, кричат:

— Тпру ма... тпру, мать... тпру, мать твою так!

<sup>1)</sup> Швея, работающая на швейной машине, приводимой в движение мотором.

<sup>2)</sup> Мотор—совокупность швейных машин, приводимых в движение одним электромотором.

<sup>1)</sup> Ученики механика.

<sup>2)</sup> Приспособление, регулирующее частоту строчки.

Агенты стаей гоняются за кладовщиком, а тот, сунув длинную, узкую книжку под мышку, скрывается от них то в одну, то в другую разверстную пасть темных кладовых.

По двору пробегают в отделении члены фабкома, делегатки бегут в фабком.

На заднем дворе, на кучах песку и щебня, лежат железные балки, валяются табуретки вверх ножками, машинные столы и станины, снятая с петель дверь, из раскрытого окна с выбитыми стеклами торчат доски, по плишущим сходям, перекинутым через широкий ров, обнажающий фундамент, таскают кирпич, стучат молотки, бьют щебень. Здесь ремонт уже начался: после отпуска готовятся открыть новое отделение.

Открываются и закрываются ворота, пропуская грузовики и подводы с раскромом, пошитыми изделиями, строительными материалами.

А солнце сияет в раскрытых окнах, горит на медных радиаторах грузовиков.

Но где самая жара, — это в конторе. Расчетный стол изнемогает совершенно. Кассир накалился докрасна и, как пион в оранжерее, рдеет в своей стеклянной клетке.

Сегодня рассчитывается свыше тысячи человек. Дирижирует всем старший бухгалтер. Сбросив пиджак и ероша черные волосы, он присутствует одновременно везде, и из конторы в кассу, отделения, на склады, во двор, в трест летят ордера, расчетные листы и книжки, фактуры, накладные, счета, пропуски, телефонограммы, звонит телефон. За деревянным желтым барьером конторы толпятся инструктора, работницы, агенты, прорабы строительной конторы, рабочие.

Обеденного перерыва в конторе сегодня нет. Все нужно сделать немедленно и всем сразу. Все ждут. Сотрудники одной рукой держат кружку с остывшим чаем, другой вертят ручку арифмометра, выписывают пропуска, безнадежно стучат по рычагу онемевшего телефона.

Но еще большая жара наступит тогда, когда работницы пойдут на обед и по дороге нахлынут в контору и на

легая на перила, начнут спрашивать, торопить и волноваться:

— Да скоро ли нам получку-то дадите?

— Что ж вы седьмому-то отделению, после отпуска давать, что ли, будете?

И всем надо ответить, разъяснить, растолковать, а работа не ждет. Поневоле тут накалишься докрасна.

Из кабинета выходит директор. На работниц он действует успокаивающе.

— Что там у тебя?—спрашивает он у одной.

Та выкладывает ему все свои обиды на расчетный стол, а кстати и на инструктора и на расценки, но, получив терпеливое разъяснение, успокоенная, уходит.

Директор — новый, на фабрику его только что назначили, но мотористки уже знают его по работе на другом предприятии треста.

— Портной он, мы с ним вместе работали. Директор понимающий, — поглядывая на него, шопотом они сообщают друг другу.

### Обед

В течение нормального рабочего времени трудящемуся должен быть предоставлен перерыв для отдыха и приема пищи.

(Статья 98 КЗоТ).

Еще не успеет отзвонить фабричный колокол, веревку которого старательно минуты две дергает инвалид-сторож, как по двору фабрики, в узких проходах между телегами, и грузовиками, бегут работницы на обед.

Утюжилки и мальчишки-ремешники, подпрыгивая и пугая лошадей, несутся за работницами, успевая на полном ходу одну уцепить, другую толкнуть, с третьей сдернуть платок.

Обедать ходят в столовую на соседнюю фабрику, а кто не обедает, тот идет пить чай и закусывать в буфет при клубе, занимающем вместе с парт-и профорганизациями целый этаж.

В зрительном зале хрипит громкоговоритель, бренчит, перебивая его, рояль, на сцене колышется куинджевская березовая роща, написанная ночным сторожем фабрики, в свое время окончившим школу живописи, валяния

и зодчества. А на скамейках, взирая на великолепие этой роши, к которой приставлена дверь из крашеного холста, сидят с кружками в руках работницы. Им нехватило места в буфете, где громадный самовар, как паровоз, изрыгает пар, а за маленькими сплошь занятыми столиками звенят блюда, стаканы и чайные ложки.

За роялем орудует ремешник Колька. Он лихо барабанит по клавишам, налегая на басы и притопывая ногой так, что рядом стоящий громкоговоритель начинает заикаться, поет:

У меня живот болит  
И вообще неважный вид.  
Не мешает, кажется,  
Мне в Крыму попляжиться?

— Ишь, чертенок, — кричат работницы, — чего захотел, а у самого рожу-то решетом не накроешь.

Колька налегает на рояль. Рояль его определенно боится и, приседая на ножках, отчаянно кричит, взрывая басы неожиданно высокой нотой.

Колька оборачивается к работницам:

— Врете, тетеньки, — смеется он, — сами, небось, в Сочи винта нарежете! И здесь — диалог между работницами:

— В дом-то отдыха хорошо бы.

— А я в Сочи каждый год езжу. Билет со скидкой через союз достаю, а там, как и здесь жить, расходы одинаковы.

— Меня в прошлый год в Ялту послали... Жарища...

— Я вот в третий раз в дом отдыха еду, да раз на Кавказе была.

В небольшой комнате фабкома толчея. Здесь жара не меньшая, чем в конторе. Тут толкуют с отпускниками, выдают путевки в дома отдыха и санатории, принимают членские взносы, разбирают недоразумения с подчетами полочки. Прибегают цехделегатки, подходят все новые и новые работницы. Звонит телефон, слышен смех, и сквозь густой гул голоса доносится хриплень громкоговорителя и хлопанье дверей.

Заново отремонтированный клуб занимает отличную квартиру бывшего фабриканта, потолок парадного входа в которую расписан неведомым живописцем, а в зале покрыт лепными украшениями.

По коридору спуют работницы, оставаясь у стенной газеты «Голос Швейника», целиком посвященной отпуску, собираются в кучки, толкуют все о том же, кто куда едет, как-будто раз'езжаются на многие месяцы.

Перед звонком, возвещающим начало работы после обеденного перерыва, клуб пустует, и умолкает, задыхаясь, громкоговоритель.

Зато отделенья наполняются шумом и гулом, и снова течет, как зеленая река, бесконечное полотно конвейера, унося на себе белые комочки кальсон и рубашек.

Это последний пролет, через четыре часа отпуск.

### Жар свалил

Жар свалил. Повевла прохлада,  
Длинный день покончил ряд забот...

И. Аксаков.

И вот, когда начинает казаться, что сегодня всех дел все равно не переделаешь, вдруг неожиданно выясняется, что сделать-то осталось очень немного, и близок конец работы (который на фабрике называется просто «кончиной»)...

Пустеет фабричный двор, пустеют отделенья, в которые кроме кассира было брошено несколько человек плательщиков, замедляет темп работы контора, и вот, наконец, все кончено.

Если на другой день заглянуть на фабрику, то можно увидеть плотников, каменщиков, маляров, бетонщиков, десятников и прорабов, строгающих, кладущих кирпичи, красящих, приготавлиющих бетон, вымеряющих и высчитывающих.

Известковая пыль стоит в воздухе. Красными брызгами летит кирпич, разбиваемый в щебень, качаясь, ползут в окна железные балки, стучат и визжат молотки, топоры и пилы.

Тесные и шумные во время работы отделенья сейчас кажутся такими светлыми, чистыми и пустынными. Машины стоят в полотняных чехлах, в окна льется солнце. У трансмиссий, под машинами, проверяя их, на короточках берутся механики. Войдешь — сразу и не заметишь. Гулок шаг по каменному полу и по пустым лестницам с ис-

тертыми миллионами шагов ступенями.

Нигде никого. Прощай, прощай, фабрика! Все ушли, и даже воробья выпустили из четвертого отделенья.

Тишина и в конторе.

На двери маленькой комнатки, приткнувшейся боком к ней, картонка с тремя синими буквами—ТНБ, но на самом деле это уже не ТНБ, а, как его недавно переименовали, Планово-Установочное Бюро, ПУБ, работницы же зовут просто ПУП.

И на самом деле, это пуп фабрики. Здесь распланировываются процессы работы, отсюда ведется рационализация, здесь устанавливаются расценки, здесь разрабатывались планы перехода на конвейерную систему.

А если хотите посмотреть самый конвейер — так вот он рядом, в V отделеньи. От трансмиссионного вала, приводимого в движение электромотором, червяк (бесконечный винт) передает движение на шестерню, последняя, в свою очередь, приводит в движение шнуровые колеса, соединенные с такими же колесами вала, на который натянуто бесконечное брезентовое полотно (лента). Это медленно движущееся между двумя рядами машин полотно от одной машины к другой несет на себе полуфабрикат, пошивка которого разбита на мельчайшие и простейшие по своему исполнению операции.

ЗавПУБ'ом — Родион Димитрич, русский и широколицый, с добрыми карими глазами, сидит за столом со счетной линейкой в одной руке и карандашом в другой, рассчитывая процесс изготовления толстовки нового фасона.

Он — тип того, до сих пор редкого, выдвигенца, которого выдвинули и задвигать не собираются. По профессии Родион Димитрич портной, но счетной линейкой он владеет так же свободно, как иглой.

Его отпуск задерживается из-за той работы, которую нужно проделать для пуска фабрики после отпуска.

— Неделю, наверно, тут просижу, — говорит он. — Опять другой фасон дали, придется рассчитывать, да еще новое отделенье запускать будем, опять расчеты. К зачетам тоже надо гото-

виться. Курсы-то ТНБ пора кончать, какой уж тут отпуск... Хорошо было строить свои расчеты Форду. Он восемнадцать лет выпускал автомобили одной и той же модели. За такой срок, конечно, можно было изучить процесс производства до мельчайших подробностей, а вот посадить бы его на нашу фабрику, с непригодными помещениями, с изношенным оборудованием, с еженедельной сменой фасонов, да попросить провести рационализацию.

Но, несмотря на такие неблагоприятные условия, фабрика растет. Давно ли прошло то время, когда она была не фабрикой, а фабричкой.

Работало на ней 64 швеи, перешивая разное старье, а теперь работает 1.200, и эта цифра дойдет, вероятно, до 1.500, а барахло — рваные шинели, из пяти штук которых, подбирая места поцелей, делали одну, — забыто давным-давно.

Идешь по улице, едешь в трамвае, сидишь в театре — видишь людей в толстовках и знаешь, что вот эти толстовки шили у нас. Сидят они неплохо, а стоят совсем дешево.

Если бы частники до революции догадались строить свои швейные производства на конвейерной системе, они бы гребли баснословные барыши.

Что дал фабрике конвейер, всего лучше покажут цифры выпуска в день на одну работницу: рубашек до конвейера 16 шт., на конвейере—34 шт.; кальсон до конвейера 14 шт., на конвейере—30 шт.

О всем этом раздумываешь, покинув ПУБ, распрощавшись со всеми и уходя с фабрики.

Оглянувшись в воротах на красные корпуса, сразу видишь, что работа стала. Все выглядит как-будто попржежнему, но глаз безотчетно устанавливает, что отделенья пусты, моторы стоят, фабрика отдыхает.

### Дорога

...Мы снялись с якоря... и наше путешествие было сначала очень удачно.

(Джонатан Свифт, «Путешествия Гулливера»).

Путевки нам дали в дом отдыха Архангельское, бывшее Юсуповское име-

ние. Ехать завтра, и свободный перед отъездом день, из которого выпало восемь часов обычной работы на фабрике, не знаешь чем заполнить. Сказывается многолетняя привычка от 8 утра до 5 вечера быть вне дома.

Чемодан уложен. Уложены Свифт, Сергей Аксаков, Федин, «литературные» папиросы «Северная Пальмира». Газеты прочитаны. Кажется, все в порядке, но не знаешь, чем заняться, и так до пяти часов, а в пять, после обеда, как-будто пришел с фабрики, сядишься за книги, и вечер располагается сам собой.

Наконец, наступило вот это завтра.

На Арбатской площади ловлю Глинского, веселого, длинноногого парня с фабрики, мастера на все руки.

Верхом на чемоданах, на передней площадке прицепа семнадцатого номера, едем через всю Москву, пыльную и благоухающую асфальтом, на Виндавский вокзал.

— Знаешь, — сообщает Глинский, — я уж трусики надел, а ты? — и хлопает себя по серым брюкам.

Виндавский вокзал очень скромн и тих, напоминает провинцию и такой же скромный вокзал в Севастополе.

Разговоры самые отпускные. Солнечные ванны, купанья, катанья на лодке, поля и лес — все, что так недоступно в городе.

По вокзалу бегают, разыскивая своих, отпускники с других фабрик. Их узнаешь сразу по маленьким чемоданчикам, по гитарам, балалайкам и гармоникам, мешающим их резвым движениям, по той веселой бестолковости, с которой они пристают к носильщикам, контролерам и просто пассажирам, сто раз справляясь о часе отхода поезда, несмотря на то, что час этот указан в путевках и им отлично известен.

И вот пахнувший краской вагон. В последний раз улыбаемся чужим людям на платформе и, дронув, плывем, все увеличивая скорость, мимо красных, зеленых и белых вагонов, паровозов, будок, стрелок, semaфоров, домов и заборов окраин.

Москва, сверкая на солнце дальними куполами и раскаленными стеклами окон, каруселью уходит влево.

Вагон совершенно беззаботен. Откуда-то доносится гитара, в соседнем купе играют на балалайке и поют под нескончаемый аккомпанемент бега колес:

У попа была корова,  
Он ее любил.  
Чтоб она была здорова,  
Он ее доил.  
Подойник в руки брал  
И песню запевал:  
«Долой, долой монахов,  
Долой, долой попов»...

В окне — зеленые косогоры, дачи, деревни, кажущиеся с поезда такими уютными.

Толпимся у раскрытого окна, под ветром, треплющим волосы.

Павшино — наш конечный пункт.

Бежим из вагона к извозчикам, дерущим втридорога, потому что их мало и потому, что до Архангельского пять верст, а собирается дождь.

Втроем втискиваемся в узкую взятую с бою пролетку. Старая кляча с неожиданной прытью пляшет в оглоблях и упорно тянет влево, когда нам нужно направо. Возница, меланхолично натягивая вожжи, поясняет:

— Которые приезжающие у нас редки, ну мы от машины прямо в трактир, до следующей... вот она и привыкла. К трактиру, стерва, тянет.

Дождь накапливает все чаще и чаще и вот начинает лить, до глянца полируя шоссе, траву, спину возницы и лошадь. Поднимаем верх, застегиваем фартук. По полю врассыпную бегут отдыхающие, отправившиеся пешком.

Едем под шум дождя, струями ниспадающего на придорожный лес, гулко барабанищего по кожаному верху пролетки. Возница хохлитесь. Лошадь ровно трусит по обезлюдившему шоссе.

И справа и слева — лес. Мелькают сквозь дождь белые стволы саженной березовой рощи, сменяясь ельником, уходящим в сырую дождевую мглу.

### Архангельское

... увижу сей дворец,  
Где циркуль зодчего, палитра и резец  
Ученой прихоти твоей повиновались  
И вдохновенные в волшебстве состязались.

(Пушкин, «Ж вельможе»).

На место приезжаем в дождь. Миуем черные, блестящие от сырости,



чугунные, литые решетки с золочеными игреками под княжескими коронами.

Останавливаемся у ворот — белых с колоннами и полуразрушенных, поросших наверху арки мохом и тощими кустиками.

— Теперичка приехали! — говорит возница. — Слазайте, отдыхающие...

Но мы и сами видим, что приехали: у дверей каменного светло-кофейного флигеля стоят голоногие люди в майках и трусиках.

В комнате у входа, где в застекленном шкафу лежат волейбольные мячи и сетки, ракетки для пинг-понга и судейские свистки, устраиваем баррикады из чемоданов, корзинок, узелков и свертков. Потом сдаем свои путевки и профсоюзные книжки и под стихающим дождем расхаживаем у флигеля.

У отдыхающих — мертвый час, но ради приезда новичков некоторые из них не спят и толпятся у входных дверей, поживаясь в своих трусиках и майках и переступая босыми ногами по холодному крашеному полу.

— Ну, как тут у вас?

— Да что как — второй день дождь.

— А кормят хорошо?

— Не беспокойся, не лопнешь.

— А сам два кило нагулял!

— Пить, ребята, нельзя. Как кого пьяным увидят, так сразу по шапке.

— Это плохо!

— Ничего, две недели-то потерпишь. Не умрешь.

— Так-то так, скучно только.

— Скучать, брат, не придется. Некогда.

— Да вы чьи?

— Швейники мы... Текстильщики есть, металлисты...

— Сейчас вас кормить погонят, а мы в Москву сматываться будем, кончился наш отпуск-то...

С дороги хочется есть. Нетерпеливо поджидаем отправившихся со станции пешком. Они группами сбегают по обоим маршам лестницы и вперегонки бегут по аллеям.

Доктор, с густой шевелюрой и колючими глазами, повел нас в столовую полдничать. Длинную аллею, по которой мы шли, завершил белый мраморный бюст Пушкина со стихами из его

послания к Юсупову, высеченными на серо-синем цоколе памятника.

Боскетная, обвитая сплетающимися акациями, привела к дворцу, перед которым Геракл, подняв Антея, ломал ему позвоночник в мертвой хватке напруженных рук. Львы сторожили боковые входы дворца.

— Ну, ребята, до столовой не дойдешь, — с голоду сдохнешь. Это, по-ди, верста с гаком.

— На следующий год велосипед привезу.

— По дорожкам ездить воспрещается. Травы не мять, собак не вводить. Смотри, Мишка, по траве прешь.

Так, с шутками и смехом, выходим на широкий парадный двор.

Огромные ворота с приземистым фронтоном поставлены посередине полукруглых надворных построек. От них сквозные галереи сдвоенных тосканских колонн ведут к дворцу желтовато-песочного цвета, с четырехколонным портиком, с белыми карнизами, украшенными сухариками, громадными высокими окнами первого этажа и небольшими, почти квадратными, второго.

В центре двора, на большой круглой клумбе, мраморная группа — Мелай с трупом Патрокла. За чугунными решетками ворот, в просветах сквозных галлерей — еще влажная от дождя зелень.

Дворец, строенный Шевалье-де-Герном, производит живописное впечатление гармоничным сочетанием деталей, текучестью линий, своей простотой и изяществом. Архитектурные массы его дают чудесную игру светотени.

В светлой столовой, помещавшейся в боковом флигеле, на столах которой, покрытых белыми скатертями, стояли цветы, нас напоили чаем с бутербродами.

После чаю, поругивая администрацию дома отдыха, так долго не дававшую промокшим от дождя переодеться, мы переменяли платье и ботинки, а некоторые, несмотря на свежесть и сырость, натянули трусики и майки и сразу же побежали сражаться в городки, волейбол и итальянскую лапту, норовя, по привычке рьяных футболистов, принять мяч на ногу или на го-

лову, и тем хоть немного удовлетворить свою страсть к футболу, в доме отдыха запрещенному.

В амбулатории два доктора взвешивали, обмеряли, выстукивали и выслушивали прибывших, распределяя по группам для занятия физкультурой.

Отдыхающие, еще не освоившись на новом месте, жались друг к другу и группами бродили по парку, останавливаясь у колонн с высеченными на мраморе именами и датами пребывания в Архангельском «высоких» гостей, среди которых был, между прочим, и Николай I, у мраморных статуй с отбитыми носами, у ваз и фонтанов, где на дельфинах сидят пухлые голыши, около украшенного ионическими колоннами небольшого «храма памяти» с облупившейся и потемневшей надписью золотом «D. Ekaterinae»<sup>1)</sup>, с бронзовой статуей сей любвеобильной императрицы.

— Богато жили, что толковать! — останавливается около меня отдыхающий. — Чужими руками только жар гребли.

Мы выходим на аллею к главному дому.

— Смотри, — говорит он, — эти террасы, я полагаю, искусственные. Нагонят сюда крестьян из всех деревень и копай.

Действительно, при Юсуповых крестьян согнали партиями на работы, а для предупреждения побегов брили полголовы: «...приказчикам на казенных работах приказать всех работников, с половина остриженными волосами, иметь под особо строгим присмотром и для удержания от побега поддерживать стрижку волос, не девая обрастать...» — вот каково было одно из юсуповских предписаний.

На Архангельском лежит печать увядания. Запущенные аллеи с неподстриженными деревьями, разрушающиеся статуи, буйная трава, заглушающая дорожки, пробивающаяся сквозь треснувшие каменные плиты лестниц, зеленая плесень в пустых водоемах, чугунные пушки, осевшие на разваливающихся лафетах, — все говорит об увядании великолепного

Архангельского, все еще торжественного, несмотря на идущее разрушение.

Здесь уже все в прошлом, но буйно растет настоящее. Заросшие газоны расчищаются под физкультурные площадки, в аллеях слышен громкоговорящий, веселый смех, удары по мячу и треск разбиваемых горошков, а на темной зелени вековых лип далеко видны крупные буквы:

Солнце, вода, воздух — наши лучшие врачи.

Дома отдыха — кузницы здоровья трудящихся.

Не думал Юсупов, что его Архангельское превратится в кузницу, хотя бы и кузницу здоровья.

### Отдыхающие

Как сладостно, тревоги и труды сбросив,  
Заботы позабывши, отдохнуть телом...

К а т у л л

— Пора, ребята, вставать! Физкультурник два раза встал.

Палата просыпается. Поеживаясь от утренней свежести, отдыхающие натягивают трусики и майки, накрывают кровати. Под трехтонный, протяжный свисток бегут на площадку. Солнце неярко. Пахнет сырым песком и росой.

Под команду загорелого, с голыми ногами, физкультурника начинается утренняя зарядка. Первые дни делаем плохо, смеемся и разговариваем, потом привыкаем.

Сразу после гимнастики — купаться.

— Нажмем, нажмем, ребята! Бабы идут — жди, когда отваландаются!

И мы нажимаем, чуть не кувыркаясь по крутой горе к обсаженному ветлами пруду.

Под низким мостом холодная вода бьет сквозь щели старой зазеленевшей плотины, веерами разбрызгиваясь на деревянном желобе. По скользким доскам осторожно подходим к светлым струям, и вот они неиссякаемой прохладой охватывают тело, на голову обрушивается водопад, снизу и с боков фонтанами бьют струи. Тут и купанье, и просто душ, и душ Шарко — все, что угодно.

С моста, заглушая шум воды, кричат женщины:

— Вылезайте, что ли...

1) Божественной Екатерине.

Из-под водопада и из пруда с мокрыми волосами выскакивают купальщики, бегом одолевая крутую гору. Пруд и водопад переходят к купальщикам.

Завтрак: кофе, белый хлеб, масло. Шумим в столовой. Дежурный доктор, делая пронзительные глаза, останавливает.

Так начинается утро.

Перед завтраком принимали солнечные ванны, на которых роль солярия играл чердак какого-то непокрытого крыши и без стропил зданья.

Ходили на Москву-реку, версты за две от Архангельского, полем и саженым сосновым лесом. Там был прекрасный пляж и быстрое течение. В деревне на берегу много дачниц с ребяташками, пляж которых отделялся от мужского незримою чертой, каждый день передвигавшейся то вправо, то влево.

За обедом шел мертвый час, за ним полдник, после полдника дальние прогулки, после ужина опять прогулка, клуб или кино.

Кино помещалось в пышном, сомнительного стиля недостроенном мавзолее последних Юсуповых, с двумя колоннадами, полукругами сходящими к серому каменному кубу под куполом.

Народу добивалось до отказа. Дыша друг другу в затылки и вытягивая шею, смотрели картины, давно сошедшие с московских экранов.

В кино мы ходили чаще, чем в Москве: два раза в неделю. Иногда нас развлекали концертами. В доме отдыха жило трое артистов специально для развлечения отдыхающих. Они пели, играли на рояле и на скрипке. Несмотря на их явное усердие, отдыхающие относились к ним скептически:

— Хреновина какая-то...

— Поют, что говорить!

— Вечер самодеятельности, что ли, устроить? Все лучше будет.

Толковали в палатах, ложась спать. Приходил дежурный доктор.

— Спать, спать, спать!..

Гасло электричество и начинались анекдоты. Хохотали за полночь. Доктор приходил вторично и ультимативно требовал не шуметь.

Засыпали мы, вдоволь насмеявшись,

когда высоко взошедшая луна заглядывала к нам в палату зеленым своим глазом.

— Понимаешь, — говорил утром мой сосед по койке, грузный и молчаливый портной с жесткими волосами, стриженными ежиком, — в Ильинское вчера ходил. Там медсантруды живут. Здоровый домина, а дорога туда — все липы, липы, версты на две аллея.

Он каждый день куда-нибудь ходил, что-нибудь обследовал; рассматривал, выпрашивал, интересовался всем, а если что-нибудь узнавал интересное, то обстоятельно и неторопливо рассказывал об этом тем немногим, к которым почему-либо чувствовал доверие, сопровождая свой рассказ такими же обстоятельными замечаниями.

Рядом с ним была койка другого, не менее молчаливого, но вечно улыбающегося человека, по профессии кладовщика.

Иногда они ходили вместе. Один из них мрачно молчал, другой ласково улыбался. Чаще кладовщик пропадал неизвестно куда и на все расспросы, где был, неизменно отвечал:

— Так, ходил по лесу...

Однажды в мелкий дождь, пылью сывавшийся на поникшие деревья, я застал его в глухом углу парка. Он, как заяц, сидел под елкой, меланхолически выстругивая себе палочку и что-то напевая под нос. До дождя ему не было никакого дела.

Остальные в нашей палате были молодые, отчаянные ребята. Весь день без усталости они играли, гуляли, смеялись, купались, жарились на солнце, бегали на лунные ванны, и у них была пропасть разных Марусек, Нинок, Нюрок и Наташек, таких же веселых и отчаянных, как они.

Многие на каждой прогулке тщетно выискивали себе подходящие палочки, к которым у отдыхающих особый психоз. Глинский испортил множество молодых елок, но как только начинал обжигать выструганное деревцо на коостре, с грустью говорил:

— Смотри, опять какие-то птички по ней пошли: — и бросал выисканную с таким трудом палочку.

— А ты не обращай внимания. В Мо-

скву приедешь, хорошую тросточку купишь, — утешал его Виктор.

Виктор, механик по швейным машинам, молодой парнишка, расхаживая по парку, расспрашивал:

— А почему все эти Венеры нагишом?

— Что такое герма?

— Смотри, как этот Геракл-то Антея сдвинул, у того и дух вон и язык на сторону.

Виктор оживлялся, когда речь заходила о радио, ракетных автомобилях и аэропланах.

— Вот здорово придумали! На Марс бы на этой ракете, и оттуда радио: «Прибыл, мол, первым с земли, поставил советский флаг...».

— Не поставил, а водрузил.

— Ну, водрузил...

В этот момент он напоминал Гусева из «Аэлиты».

В безлунные августовские ночи мы делали с ним далекие прогулки по шоссе и парку. Было темно и тихо. В траву, спрыгивая с дорожек, шурша, шлепались лягушки.

Виктор спрашивал:

— А лягушки на Марсе есть?

Перед обедом, чаем и ужином отдыхающие забегали в клуб, просматривали свежие газеты и за столом оживленно толковали о последних новостях.

В столовой, несмотря на строжайшее запрещение и замечания дежурных, шумели и смеялись, но шум и гам достигал своего апогея, когда на третье подавали прохладные шарики мороженого, которое, как видно, равно любезно для всех возрастов.

После обеда—опять на воздух. Веселая и энергичная жизнь увлекала и старичков и старушек.

Стыдливо они появлялись в первый раз в трусиках, шароварах и майках, а потом посмотришь— старушка играет в мяч, а старичок с треском крушит городки, как воробы, стайкой разлетающиеся от верно кинутной битки.

Иногда мы с Виктором садились на лавочку около волейболистов и вдвоем изображали публику. Каждый удачный удар награждался аплодисментами, каждый промах уничтожающими криками. Мы совершенно бессовестно сви-

стали в два пальца, топали ногами, кричали «браво», смеялись и ругали игроков «сапогами».

Не выдержав таких издевательств, кто-нибудь из игроков, особо обиженных, подходил к нам и говорил.

— Смотрите, ребята, вз'емяся я, плохо вам будет!

А после матча, переходя в разряд публики, хохотал вместе с нами над следующей игрой.

Свежий воздух, солнце и ветер, купанья и строгий режим дома отдыха восстанавливали силы. Привычно согнутые от сиденья и стоянья за станками спины распрямлялись, дряблая кожа загорала и становилась тугой и блестящей, глаза смотрели смелей.

## Д н и

Летят за днями дни крылаты.

Н. Поповский.

В день, гуляя, мы проходили верст по пятнадцати.

По пути, в деревне, заходили в архангельскую кооперативную чайную, где над прилавком со всевозможными яствами, начиная от колбасы и кончая селедками и банкой заплесневелых огурцов, простиралась грязная марлевая тряпка, а над ней, жужжа, вились мухи. Их было множество па липких клеенках столиков у хлебных крошек и мокрых кругов от стаканов и блюдец.

Из темной и душной комнаты со стойкой дверь вела на широкую крытую террасу, выходящую в садик с чахлыми, недавно посаженными деревцами.

На террасе свои и иррезжие мужики закусывали, гоняли нескончаемые чай, пили пиво и водку.

Но так как водку пить в чайной воспрещалось, откупорив бутылку на террасе, они спускались пить в садик, очевидно, считавшийся экстерриториальным. Там, на виду у всех опорожнив бутылку, закусывать они возвращались на террасу.

С мужиками мы обычно заводили разговоры.

— Ну, как вас Юсупов-то здорово жал?

— Чего жал, не жал. Управляющий,

вот тот, правду сказать, сволочь был. В войну, должно быть, приехал. В германскую, конечно. Латыш. Такой гордый чорт. Всегда с ружьем и собакой. Дошлый был немец, а Юсупов что, Юсупова мы и не видали: за весь-то год придет летом на месяц и опять его нет.

— Тут больше сестра его прохлаждалась, добрая, говорят, была.

— Тут раз Юсупов для мужиков пасху устраивал... Понаставили в оранжевое столов, скамеек! А на столе каждому пасха, кулич, два яйца, бутылка пива да половинка водки. Выпили за его здоровье. Теперь-то, говорят, в Америке он, поди ему с непривычки-то туго приходится.

— Ты скажи, отчего вот оранжевая сгорела?

— А кто же ее знает отчего. От огня она сгорела. Может, сама, а, может, кто и поджег. И чего только в ней не было—пальмы, лимоны, апельсины, ягоды разные. Как станет тепло, все и выставят в парк, к террасе, прямо не наблюдаясь. А пальмищи какие были. Листья—во! Мы их потом к себе перетаскали, а двери-то в избах узкие, и не пропихнешь. Что говорить, красиво жили, аккуратно. Ну, а теперь все как-то вольготнее для нас стало. Хороший был барин, недаром говорят, будто Распутин ухлопал, но без него лучше. Можно сказать, не бьемся.

Иногда наш путь лежал в Ильинское, бывшее имение графа Остермана-Толстого.

Само имение, после виденного в Архангельском, интереса не представляло, за исключением сохранившихся и по сей час названий прежних светских флигелей. Они назывались странно: «Не чуй горе», «Пойми меня», «Кинь грусть» и т. п. В парке сохранилась хорошая бронза, изображающая, кажется, Остермана-Толстого.

Дважды была экскурсия во дворец Архангельского, превращенный ныне в музей.

Двухсветный, центральный зал дворца — ротонда, — полукругом выступающий и полукругом врезающийся в постройку, открывал великолепные анфилады парадных покоев.

Отдыхающие бродили по пустым,

прохладным комнатам, чувствуя себя стесненными среди предметов, к которым нельзя прикоснуться, среди позолоты и зеркал, отражавших в блестящем паркете холодные блики высоких окон.

Наибольший интерес возбуждала мебель. Около бюро работы Булля, в котором искусно были соединены бронза, дерево и черепаха, останавливались:

— Смотри, ребята, Мосдреву есть над чем поломать голову: больше двухсот лет — и ни одной трещинки, а я стулья по кредиту купил — в две недели на палки рассыпались.

Хрусталь, фарфор, фаянс и коллекция осветительных приборов также вызвали оживленное обсуждение. Наоборот, картины даже знаменитого венецианского мастера Тьеполо оставляли отдыхающих почти равнодушными. Они были слишком отвлечены.

Вверху портретная Юсуповых. Устроитель Архангельского Николай Борисыч, екатерининский вельможа, беседовавший с Вольтером, слушавший энциклопедистов, посланья которому слали Пушкин и Бомарше, изображен на портрете работы Лампи с характерными крупными чертами лица, со вздернутым носом и полным ртом.

Н. Б. Юсупов—представитель дворянства эпохи его расцвета. Высокая культура, однако, не влияла на его отношение к своим крепостным.

На другом портрете — его внук. Вялая и небрежная поза, поэтический костюм, длинные мягкие волосы, спадающие на плечи, ленивый взгляд. Это представитель дворянства эпохи его упадка.

По собранным здесь портретам можно проследить, как вырождалось это, некогда первое в российской империи, сословие.

Юсуповский дворец мы осматривали, когда до отъезда оставались считанные дни.

Отпуск истекал. Дни летели быстро. Мы жили энергично и весело.

В дождь нас развлекал культпросветчик, страдавший повышенной чувствительностью к Зоценке. Он устраивал маленькие концерты, на которых пели, декламировали, играли, рассказывали. В клубе, в хорошо оборудован-

ной радиокомнате, слушали московские передачи, читали, играли в шахматы и шашки и на сломанном китайском биллиарде. Каждый промах на нем служил для играющих основанием ругать на все корки Чан Кай-ши и Фын Юй-сяня и тем самым несколько ослаблять обиду на проигрыш.

Однажды в хорошую погоду после ужина был устроен вечер у костра. Почти весь дом отдыха собрался в кружок у речки, посередине разложили большущий костер и при свете его пели, читали, играли.

К речке круто спускался лес, и на горе, среди сосен и елей, сидя на пнях, группа отдыхающих следила за оранжевыми языками костра, слушала, что читали внизу. Вечер был необыкновенно тих, и звук доходил отчетливо. Культпросветчик читал Зоценко, все и под горой и на горе дружно смеялись.

— Ведь вот, ерунда, а смешно! А слышно-то на горке как, лучше, чем в Большом театре.

И с горы хлопали и кричали:

— Бис, бис! Даешь еще!

Пребывание наше завершилось открытием для отдыхающих Юсуповского театра, построенного знаменитым перспективным живописцем и декоратором венецианцем Пьетро-Готтардо Гонзаго.

Снаружи облупленное и линялое от дождей зданье, с лестницей, украшенной вазами и чугунными жирандолями, ничего особенного не представляло, но расчлененный коринфскими колоннами двухярусный зрительный зал, ложи которого построены, как балконы, был замечателен.

Скамейки в партере, обитые голубым бархатом, старые бра в коридорах, маленькие уборные для артистов—все сохранилось до сих пор.

Роспись занавеса несколько напоминала рисунок сепией, искусно расцвеченный красками.

Когда, открывая торжественное заседание, занавес взвился, мы были поражены: вглубь сцены шел ряд блистательных малахитовых колонн с золотыми листьями акантуса на капителях. Светотень, перспектива и самый воздух были переданы такой искусной кистью, что, даже пристально вглядываясь, не-

возможно было отличить, где же кончаются кулисы и начинается задник. Это было потрясающе. Такой декорации никто из нас никогда не видел. Она не была грубо-реальной, а являлась прекрасной и невозможной ни для какого другого художника иллюзией действительности.

Гонзаго был замечательным мастером. Казалось, он разрешил своей кистью тайну светотени, воздуха и перспективы. Недаром одну из своих работ он назвал «Musique des yeux», что значит — «музыка глаз».

Открытие театра было торжественно. Приветствия и поздравления сменил доклад завмузеем Архангельского об истории постройки театра, затем начался вечер самодеятельности отдыхающих.

После выступления физкультурников была поставлена смешная сценка из деревенской жизни, направленная против пьянства, затем следовала наивная, но неплохая декламация и нагнавший на всех тоску раешник, но настроение поднял гармонист из Глухова, гармонь которого играла совершенно необыкновенно.

Театром отдыхающие были довольны, а о декорации толковали еще и на следующий день. В Архангельском, как говорили, сохранилось еще три декорации работы Гонзаго, но, к сожалению, нам их увидеть не удалось. Отпуск кончался. Надо было уезжать.

Перед отъездом попрежнему нас взвешивали и вымеряли, и отдыхающие друг другу хвастались:

— Я на кило прибавился.

— А я на два!

— У меня, ребята, грудь увеличилась на полтора сантиметра.

— Смотри, как я загорел, а мускулы — во...

С грустью мы снимали трусики и майки, облачаясь в прозаические толстовки и брюки.

И вот настал день отъезда. Опустел парк, опустела столовая. В аллеях стало тихо, но лишь для того, чтобы на следующий же день новая партия отдыхающих оживила Архангельское говором, смехом и неиссякаемой жизненностью.

# За рубежом

1. OUTSIDER. Итоги разоружения.—2. ЭГОН ЭРВИН КИШ. За кулисами статуи Свободы (письма из Америки).—3. Г. САНДОМИРСКИЙ. Экзотический фашизм..

## 1. ИТОГИ „РАЗОРУЖЕНИЯ“

(6-я сессия подготовительной комиссии в Женеве)

### OUTSIDER

6-я сессия подготовительной комиссии к конференции по разоружению, заседавшая в Женеве с 15 апреля по 6 мая, может быть названа действительно рекордной в смысле подведения итогов «разоружительной работы» как Лиги Наций, так и в частности самой подготовительной комиссии.

Как известно, 5-я сессия, занимавшаяся исключительно рассмотрением первого советского проекта о всеобщем и полном разоружении и отклонившая этот проект, закрылась в конце марта 1928 г. В течение 13 месяцев после этого подготовительная комиссия вовсе не собиралась под предлогом наличия крупных разногласий между ее отдельными участниками в наиболее существенных вопросах разоружения. Созыв 6-й сессии объясняется отнюдь не тем, что разногласия среди ее участников уменьшились или что они пытаются найти какой-либо путь для их уменьшения. Созыв комиссии объясняется несомненно тем, что дальнейшая отсрочка стала абсолютно невозможной. Дискредитация Лиги Наций в вопросе разоружения достигла за последнее время небывалых размеров. Опубликование в печати двукратного требования (в августе и в декабре 1928 г.) г. Литвинова созвать, наконец, подготовительную комиссию явилось толчком, побудившим назначить открытие 6-й сессии на 15 апреля. Правда, руководители комиссии сделали все возможное для того, чтобы оттянуть этот созыв, но фиксировать дату позже, чем на 15 апреля, не удалось.

Интересной деталью 6-й сессии является отсутствие до момента начала ее работы повестки дня. Несмотря на то, что с момента решения о созыве комиссии (это решение было принято в январе 1929 г.) и до 15 апреля имела место сессия Совета Лиги Наций и, следовательно, общая встреча министров иностранных дел, встреча, во время которой повестка подготовительной комиссии могла быть составлена,— ее до 15 апреля не существовало. Этого мало. Директор секции разоружения Лиги Наций Кольбан предпринял в марте 1929 г. специальную поездку в ряд европейских столиц для «согласования» возможных точек зрения по вопросам предстоящей дискуссии. Это «согласование» также не дало никаких результатов, и накануне открытия работ комиссии никто не знал, о чем будет идти речь.

Обстановка, создававшаяся накануне созыва 6-й сессии подготовительной комиссии, вряд ли может быть названа легкой для ее руководителей. Целый ряд «препятствий» стоял на пути не только разоружения, но даже и самых разговоров о нем. Напомним, что в течение прошлых сессий подготовительной комиссии основным разногласием являлось расхождение между Англией и Францией по вопросам как морского, так и сухопутного разоружения. Эти разногласия с особенной силой выявились на 3-й сессии подготовительной комиссии при обсуждении проекта конвенции о сокращении вооружений. Летом 1928 г. так называемый англо-

французский морской компромисс ликвидировал на известный промежуток времени расхождение между Англией и Францией. Получив от Франции поддержку своей точки зрения по вопросу о морском разоружении, Англия приняла отвергавшийся ею до этого времени французский метод решения проблемы сухопутного разоружения. Оба «метода» (английский для морских и французский — для сухопутных вооружений) фиксируют по существу отказ как от морского, так и от сухопутного разоружения. Упрощая суть англо-французского компромисса, можно сказать, что Франция признала гегемонию Англии на море взамен признания Англией французской гегемонии на континенте Европы. Таким образом, было устранено «препятствие», которое вплоть до последней сессии комиссии являлось, по словам ее руководителей, главным тормозом на пути к разоружению. Однако, немедленно же после улажения англо-французских разногласий возникли новые, размер и значение которых не только не меньше, но, наоборот, больше англо-французских.

Соединенные Штаты не приняли принципов, положенных в основу англо-французского компромисса. Не приняла этих принципов и Италия. Ни с Соединенными Штатами, ни с Италией не удалось вступить в переговоры по вопросам, «урегулированным» в англо-французском компромиссе. Таким образом, по одному из существенных разделов конвенции о сокращении вооружений — разделу морских вооружений — накануне 6-й сессии не существовало общей почвы для какого бы то ни было соглашения.

Отсутствие соглашения в области морских вооружений создавало полную невозможность какого бы то ни было продвижения по вопросу о сухопутных вооружениях, ибо оба эти вопроса как технически, так и политически теснейшим образом связаны друг с другом.

Все сказанное вызывало накануне 6-й сессии весьма пессимистическое настроение у руководителей комиссии и откровенные заявления с их стороны,

что «6-я сессия не даст никаких результатов».

Эти прогнозы не оправдались. 6-я сессия дала весьма существенные и интересные результаты... правда, не по вопросу о разоружении. Впрочем, вряд ли найдется в настоящее время много наивных людей, которые ожидали бы как от подготовительной комиссии, так и от Лиги Наций в целом каких-либо результатов в области разоружения.

Порядок дня 6-й сессии был оглашен председателем комиссии на первом ее заседании. Этот порядок заключал в себе 14 пунктов, из которых первый был посвящен советскому проекту о частичном сокращении вооружений, внесенному советской делегацией еще на 5-й сессии комиссии, второй — германскому предложению о публикации военных сведений, предложению, не имеющему непосредственной связи ни с советским проектом, ни с проектом самой подготовительной комиссии, и, наконец, остальные 12 пунктов представляли собою перечень вопросов, входящих в проект конвенции о сокращении вооружений (проект подготовительной комиссии). Чрезвычайно любопытным является то обстоятельство, что пункты 3—14 были составлены, начиная с наиболее второстепенных вопросов и кончая наиболее трудными, вызвавшими максимальные разногласия при их первом чтении весной 1927 года. Смысл этого «психологического» трюка заключался в постановке на повестку дня всех спорных вопросов для того, чтобы создать впечатление деловитости комиссии. С другой стороны, постановка наиболее серьезных вопросов на конец создавала возможность перерыва работ комиссии и откладывания обсуждения этих вопросов на будущее.

«Гвоздем» первой половины работ 6-й сессии было несомненно обсуждение советского проекта о сокращении вооружений. Первый пункт повестки дня, посвященный этому проекту, занял промежуток от 15 до 19 апреля. Напрасно, однако, было бы думать, что все происходившее в комиссии в течение указанного периода времени являлось действительным объектом обсуждения проекта как такового или хотя бы его основных принципов. Ни-



чего подобного работы комиссии в течение этих пяти дней не представляли. Никакого обсуждения советского проекта не было. Сущность политического спора, разыгравшегося в течение пяти первых дней между советской делегацией, с одной стороны, и руководителями подготовительной комиссии — с другой, заключалась вовсе не в принятии или непринятии советского проекта. Никто не сомневался в том, что подготовительная комиссия не сможет, не в состоянии будет принять ни советский проект, ни его основные принципы. Для этого у комиссии не хватает основного условия: действительного желания конкретно разрешить проблему разоружения. У советской делегации на этот счет не было и не могло быть никаких иллюзий. Если, однако, она не только выдержала пятидневный бой за свой проект, но и подняла этот бой на принципиальную высоту, — ее позиция диктовалась отнюдь не надеждой на успешное проведение внесенного 13 месяцев тому назад проекта.

В отличие от всех других участников подготовительной комиссии, советская делегация не может делить со всей комиссией ответственности за открытый саботаж дела разоружения. Ее основной задачей является систематическая пропаганда мира и разоружения, с одной стороны, и полное выявление действительной позиции комиссии и ее отдельных членов — с другой. Только таким путем может советская делегация способствовать действительному продвижению проблемы сокращения вооружений. Наоборот, задачей руководителей комиссии, в особенности на 6-й ее сессии, было как можно больше затушевать свои истинные намерения, посеять как можно больше иллюзий видимостью «практической работы». Вот почему с первого же заседания комиссии спор между советской и несоветской ее частью был сразу поставлен тактикой советской делегации на принципиальную высоту.

Первый бой был дан по вопросу о повестке дня. В своей речи тов. Литвинов подверг решительной атаке самый принцип составления повестки. Отвечая на двукратные замечания

председателя комиссии Лоудона, предложившего обратить внимание на то, насколько советский проект соответствует проекту комиссии, тов. Литвинов дал сравнительную оценку обоих проектов. Нисколько не пытаясь дать удовлетворительный ответ на вопрос председателя комиссии, он, наоборот, начал с того, что советский проект отнюдь не соответствует проекту комиссии, ибо последний говорит о чем угодно, кроме разоружения. Тов. Литвинов со всей беспощадностью нарисовал историю бесплодных и безрезультатных попыток комиссии создать свой собственный проект, лежащий без движения уже два года и не прошедший до сих пор еще своего первого чтения. Вскрывая двусмысленность как самого проекта, так и вообще работ подготовительной комиссии, он прямо и в упор поставил вопрос о том, чем занимается комиссия: разработкой ли проекта о сокращении существующих вооружений или же попыткой ограничения нынешних вооружений, или, наконец, легализацией их на том уровне, на котором они находятся в данный момент. Без труда ему удалось доказать, что подготовительная комиссия отнюдь не занимается созданием проекта сокращения вооружений.

Вторым, не менее существенным, пунктом речи тов. Литвинова явился вопрос о дальнейших методах работы комиссии. Повестка дня, как мы уже говорили выше, была составлена таким образом, как будто между советским проектом, с одной стороны, и всеми остальными вопросами, с другой — нет никакой принципиальной разницы. Сначала, дескать, будет обсужден советский проект, а затем комиссия сможет спокойно перейти к обсуждению вопросов, включенных в проект 1927 г. Тов. Литвинов вскрыл всю логическую и политическую абсурдность подобной постановки вопроса. Одно из двух: либо после обсуждения советского проекта он будет принят, либо будет отвергнут.

Если советский проект или хотя бы его основные принципы будут приняты, все остальные пункты повестки дня теряют какое бы то ни было значение. Принятие советского проекта означает

полное и коренное изменение дальнейших методов работы подготовительной комиссии, ибо принципы советского проекта не совпадают с принципами проекта комиссии.

Если будет принят советский проект, это будет означать принятие комиссией принципа пропорционального сокращения вооружений, т. е. сокращения, основанного не на индивидуальных требованиях того или иного государства, заявляющего о своих «военных потребностях», а на едином коэффициенте (с небольшим отступлением в пользу малых стран) уменьшения сухопутных армий, воздушного и морского флота.

Если, наконец, будет принят советский проект, это будет означать, что комиссия высказывается за создание не только алгебраических формул будущего сокращения вооружений, но и за арифметические цифры этого сокращения.

Исходя из всего сказанного, тов. Литвинов поставил комиссии вопрос ребром. Либо принимайте основные принципы советского проекта, либо высказывайтесь против тех методов работы, которые предлагает советская делегация. Одновременное обсуждение советского проекта и вопросов, перенумерованных в 12 пунктах повестки дня, невозможно. Если вы после советского проекта заранее ставите на повестку дня вопросы, составляющие часть проекта комиссии, — вы тем самым предreshаете отклонение советского проекта. Советская делегация стоит на той точке зрения, что принятие советского проекта вынудит снятие с повестки дня всех пунктов от 3-го до 14-го.

Выступление тов. Литвинова внесло явное замешательство в ряды руководителей комиссии. Никто не был подготовлен к такой постановке вопроса. Атмосфера комиссии сразу стала напряженной.

Условия боя, предложенные тов. Литвиновым комиссии, ею не были приняты. Выступившие по этому вопросу английский делегат лорд Кешендун и американский делегат Гибсон не сумели ничего возразить против принципиальной установки тов. Литвинова.

Им пришлось кратко заявить, что они поддерживают ту повестку дня, которую предложил председатель. Последний ничего не получил от этой англо-американской «поддержки». Он вынужден был самостоятельно выпутываться из создавшегося положения. Нельзя сказать, чтобы это ему удалось хотя бы в минимальной степени. Он пытался отделаться от вопросов тов. Литвинова при помощи голосования. В Лиге Наций, как известно, голосований не любят, предпочитая им «единогласные решения». Избегая обострения вопроса, председателю пришлось согласиться с тем, что в случае, если советский проект будет принят, остальная часть повестки дня отпадает и в качестве базы дальнейшей работы будут приняты принципы, предложенные советской делегацией.

Первый бой был выигран советской делегацией. Тов. Литвинов не позволил смазать принципиальную сторону вопроса и добился не простой постановки советского проекта на обсуждение, а обсуждения его в качестве базы всей работы комиссии.

Своеобразной чертой тактики комиссии по отношению к советскому проекту на 6-й сессии явилось полное нежелание принять бой и вступить в дискуссию по вопросу о том, может ли быть принят или должен быть отвергнут советский проект конвенции. Несмотря на предложение председателя высказаться по существу советского проекта, никто из присутствовавших не решался брать слова. Повторное предложение председателя, направленное по адресу членов комиссии, также не имело успеха. С большим трудом председателю удалось «заставить» двух делегатов — японского и французского — выступить по существу советского предложения. Ни один, ни другой делегаты не сумели сформулировать сколько-нибудь убедительных аргументов в пользу необходимости отклонения советского проекта. Вряд ли можно считать особенно убедительным заявление французского делегата Массигли, что советский проект следует отвергнуть, так как он построен на цифровых данных, в то время как подготовительная комиссия обязана, согласно заданиям совета Ли-

ги Наций, создать лишь схему будущего сокращения вооружений, не вставляя в эту схему ни одной конкретной цифры. Не более «убедительным» явился довод японского делегата Сато, который заявил, что он предпочитает, чтобы комиссия пошла по «заранее проложенному пути» и обсудила свой собственный проект, выработанный в 1927 г.

Открытый саботаж обсуждения советского проекта и полная невозможность вынудить комиссию к открытому обсуждению советских предложений заставили делегацию СССР сформулировать три пункта, на которые она просила у комиссии ясный и недвусмысленный ответ. Эти пункты были сформулированы следующим образом:

1. Должен ли, по мнению комиссии, проект конвенции быть выработан на основе существенного сокращения нынешних вооружений.

2. Принимает ли комиссия принцип пропорционального сокращения вооружений.

3. Считает ли комиссия возможной выработку цифровых коэффициентов сокращения вооружений.

Эти пункты, касающиеся основных принципов действительного разрешения проблемы разоружения, поставили всю комиссию в тупик. Она почувствовала себя в положении русского былинного богатыря, очутившегося на перекрестке трех дорог. Каждая из этих дорог сулила явную опасность. Не ответить на вопросы, поставленные советской делегацией, нельзя было, ибо вопросы касались принципов разоружения. Ответить на них утвердительно — значило принять в основу советский проект. Наконец, ответить отрицательно — значило расписаться, и притом публично, в отсутствии какого бы то ни было желания и намерения сделать хотя бы малейший шаг в сторону разоружения. Этого мало. Что значит ответить на вопросы, предложенные комиссии тов. Литвиновым?

Это значит, что каждый делегат должен сформулировать свой собственный ответ, являющийся тем самым ответом его правительства. Однако, именно этого и не желали члены комиссии. Никто из них не хотел подняться и начать

отвечать по вопроснику тов. Литвинова. Из затруднительного положения вывел (вряд ли по собственной инициативе и разумению) делегат Чехо-Словакии Фирлингер, который предложил поручить президиуму... проверить, в чем заключается мандат комиссии и какой может быть дан ответ на вопросы тов. Литвинова.

Подготовительная комиссия, несомненно, лишена чувства юмора. В противном случае предложение Фирлингера встретило бы всеобщий хохот и было бы отклонено. Как можно поручать президиуму проверять собственный мандат в деле разоружения, мандат, исходящий от правительства, посылающих своих делегатов в Женеву? На это обстоятельство немедленно и обратил внимание комиссии тов. Литвинов, прибавив, что он, например, собственный мандат, исходящий от правительства СССР, прекрасно знает и не нуждается в его проверке с чьей бы то ни было стороны. Он думает, что таково же положение и всякого другого делегата, которому его правительство поручило защищать в Женеве свои взгляды. Весь вопрос заключается именно в том, чтобы каждый делегат эти взгляды изложил. Подготовительная комиссия предпочла расписаться в отсутствии юмора и нашла, что этот недостаток значительно лучше, чем необходимость расписываться в отсутствии желания сокращать вооружения. Предложение Фирлингера было принято, и президиум занялся лихорадочной работой по составлению... мнения комиссии.

Эта работа чрезвычайно интересна не только с точки зрения перлов казуистики, вложенной в ответ на вопросы тов. Литвинова. Президиуму комиссии пришлось прежде всего решать вопрос о том, в чем заключается тактика советской делегации и какие выводы делегация сделает после отклонения ее проекта. В течение целого дня женевские политические круги решали задачу на тему: уедет ли советская делегация из Женевы, если советский проект будет отклонен. Мнения по этому вопросу разделились. В то время как одни считали, что советская делегация покинет Женеву, другие это отрицали.

В каждой из двух группировок были представители течения, считавшего, что отъезд советской делегации является плюсом, равно как и течения, утверждавшего, что полный разрыв СССР с Женевой явится минусом для «дела мира». Все эти мнения, равно как и полная неуверенность и неосведомленность о ближайших планах советской делегации, отразились на документе, который был оглашен от имени президиума на заседании 19 апреля.

Этот документ построен с максимальным соблюдением законов эквилибристики и политического жонглерства. На вопрос, должен ли проект конвенции быть выработан с учетом существенного сокращения нынешних вооружений, президиум ответил утвердительно, добавив, однако, при этом, что будущее сокращение вооружений должно быть совместимым с «национальной безопасностью и выполнением международных обязательств, согласно статуту Лиги Наций». На вопрос, принимает ли комиссия принцип пропорционального сокращения вооружений, был дан отрицательный ответ, но немедленно добавлено, что комиссия не исключает принятия этого принципа конференцией, равно как и всякого другого объективного критерия (советская делегация требовала принятия именно объективного критерия, а не критерия, основанного на субъективных желаниях отдельных государств). Наконец, на третий вопрос, считает ли комиссия возможным выработку цифровых коэффициентов, был дан отрицательный ответ с указанием на то, что вопросом цифровых коэффициентов должна будет заняться конференция.

Председатель комиссии сделал все возможное для того, чтобы протолкнуть это решение президиума через комиссию без голосования. Это было сделано с невероятной поспешностью, с нарушением всех обычных правил ведения собрания. Дело, конечно, не в голосовании, ибо его исход был предрешен, равно как и судьба советского проекта. Комиссия буквально облегченно вздохнула, когда председатель объявил, что первый пункт повестки дня «исчерпан».

Отвергнув второй советский проект сокращения вооружений, подготовительная комиссия перешла к «практической» работе. Впрочем, выражение «отвергнув» не совсем точно, ибо комиссия на этот раз не решилась поступить со вторым советским проектом так, как в прошлом году она поступила с проектом всеобщего и полного разоружения. Тот был просто отвергнут, при чем комиссия заявила, что она будет продолжать свою работу «по уже проложенному пути». На этот раз, сколько ни жонглировали с понятием «проложенного пути», все же не решились отвергнуть советский проект en bloc. Комиссия признала возможным от своего имени внести этот проект на обсуждение будущей конференции по разоружению. Правда, остается совершенно неясным, каким образом подготовительная комиссия может внести на обсуждение конференции проект, который она сама не рассматривала и детально не обсуждала. Остается столь же неясным, что может сказать комиссия конференции по поводу этого проекта, поскольку она не сформулировала своей точки зрения по отдельным частям советского предложения. Однако, дело не в этом. Соус, под которым советский проект был фактически отклонен, приготовлен по рецептам лучшей женеvской кухни. Этот соус понадобился для того, чтобы внешне избежать упреков во вторичном отклонении советского предложения. Этот маневр нужен был для того, чтобы убедить известные круги лацифистов в способности Лиги Наций к положительной работе в деле разоружения. Невинный трюк, допущенный комиссией, которая не «отклонила», а только «отказалась обсуждать» советский проект вряд ли кого-нибудь сможет провести. Это тем более мало вероятно, что как самая обстановка отклонения советского проекта, так и последовавшие за этим события наложили на работу 6-й сессии невиданную еще до сих пор печаль политического цинизма и откровенного издевательства над требованиями широчайших народных масс.

«Практическая работа» по обсуждению проекта конвенции 1927 г. целиком

и полностью оправдала правильность тактики советской делегации, не уехавшей из Женевы в момент отклонения советского проекта сокращения вооружений. Этого отъезда страстно желали весьма многие из женевских «миротворцев». Этот отъезд облегчил бы им работу систематического введения в заблуждение всех тех, которые еще ждут от Женевы действительного плана уменьшения бремени милитаризма. Этот отъезд создал бы внове, как и до 1927 г., благодарный аргумент для всех пограничных с СССР государств, неоднократно заявлявших о невозможности какого бы то ни было сокращения вооружений «до тех пор, пока СССР не будет принимать участия в работах подготовительной комиссии».

Неделя «практической работы» показала, что присутствие советской делегации в Женеве и участие ее в обсуждении проекта, выработанного самой подготовительной комиссией, являются политически чрезвычайно важными и нужными. Нет буквально ни одного из обсуждаемых вопросов, которые не давали бы советской делегации возможности не только вывить свою точку зрения, но и проявить, как на фотографической пластинке, точку зрения всей комиссии. Впрочем, сама комиссия и ее отдельные члены не переставали предоставлять в распоряжение советской делегации весьма обширное поле для дискуссии. Достаточно остановиться на двух-трех наиболее красочных примерах для того, чтобы убедиться в правдивости сказанного.

Во время обсуждения вопроса о химических и воздушных средствах войны советская делегация внесла ряд поправок, вытекающих из ее собственного проекта конвенции. Само собой разумеется, что подавляющее большинство этих поправок было отклонено. Интересен не этот факт, а та атмосфера и обстановка, в которой происходило отклонение советских поправок.

По вопросу о воздушной войне германская делегация внесла предложение о полном запрещении метания бомб с аэропланов. Она мотивировала свое предложение главным образом необходимостью защиты мирного населения. Это предложение имело и в со-

ветском проекте, что побудило советскую делегацию энергично выступить с поддержкой германского предложения, так что в ходе прений это предложение фигурировало уже как германско-советское. Комиссия долго билась над тем, как бы отклонить это предложение и вместе с тем не прибегать к голосованию. Господам делегатам до чрезвычайности не хотелось открыто голосовать против предложения не сбрасывать бомбы и взрывчатые вещества на головы не участвующих в войне мирных жителей, женщин и детей. Однако, избежать голосования все же не удалось. Результаты его оказались более чем характерными для истинного лица подготовительной комиссии. За предложение голосовали представители Германии, СССР, Голландии, Швеции и Китая. Все прочие голосовали против. Понимая весь нестерпимый цинизм результатов подобного голосования, один за другим стали подниматься делегаты стран, голосовавших против предложения с целью объяснить, что их голосование отнюдь не означает поощрения в деле уничтожения мирного населения при помощи бомбардировки сверху. Этот поток «извинений» был прерван заявлением тов. Литвинова, который сказал, что никто не нуждается в выражении личных симпатий или антипатий отдельных делегатов по вопросу о воздушной бомбардировке. В комиссии собраны политические представители ряда правительств, которые своим голосованием показали нежелание брать на себя какие бы то ни было обязательства в деле охраны мирного населения.

Описанная только что картина вряд ли нуждается в каких-либо комментариях.

Не менее красочным можно считать выступление польского делегата Сокала по тому же вопросу. Основывая свой отказ принять формулы ограничения средств воздушной войны, он, не смущаясь, заявил, что нет надобности обсуждать в комиссии вопрос об ограничении того или иного вида войны, поскольку... согласно пакту Келлога, война в целом запрещена. С совершенно невинным видом он утверждал, что общественное мнение не поймет, почему комиссия за-

нимаются этим частным вопросом в то время как весь вопрос о войне является решенным. Война запрещена, войны нет.

Есть слова и заявления, на которые отвечать невозможно. Есть пределы цинизма вообще и политического цинизма в частности, пределы, переходить которые невозможно хотя бы из уважения к самому себе. Очевидно, эти правила не существуют для отдельных членов подготовительной комиссии.

Если война запрещена, то почему бы не принять советского проекта о полном и всеобщем разоружении, — вот вопрос, который немедленно был задан тов. Литвиновым польскому делегату, отказывавшемуся обсуждать проблему ограничения воздушных вооружений. На этот вопрос Сокалю пришлось при ироническом смехе зала ответить, что пакт Келлога хотя и запретил войну, но тем не менее не создал абсолютной безопасности, а потому, дескать, и не может служить основой для всеобщего разоружения.

Логика, как видите, в этом ответе искать не приходится.

Примеры, приведенные выше, можно было бы умножить. Можно было бы привести, например, заявление бельгийского делегата барона Ролен-Жакмена, который отказывался принять советское предложение о полном запрещении в мирное время подготовки химической войны на том-де основании, что право частной собственности в Бельгии не может быть ограничено и что любой промышленник на своем «собственном» заводе может производить какие угодно ядовитые и вредоносные газы. Можно было бы привести также заявление японского делегата Сато, высказавшегося против какого бы то ни было ограничения военной авиации на том основании, что нельзя ограничивать гражданскую авиацию, а превращение последней в первую является делом весьма простым.

Последовательно шаг за шагом выявляла комиссия свою волю к «существенному сокращению вооружений»!

Шаг за шагом выхолащивала она из проекта конвенции то небольшое мате-

риальное содержание, которое в нем еще уцелело от первого чтения!

Все же следует сказать, что, вопреки первоначальным представлениям, 6-я сессия подготовительной комиссии оказалась весьма интересной. Само собой разумеется, что этот интерес ни в коей мере не может быть отнесен за счет активизации дела разоружения. Ни 6-я, ни какая бы то ни была иная сессия подготовительной комиссии в этом вопросе не хотят, не могут и не сделают ничего, что могло бы хотя бы на иоту приблизить разрешение вопроса о разоружении. Дело, конечно, не в этом. Подготовительная комиссия собирается в Женеве вовсе не для дела разоружения. Если мы утверждаем, что эта сессия явилась весьма интересной, то в силу совершенно иных обстоятельств. Прежде всего обсуждение советского проекта сокращения вооружений, равно как и участие советской делегации в обсуждении проекта конвенции 1927 г. на практических, конкретных примерах обнаружили с необычайной яркостью и выпуклостью истинные намерения участников комиссии. К сказанному выше можно прибавить еще один весьма показательный пример. Комиссия, вопреки настойчивому требованию как советской, так и германской делегаций, отказалась включить в редакцию параграфа, касающегося сухопутных армий, фразу, подчеркивающую необходимость не только ограничения, но и сокращения существующих армий. Это было сделано ровно через неделю после того, как комиссия приняла ответ президиума на вопросы, сформулированные тов. Литвиновым. В первом из этих ответов черным по белому было написано, что комиссия имеет своей задачей установление «плана сокращения вооружений». После отклонения требований советской и германской делегаций в этом вопросе тов. Литвинову не оставалось ничего другого кроме констатации того, что комиссия в страхе перед каким бы то ни было сокращением вооружений открыто и недвусмысленно берет обратное собственное постановление. Когда прошел первоначальный страх перед прямотой и резкостью поставленных т. Лит-

виновым вопросов, когда улеглась боязнь общественного мнения всего мира, боязнь, вынуждавшая комиссию уклониться от прямого отрицательного ответа на вопросы советской делегации,— после всего этого можно было позволить себе роскошь на конкретных примерах брать обратно даже фразы (только фразы), говорящие о сокращении и существующих вооружений.

Именно в этом смысле 6-я сессия является чрезвычайно интересной, ибо никогда еще за время своего «сотрудничества» с Женевой советской делегации не удавалось на конкретных примерах выявить с такой полнотой открытое лицемерие и обнаженный цинизм руководителей комиссии.

С этой точки зрения разоблачительная работа советской делегации вне всякого сомнения не менее ценна, нежели предыдущая борьба как за первый, так и второй проекты разоружения.

Второе основание, в силу которого мы назвали эту сессию интересной, заключается в двукратных выступлениях делегата САСШ Гибсона. Эти выступления (первое—по вопросу о морских вооружениях и второе—по вопросу об обученных резервах) являются действительно «исторической датой» в жизни подготовительной комиссии. Так назвал выступление Гибсона французский делегат Массигли, полный восторга по поводу того, что Гибсон снял американские возражения против не включения обученных резервов в контингенты сокращаемых армий. Если Массигли утверждал, что американское заявление ускоряет дело разоружения, то мы держимся по этому поводу диаметрально противоположного мнения. Американское заявление, касающееся обученных резервов, ускоряет соглашение о легализации как существующих армий, так и темпа будущих вооружений. Американское заявление еще более делает подготовительную комиссию «обществом по взаимному страхованию от разоружения», как остроумно выразился по другому поводу германский делегат граф Бернсторф.

Если мы тем не менее готовы назвать

оба американских заявления «делающими эпоху», то это выражение относится вовсе не к работам подготовительной комиссии.

Жесты Соединенных Штатов по отношению к Англии (области морских вооружений) и Франции (области сухопутных вооружений) представляют собою несомненно событие большого политического значения.

Прежде всего необходимо отметить, что оба эти жеста являются первым актом внешней политики президента Гувера, и это обстоятельство сразу приковывает к ним специфическое внимание. Впервые после англо-французского соглашения 1928 г. Соединенные Штаты перешли к активной политике в области так называемого разоружения или, что, конечно, вернее, соревнования в области вооружений. Мы говорим: «впервые», ибо американская нота от 6 сентября 1928 г., посвященная англо-французскому морскому компромиссу, сформулировала лишь отрицательную позицию САСШ по отношению к этому соглашению, а законопроект о постройке 15 крейсеров представляет собой одностороннюю акцию САСШ, не увязанную с международным закреплением позиции Соединенных Штатов.

Наоборот, выступление Гибсона в комиссии является подготовкой международного закрепления соотношения сил, закрепления его на базе американских требований.

Выше, говоря об этих выступлениях мы назвали их жестами. Это выражение далеко не случайно. Что представляет собой предложение САСШ в области морских вооружений? От имени американского правительства Гибсон дал согласие на принятие принципа сокращения морских вооружений одновременно как по общему их тоннажу, так и по категориям. Напомним, что Англия всегда держалась принципа сокращения по общему тоннажу, в то время как Соединенные Штаты выдвигали принцип сокращения по отдельным категориям судов. Оба эти принципа в отдельности соответствуют потребностям морской программы Соединенных Штатов, с одной стороны, и Англии— с другой. В 1927 г. Франция предложила тот самый компромиссный принцип,

который теперь принимают Соединенные Штаты. Таким образом, внешне дело обстоит так, как будто бы САСШ сделали шаг на пути к соглашению с Англией. Так изображала дело и сама американская делегация, так (и еще в большей степени) пыталась представить дело английская дипломатия и английская печать. Поведение англичан, конечно, понятно. Им во что бы то ни стало нужно было перед выборами представить положение в таком свете, как будто консервативное правительство, не уступая своих позиций, добились все же если не соглашения, то по крайней мере возможности соглашения с САСШ. Объективно, таким образом, американское выступление вне всякого сомнения оказало услугу консерваторам накануне выборов. Но не это соображение, конечно, являлось решающим для американской дипломатии. Сделали ли последняя действительную уступку Англии?

Означает ли принцип одновременного сокращения морских вооружений как по общему тоннажу, так и по категориям, уступку Соединенных Штатов Англии? Об этом можно будет судить лишь тогда, когда САСШ обнародуют свои конкретные коэффициенты сокращения, ибо от них, и только от них, зависит ответ на поставленный вопрос. Между тем, в заявлении Гибсона именно эти коэффициенты отсутствуют. Они будут выявлены лишь тогда, когда начнет работать либо специальная морская конференция, либо выделенная из состава подготовительной комиссии морская подкомиссия. До этого момента говорить о действительной уступке САСШ по отношению к Англии не приходится.

Чего же добились американская дипломатия своим выступлением. Она добились согласия Англии начать международные переговоры по вопросу о морских вооружениях. Отказаться от этих переговоров консервативное правительство Англии не могло, ибо в целях избирательной кампании английская дипломатия изображает «американский жест», как успех консервативного правительства. Между тем, конкретные предложения Америки могут заключаться лишь в международной

фиксации американских требований, требований, которые будут стремиться закрепить американскую гегемонию.

Таков «предварительный» баланс американского выступления по вопросу о морских вооружениях.

Во втором выступлении Гибсона была сделана важнейшая уступка по адресу Франции. Эта уступка, как мы говорили выше, заключается в отказе Соединенных Штатов от возражения против требований Франции не включать обученные резервы в состав сокращаемых контингентов армий. Можно утверждать, что отказ САСШ от своей точки зрения на обученные резервы является величайшей услугой Франции, услугой, позволяющей ей и впредь не допускать какого бы то ни было уменьшения сухопутных вооружений.

Выступление Гибсона по вопросу о так называемых обученных резервах оказалось действительную и существенную услугу французской дипломатии, ибо подкрепило французский тезис о неприемлении какого бы то ни было сокращения к военным резервам. Этим самым сокращение вооружений даже по Женевской терминологии делается абсолютно иллюзорным, а вместе с тем делается шаг в сторону закрепления французской гегемонии на континенте Европы. Параллельно с этим выступление Гибсона нанесит удар надеждам Германии добиться в Женеве какого бы то ни было выполнения обещаний Версальского договора относительно сокращения вооружений окружающих Германию стран.

Можно догадываться лишь о смысле американского «подарка» французской дипломатии. По существу САСШ повторили по отношению к Франции акт, имевший место со стороны Англии в прошлом году в англо-французском морском компромиссе. Если САСШ в этом году признали французскую точку зрения по вопросу об обученных резервах, то только для того, чтобы показать Франции, что система ее военной гегемонии на континенте Европы может быть подкреплена не только с английской, но и с американской стороны. Последнее обстоя-



тельство в глазах французской дипломатии должно, несомненно, иметь гораздо больше веса, нежели обещания англо-французского морского компромисса.

Можно ли отсюда сделать вывод, что САСШ пытаются отвлечь Францию от слишком тесной дружбы с Англией и тем самым изолировать последнюю, — покажет ближайшее будущее.

6-я сессия подготовительной комиссии исчерпала все возможности для дальнейшей политики дымовой завесы в деле разоружения. Сократив до последних пределов свой собственный проект ограничения вооружений и изъав из него последние признаки каких бы то ни было попыток решения этой проблемы, комиссия сделала все от нее зависящее для того, чтобы рас-

сеять иллюзии, еще имеющие в некоторых кругах место по отношению к действительным намерениям Лиги Наций.

Если когда-либо состоится международная конференция, если руководители Лиги Наций будут иметь смелость выступить перед общественным мнением всего мира с «результатами» работ подготовительной комиссии, — от самого общественного мнения будет зависеть заставить свои правительства поставить крест над работами подготовительной комиссии и приступить заново при помощи других методов и иных средств к подлинному сокращению существующих вооружений и к прекращению неслыханного темпа подготовки войны, имеющего место в настоящее время.

## 2. ЗА КУЛИСАМИ СТАТУИ СВОБОДЫ

(Письма из Америки).

Эгон Эрвин Киш

(Продолжение <sup>1)</sup>)

### XI. Город, который изготавливает одни только шляпы

Этот город изготавливает только шляпы: соломенные, фетровые, дамские и мужские, мягкие и твердые. За год он выбрасывает их на рынок целыми миллионами, составляющими 75 проц. всей потребности Северо-Американских Штатов. Этот город именуется Дембери. Он расположен на юго-западной границе штата Коннектикут, который прославился не столько подвигом своего «единственно славного сына», рыночного торговца Бернума (хотя последний и избрал своим основным ремеслом именно погоню за славой), а неожиданным решением верховного суда С. Ш. в Вашингтоне, связанным с именем главного города штата.

Решение это было вынесено по следуюшему делу. Шляпные фабрики Дембери пред'явили иск к профессиональ-

ному союзу о возмещении в трехкратном размере всех убытков, причиненных им очередной забастовкой. Сумма иска равнялась 78.000 долларов. При этом фабриканты ссылались на акт Шермена, направленный против спекулятивной деятельности трестов и их старинной привилегии устанавливать цены на все товары. Американские промышленники (в лице демберийских фабрикантов) прибегли к контрамаевру, пытались истолковать и профессиональные союзы как тресты, устанавливаемую же ими оплату труда — как цены на товар. Верховный суд сделал соответствующее разъяснение, ясно подчеркнув недопустимость приравнения заработной платы живого рабочего к обыкновенной товарной цене. Этим и прославился Дембери.

В этом городе живут со своими семьями 4.000 шляпных мастеров. Остальная часть рабочего населения занята пряжей шелка для шляпных подкладок и лент или же обработкой

<sup>1)</sup> См. „Нов. Мир“ №№ 4 и 5

заячьих шкурок, а также изготовленным деревянных болванок, картонок и коробок для упаковки.

Сырье прибывает из Нью-Йоркского порта на тяжелых грузовиках. Сюда свозятся миллионы окровавленных шкурок, снятых с зайцев, убитых в России и Австралии. В первую очередь попадают они на фетровую фабрику, где их моют, чистят и травят посредством азотно-кислой закиси ртути, а потом просушивают помощью сложных вращающихся паровых труб. Эта работа отравляет весь организм, хотя мука, которая держит щетку, и защищена резиновой перчаткой. Несмотря на эти предупреждающие меры, ежедневное действие окиси ртути, нагретой до 12°, не остается без последствий. На улицах Дембери можно всегда увидеть трясущихся людей, те судорожные передергивания, столь знакомые Европе со времен мировой войны. Здесь же это только последствия постоянной отравы.

Большую часть отравленных составляют старики, в свое время понаехавшие сюда из Германии и Швейцарии. Уже несколько лет, как фетровые фабрики обслуживаются одними сирийцами; в помещении, где мертвые зайцы и живые люди одинаково подвергаются действию удушающих газов и ртутных паров, уже не встретишь теперь европейца.

Раньше работали на этих фабриках чернокожие рабы, привезенные сюда из Африки и Австралии. Потом их сменил покорный «свободный переселенец» из Европы. Теперь за нее взялся азиат. Так Америка извлекает из всех стран мира требующуюся ей рабочую силу.

Убитому зайцу, с которого уже до его прибытия в Америку была спущена шкура, разумеется, вполне безразлично, что с ним будет в дальнейшем. Он не дрожит ни перед протравой, ни после нее. Его хвост и уши за ненужностью отрезаются. Остается одна шкура, состоящая из меха и отдельных волос. Эти волосы надо удалить; и вот, когда они вылушены машиной, обнажается волосьяная ткань, на которой все это когда-то держалось. Она оказывается прозрачной сеткой, как

бы сплетенной из сухой соломы, пригодной разве только на то, чтобы сварить из нее столярный клей. То, что теперь остается, и называется мехом. Быстрой лентой скатывается он из машины в опытные руки работниц, которые удаляют из него последние затверделости. В пакетах весом в 5 фунтов фабрикат отправляется на шляпные фабрики.

И что это за фабрики? Шляпное производство в Коннектикуте наследственно. Уже в освободительном движении оно сыграло не последнюю роль. В 1750 г. английским парламентом был издан закон, запрещающий изготовлять в колониях шляпы и шерстяные изделия, равно как и вывозить их в соседние колонии. Этот закон, изданный в интересах английской метрополии, и послужил первым сигналом к великим войнам за «независимость и свободу».

Но самый взрыв американской революции произошел от снижения пошлин на чай, которым Англия хотела положить конец широко распространившейся в Америке чайной контрабанде. Тогда предводитель американских чайных контрабандистов Джон Ханкук напал ночью с шайкой замаскированных сообщников на английские суда, стоящие на якоре в Бостонском порту, и потопил находящийся на них чайный груз, чтобы продать по более выгодной цене свои собственные запасы. Когда зачинщик этого своеобразного торгового маневра должен был предстать перед судом, произошло первое вооруженное столкновение. Милиция была разогнана, а Джон Ханкук освобожден и провозглашен героем свободы.

К отраслям промышленности, которые из чувства самоохранения должны были поддерживать освободительное движение, в первую очередь относились водочные заводы, пострадавшие от высоких пошлин на сахар, а также и шляпные фабрики, для которых английское законодательство становилось не менее опасным.

Так старо демберийское производство шляп. Уже больше 100 лет оно происходит все в тех же зданиях. Это все деревянные строения с прибитыми

вкривь и вкось досками. Все они выкрашены в рыжевато-красный цвет. Когда переступаешь порог такого здания, кажется, что попадаешь в тиски: крошечные комнаты или залы, вовсе лишенные света, повсюду шерсть и пыль, плохая вентиляция, плохая вытяжка паров. Люди работают в безрукавках и коротких штанах или в особом сырых помещениях — в сапогах из бараньей кожи и резиновых фартуках. Некоторые работают в коротких штанах, одетых поверх длинных изорванных кальсон, как настоящие оборванцы.

Только у Малори в меховой шляпочной фабрике имеются новые фабричные приспособления. Более того, на этом предприятии практикуется даже страхование от старости.

Тот, кто выбывает со службы, не обязан ничего возвращать и может остаться в числе застрахованных, если будет и впредь вносить свою ежемесячную лепту.

Не правда ли, как гуманно? Но в случае конфликта или при увольнении с работы обыкновенно не имеется под рукой нового места, или на новом месте жалование значительно уменьшается, а взносы попрежнему остаются высокими. Поэтому вся эта гуманная забота о рабочем на самом деле является только новым способом его закабаления.

Остальные фабриканты Дембери страхуют только свои фабрики. Они правильно рассчитали, что пожар в плохо построенных и хорошо застрахованных деревянных зданиях значительно выгоднее постройки нового дома.

Я целый день проблуждал по оживленным улицам города, посещая каждую отрасль производства. Больше всего поражает обилие вложенных в него импортных ценностей. Специальные машины все без исключения выписаны из Германии; рисовая солома перевезена из Модена или из Швейцарии, панамы и фетровые шляпы вывезены из Мантуи, а рабочая сила из Сирии, Италии и Германии.

Немцы живут в Дембери уже третьим поколением. Они основали здесь

большое общество взаимопомощи «Конкордия» с собственным домом и собственным пивоваренным заводом. Все они настроены весьма патриотично и воинственно. В немецком клубе красуется почетная доска («Honor Roll»), на которой значатся имена всех членов клуба, погибших героической смертью в мировую войну. Они сражались против Германии, но это в глазах воинственных тевтонов, повидимому, факт второстепенной важности.

Зато правление всех акционерных обществ носит в Дембери отнюдь не иностранный, а несомненно американский характер.

Прежде чем быть изготовленной, каждая мужская шляпа должна пройти не меньше чем через 36 машинных операций. Все они производятся на особых аппаратах и в специально приспособленных мастерских. Только тогда примет шляпа неизвестного джентльмена точно такой же вид, как миллион других мужских головных уборов. Фетровую шляпу нельзя попросту расправить на голове. Во-первых, этот шутовской колпак был бы впору разве больному водянкой, во-вторых, он еще тонок, влажен и непрочен. Над ним надо как следует поработать: уменьшить в объеме посредством дрожжей и винного камня, а в некоторых случаях и провальцевать или попросту сжать специальными тисками, смотря по величине требующегося размера.

А как сложна была работа, каких усилий требовали мытье, сушка, стрижка, точка, глажение, наведение блеска, окраска, начес, накрахмаливание, вшивание кожаных ободков против пота, нашивание бантов и лент (последние операции производятся в огромном помещении целой армией 70-летних старух). Потом они штампуются и отправляются по магазинам.

От всех этих трудов человечество, по нашему разумению, вполне могло бы отказаться. У него, думается, имеются более настоятельные и важные задачи. В этом легко убедиться тут же в Дембери, присматриваясь к бедным предместьям города.

## ХII. Чудеса Синг-Синга

Неизвестно, по каким соображениям позолочены тюремные ворота, ведущие из канцелярии тюрьмы в помещения для заключенных. Но они действительно почему-то позолочены. Мы вступили в золотые ворота и уже спустя несколько секунд оцепенели от ужаса.

Нам много приходилось читать и слышать об этой страшной тюрьме, но то, что всплыло перед нашими глазами, превзошло все расчеты и догадки.

Тюрьма Майн Селл Холл переименована теперь в Олд Селл Хаус.

Представьте себе прямоугольный блок длиной в 80, высотой в 10 и шириной в 5 метров.

На протяжении этих 80 метров по обеим сторонам прорублено по 75 пещер, хотя ширина всего блока, как сказано, равна 5 метрам. 10-метровая высота блока вмещает 6 этажей, и в каждом из них повторяется то же количество камер.

Не надо думать, что этот блок как-нибудь каменная глыба естественного происхождения. 100 лет тому назад она была сооружена из серого камня, и эти маленькие пещеры в ней не вырублены, а оставлены незаполненными камнем по указанию архитектора. Тюрьму строили осужденные: быть может, воры, быть может, разбойники, мошенники или убийцы. Они воздвигали ее на том самом месте Гудзонова побережья, где в свое время были обворованы, ограблены, обмануты, а потом и истреблены индейцы из племени Синг-Синга и где обворовавшие, ограбившие, обманувшие, а потом и истребившие их люди завоевали себе и своим потомкам именно этими подвигами богатство, силу, почет и уважение, а главное, право беспощадно карать преступников.

Преступники же строили себе и своим потомкам эту каменную темницу.

Они строили ее в течение трех лет (с 1825 до 1828 г., а уже 50 лет спустя, в 1878 г., постройка была объявлена непригодной и вредной для здоровья. Люди безропотно умирали здесь в

своих камерах от чахотки и злокачественного ревматизма. Но и по сей день, в сотую годовщину здания, продолжают пользоваться его 930 сырыми, низкими и узкими конурами. В них размещены 930 преступников.

Иные из них осуждены на год (это самый короткий срок в Синг-Синге), другие—на 10, на 15 лет или даже на пожизненное заключение (среди 1730 обитателей Синг-Синга насчитывается не менее 128 осужденных на пожизненное заключение. И это, не считая тех несчастных, которые ждут, пока в камерах тюрьмы наберется достаточное количество смертников, чтобы стоило ради них включить электрический ток).

Официальный размер камер: 6 фут. вышины, 3—ширины и 7—длины. Размер двери равен 18 дюймам (45 см.).

Тут помещаются складная кровать, скамейка и заключенный; ночью сюда же водворяется «параша».

Изголовье кровати упирается в перегородку, за которой находится изголовье другой кровати; ноги заключенных направлены к двери.

Нижняя часть этой двери представляет собою чугунную доску, верхняя—решетку. Эта подъемная дверь изнутри не отмыкается. Несмотря на такое устройство, она запирается снаружи сторожем на ключ. И когда все двери предусмотрительно закрыты, старший сторож задвигает перед каждаыми 75 человеческими жилищами тяжелый железный болт. Вокруг мрачного блока высятся крепкие стены дома. Этот каменный колпак несколько превосходит в размерах свое содержимое. Вдоль его внутренних стен проходит узкий коридор, по которому ходят сторожа и где каждым утром выстраивается шеренга заключенных, чтобы двинуться со своими парашами к общей помойной яме.

Умываются заключенные в коридорах, так как в камерах слишком тесно.

Во дворе находится нечто замечательное, чего, пожалуй, не увидишь ни в одной тюрьме Старого и Нового Света: это—огромная клетка с птицами. Пестрой стайей порхают, щебечут и перекликаются в ней чижи, канарейки, попугаи и даже колибри. На вопрос, поче-

му и откуда они, нам было сказано, что это подарки, присланные заключенным. Да, но почему же они тогда не размещены по камерам?

«Где, в этой старой тюрьме?—недоумевает тюремный сторож.—Не пройдет и трех дней, как они все перемрут в этой сырости. Заключенные неоднократно приручали мышей и крыс, но даже и эти неприхотливые зверьки скоро околовзали, не примирившись с тюремным воздухом».

Удивительно ли после этого, что человек, прошедший всю ночь в затхлой, застоенной веками духоте своей кельи, на утро испытывает невольную радость, выбираясь из нее: безразлично куда, хотя бы в мастерские, эти негигиеничные рабочие помещения, с давно устаревшими машинами.

В прядильной, снабжающей все больницы и богадельни Нью-Йорка чулками и бельем, происходила какая-то сутолока. Нам объяснили ее тем, что 8 дней тому назад в отделении отправок произошел пожар, чем был нарушен весь ход производства. Обувная, щеточная и матрацная мастерские, равно как и тюремная типография, также удовлетворяют всевозможные нужды страны. Здесь изготавливаются ежегодно товары на 200.000 долларов, не считая той работы, которая производится для поддержания тюремных насаждений, казенной одежды и проч. Всего тюремными мастерскими изготавливается 185 различных изделий.

Рабочий день начинается в 8 час. утра. В 12 час. заключенные выстраиваются в 2 шеренги и маршируют в столовую под веселую музыку оркестра, составленного из 12 преступников. Это—старый обычай Синг-Синга. В час работа возобновляется и продолжается до 4. Работа заключенных оплачивается полутора центами за 7-часовой рабочий день. Проект увеличения этой нищенской и глубоко-несправедливой оплаты до 10 центов покуда все еще не проведен в жизнь.

Дело не только в том, что заключенный после долголетней производственной работы покидает тюрьму совершенно нищим, но и в том, что и в

самой тюрьме он не может себе купить даже достаточного количества папирос.

Стоит заключенному закурить папироску в рабочие часы или чем-либо другим нарушить правила тюремной жизни, как его немедленно сажают в исправительную камеру. Более того, из класса А, в который автоматически попадает всякий новый заключенный, его переводят в низший разряд. Здесь он уже не имеет права принимать посетителей, для свидания с которыми ему предоставлено одно воскресенье и 4 будних дня в месяц, писать ежемесячно 5 писем (в воскресные и в один будничные день), а также использовать свой недельный заработок в размере трех долларов для покупок в тюремной лавке.

Недалеке от столовой находится бюро лиги заключенных. Всякий заключенный является ее полноправным членом. Каждые 45 заключенных избирают своего делегата, а делегаты, в свою очередь, образуют исполнительный комитет, возглавляемый избранным из их среды секретарем и прикомандированным сержантом. Последний исполняет роль распорядителя во время предствлений и игр. Лига защищает интересы заключенных перед дирекцией и вступает за провинившихся. Наличие этой организации можно с уверенностью приписать то обстоятельство, что в Синг-Синге, местопребывании самых опасных преступников, служащие и сторожа не носят при себе оружия (между тем как в остальных государственных тюрьмах САСШ сторожа и надзиратели всегда вооружены револьверами, подбабниками и волчьими лапами. Тем не менее, и эти меры предосторожности не предотвращают частых убийств, которые повторяются через определенный промежуток времени).

Команда безбола тренируется ежедневно после 4 часов пополудни на стадионе, расположенном близ берега Гудзона, от которого он отделен высокой загородкой. Только раз в год этой команде разрешается участвовать в состязании с одним из клубов Нью-Йорка, всегда побеждающим менее натренированных заключенных.

В то время как воинственная моло-

дежь состязается в безбол, более уравновешенное население тюрьмы лениво прогуливается по коридорам или читает ежедневную официальную сводку событий (политические газеты сюда не попадают).

Когда наступают вечерние сумерки, раздается сигнал «Приготовиться на ночь», и вот с парашами в руках возвращаются заключенные в свои неприглядные квартиры. Деревянные нары, которые представляют собой кровати, еще не сразу опускаются. За два часа до отбоя обитателей старой тюрьмы ежедневно ведут на киносеансы. На них они должны присутствовать независимо от того, хотят ли они или не хотят пятый раз смотреть одну и ту же фильму. Главная цель этих представлений заключается в том, чтобы не допускать заключенных до половины десятого в сырые камеры тюремного блока, так как каждое более длительное пребывание в этих каменных мешках сразу же повысило смертность в Синг-Синге. В тюремном госпитале находилось всего 26 больных. Это по преимуществу люди почти лишившиеся зрения, больные чахоткой или ревматизма с большими шишками на суставах.

Тюремная церковь разделена на 3 части: средняя для католического, левая для протестантского и правая для еврейского богослужения. Здесь происходят также службы Армии Спасения и христианского союза. Каждый заключенный может на языке своей религии услышать здесь, что милосердие господне неисчерпаемо. Он может также украдкой взглянуть на окна, через которые виднеется здание, предназначенное для смертников.

На милость божию нет надежды... Кажется, что она не может проникнуть через крепкие стены тюрьмы.

Как здесь не думать о бегстве, как не мечтать о свободе?

Но эти мечты бесплодны. На всех углах здания высятся стеклянные башни. Зорко всматриваются они в воды Гудзона и в близкие, но недоступные поля. Днем и ночью дозорным готова подмога; короткий поворот руки — и прожекторы бросятся вслед убегающей жертве; тут же раздастся тревожный

призыв к погоне. Он знаком и сторожам и заключенным хотя бы по инструкциям, развешенным на стенах здания. В случае побега, сирена в течение 10 минут издает короткие одиночные свистки; в случае же вооруженного бунта, она дает 5 тревожных свистков с интервалом в 1 секунду. «Во время тревожного сигнала все сторожа немедленно должны отправиться в кабинет старшего смотрителя и всецело подчиниться его распоряжениям».

Насколько здесь опасаются побега, видно хотя бы из следующего случая, происшедшего только прошлым летом. На расстоянии 100 шагов от береговой стены перевернулась лодка, в которой сидели за веслами мужчина и женщина. Несчастные держались еще над водой и взывали о помощи. Почти все заключенные наперерыв предлагали свои услуги и умоляли смотрителя разрешить им спасти погибающих. Но этого разрешения они не получили, и на глазах у сотен людей, готовых на самоотверженную помощь, совершилась катастрофа, которую так легко можно было бы предупредить. Недавно был найден в котельной скелет одного арестанта, который забился сюда 10 лет тому назад, чтобы при случае бежать из ненавистного ему заключения. Он умер от голода, не решаясь покинуть свое убежище и тем самым навсегда расстаться с мыслью о побеге.

Мы не сочли интересным зайти в помещение Classification Prison Clinic, комиссии, занимающейся исследованием всех уголовных преступников САСШ. Сообразуясь с возрастом, образованием и наклонностями, она подразделяет их на разные группы, указывает, куда их поместить и как воспитывать. Но куда все это только реклама. Такая же реклама, как и постройка новой 6-этажной тюрьмы рядом со старым заслуженным блоком. Большое строение с канализацией и водопроводом, проведенными в каждую камеру, уже готово. Церковь также отстраивается. Более того, недавно был произведен торжественный осмотр и возведено, что с возведением новой тюрьмы ужасам Синг-Синга приходит конец. Однако, в настоящее время в новом здании могут содержаться всего 279, много 300 зак-

люченных. Большого количества в ней поместить нельзя, и Old Cellhouse по прежнему переполнен заключенными. Попрежнему свидетельствует об отвратительной действительности вместо того, чтобы служить ужасающим напоминанием о навсегда отошедшем прошлом (как служат им теперь казематы Петропавловской крепости).

Но пойдете дальше. Взгляните на это прекрасное новое кирпичное здание. Оно обошлось государству в 30.000 долларов и вполне оправдало такую крупную затрату. Официально оно именуется Condemned Cells, но обитатели Синг-Синга зовут его бойней.

В нем имеются 29 камер, предназначенных для осужденных на смерть: дюжина для мужчин (из них 3 камеры были заняты), ¼ дюжины для женщин, полдюжины для больных (казнить больного не разрешает судебная этика) и такое же количество так называемых «камер последних минут» (за ними же укрепилось название танцевальных зал). Сюда приводят осужденного только в день его казни. Потом он покидает и эту камеру и по светлому коридору направляется в помещение, которое и тюремные сторожа предпочитают называть: «там, в конце здания».

Здесь, государи мои, вы увидите знаменитый стул, связующий дух средневековья с величайшим изобретением современности.

На этом стуле—ха-ха! вы можете вполне спокойно на него присесть: ток еще не пущен—пересидело уже немало народа. 213 смертных приговоров приведено в исполнение в Синг-Синге с тех пор, как в этой же самой тюрьме 7 июня 1891 г. был казнен помощью электрического тока некий Гарри Смитлер.

Среди казненных был даже один слепой и двое безногих (из которых один завещал свою искусственную ногу особо наскучившему ему репортеру с добрым пожеланием, чтобы она ему поскорее пригодилась). Из женщин запомнились мне имена миссис Стайдер, казенной здесь несколько месяцев тому назад вместе с ее возлюбленным, а также мужеубийцы Ма-

рия Шлейс, сказочная красота которой покорила не одно мужское сердце. Здесь же были казнены братья Моррис и Иосиф Диамод и их сообщник Джованни Форина, убившие двух кассиров банка и похитившие 44.000 долларов; один немецкий пастор и, наконец, сам префект нью-йоркской полиции господин Чарльз Беккер с 4 наемными убийцами, которые 13 июля 1913 г. по его указанию отправили на тот свет председателя игорного клуба г-на Розенталя. Дело в том, что последний имел неосторожность клятвенно утверждать на страницах утренней газеты «World» будто г-н префект полиции получает 20 проц. с валового дохода от запрещенных азартных игр.

Казнь обычно производится по четвергам в 11 час. ночи. Осужденных усаживают на стул точно так же, как вы на нем сейчас сидите. Вы видите эти ремни. Они туго затягиваются вокруг его грудной клетки; а вот эти поменьше охватывают его руки и ноги. Вся работа выполняется очень быстро тремя опытными тюремными сторожами. С такой же быстротой прикрепляется контакт к правой ноге осужденного. Другой контакт водворяется на его затылок, выбритый еще только этим утром. Лицо накрывается кожаной маской, пропитанной солевой водой.

Потом тюремный врач д-р Свит подает условный знак человеку, находящемуся здесь же, в смежной комнате.

Это мистер Роберт Эллион из Лонг-Айленда. За каждую казнь он получает хороший куш денег—150 долларов за 1 поворот выключателя. Он обслуживает тюрьмы целого ряда штатов, а стало быть, не может пожаловаться на малую практику. От его рук погибли также Сакко и Ванцетти. Впрочем, это была невыгодная сделка, так как несколько месяцев спустя в его дом была брошена бомба, уничтожившая немалую часть его «трудового» имущества.

Работа палача совсем не утомительна. Нужно только опустить этот маленький рычаг, после чего образуется ток в 2.000 вольт. Потом д-р Свит дает

вторичный знак, и мистер Эллион его выключает.

Что это изобретение? Что, как не этого старого волшебника Эдиссона. Государство же заинтересовалось этим изобретением, убежденное красноречивыми данными ожесточенной схватки двух конкурирующих фирм.

В 80-х годах Эдиссон изобрел электрическое освещение посредством слабого тока; Вестингауз же предложил более дешевое освещение, пользуясь сильным переменным током.

Боясь конкуренции, компания Эдиссона обратила внимание общества на опасность, грозящую от сильного тока, одно прикосновение к которому смертельно, и настаивало на полном запрещении вестингаузовского изобретения. С этой целью был командирован в Альбени — столицу Нью-Йоркского штата — некий Гарольд Браун. Этот ревностный поборник эдиссоновских интересов произвел там публичную демонстрацию, как от одного прикосновения к опасному аппарату Вестингауза мгновенно околевают лошади, собаки, кошки и кролики. В конце концов, компания Эдиссона добилась того, что официальным распоряжением правительства было запрещено производить казни посредством виселицы и вместо того введена казнь помощью электрического тока. Чем и была доказана опасность изобретения Вестингауза.

После казни труп осужденного выносят в анатомический зал, где врачи по всем правилам науки устанавливают, что сделалось в течение двух минут с живым здоровым человеком.

Рядом же, милостивые государи, находится морг с 6 опрятными полками. Вы спрашиваете, что это за маленький ящик? Милостивые государи, это — гроб осужденного. Если родственники покойного не заинтересованы его трупом, то хоронят его тут же, у тюремной стены, без могильного камня и указания имени.

Это все, что вы можете увидеть в Синг-Синге. А теперь я посоветую вам взглянуть на величественный Гудзон, как бы играющий в мяч со сверкающими опалами, в час, когда солнце за-

ходит за величественную изгородь скал и озаренных лесов, а кругом все дышит спокойствием и свободой. Какое счастье жить на свете!

### ХIII. Нью-иоркские изготовители одежды

На вечер «Thanksgivingday» (Благодарственного дня), американского национального праздника, было назначено в Вепстерхолле общее собрание изготовителей одежды.

Один из входов в Вепстерхолле был торжественно освещен и вел на бал, устроенный в ознаменование Благодарственного дня группой молодых торговцев и приказчиков. В эту разукрашенную дверь я и вошел по ошибке. А так как собрание должно было начаться только через час, то я решил переждать это время здесь в передней. Не я один ошибся дверью. От времени до времени входили сюда не побальному одетые люди и спрашивали о собрании изготовителей одежды. В ответ они получали указание, что оно должно состояться в соседнем помещении.

Этот стереотипный ответ произносился обычно насмешливым голосом, и, когда вопрошающий поспешно выходил из декорированного вестибюля, за его спиной раздавались шутки и замечания приказчиков, обычно сопровождавшиеся комичными гримасами и жестикующей. В этих выходках, собственно, не было ничего злого. В них попросту сказывалось то самоуверенное непонимание всего пролетарского движения, которое так обычно для большинства американцев, то вкоренившееся в них убеждение, согласно которому борьба за повышение заработной платы считается бессмысленной затеей. «Наш рабочий имеет свой автомобиль, свое радио и больше ни в чем не нуждается». Таково мнение сто процентного американца, особенно, если он имеет повод скрывать в себе сто процентного европейца.

Полчаса спустя уже никто не ошибался дверью. Улица была запружена толпой, стремящейся на митинг. На



собрание изготовителей одежды никто не приехал ни в собственном, ни даже вообще в автомобиле, и как-то не походило на то, чтобы у пришедших сюда был где-то «дом с радио»; не подтвердилось также всем ходом оживленного митинга, что они «больше ни в чем не нуждаются».

Это был странный митинг по европейским понятиям. Доклад был сделан на английском языке. Но уже непосредственно после докладчика выступил оппонент, заговоривший на итальянском наречии. И никто этому не удивлялся. Он говорил долго и страстно, защищая анархическую точку зрения. Ему резко возражал другой рабочий на еврейском жаргоне, которого потом поддержала немецкая работница. Тут происходили споры, прения и острая полемика на всех наречиях мира. Чаще всего раздавалась еврейская речь. Это объясняется тем, что тяжелый труд рабочего игольных фабрик производится большей частью русскими и польскими евреями. Ими же выдвигается социал-демократическая «Форвертс» и коммунистическая «Фрейхейт». Они же являются носителями коммунистической идеи и в значительной степени руководят партийными организациями. Пользуясь этим обстоятельством, предприниматели стараются сыграть на антисемитских инстинктах рабочих христианских вероисповеданий, что им отчасти и удается.

Как ни разноречивы были политические убеждения ораторов и слушателей этого собрания, но во всех их речах сказывалась одна общая нота, нота крайнего отчаяния и безнадежности. Причины такого настроения здесь же открыто обсуждались. В 1921 г. закрылись после подавления очередной забастовки почти все женские пошивочные мастерские. В связи с этим отменена и 40-часовая рабочая неделя; многие портные вынуждены работать по 60, 70 и даже 80 часов, часто посвящая работе даже субботние вечера и воскресенья. Оплата трудовой недели почти повсюду заменена поштучной оплатой. Заработная плата понизилась на 50—60 проц. Касса взаимопомощи, еще в прошлом году насчитывавшая миллион долларов, ликвидирована во-

все, в то время как безработица по-прежнему огромна.

Кто не ограничивается наблюдениями элегантною 5 Авеню, великолепного Бродвея и подвижного Вельстрита, тот скоро обнаружит огромную армию безработных.

Там, где 7 Авеню пересекает 36, 37 и 38 улицы, никогда не перестают предлагать свой труд всевозможные изготовители одежды. Старые портные из Галиции, Буковины, Украины и бывшего царства Польского, 40 лет тому назад перебравшиеся сюда через океан, мечтая, надеясь и творя молитвы, теперь стоят на этих перекрестках, все так же надеясь, мечтая и молясь богу, чтобы хотя сегодня получить заработок на неделю, на день даже, наконец, просто маленькую работу по починке или закройке дюжины шелковых подкладок...

Многие выкрасили свои поседевшие волосы и бороды в густо-черный цвет, чтобы показаться работодателю помоложе. Напрасный труд. Это только трагическая иллюстрация к анекдоту о старом еврее, который, прикрывши обеими руками свою бороду, требовал выдачи студенческого билета. На перекрестках 6 Авеню, там, где проходят 27, 28 и 29 улицы, стоят скорняки и закройщики, надеясь на счастье, куда реже выпадающее здесь, на бирже труда, чем на бирже расторопных спекулянтов.

Витрины меховых магазинов, в которые с жадностью всматриваются безработные скорняки, ничем не отличаются от таких же витрин в Лейпциге. Те же коричневые медвежьи шкуры, те же серебристые песцы и антилопы с белыми крапинками, те же бобры и черный каракуль.

Зато магазины готового платья ничем не напоминают солидных патриархальных предприятий, разместившихся на берлинской Гаузельштрассе. В Нью-Йорке все торговые помещения и торговые вывески стандартизированы. В каждом небоскребе 7 Авеню вы можете несчетное количество раз прочесть за разными именами одни и те же вывески: «Портной. Костюмы и верхняя одежда». Те же вывески повторяются на всех мрачных домах

мрачных улиц Нью-Йорка, которые становятся все мрачнее по мере того, как удаляются на восток или запад.

Здесь под'емные машины ничем не напоминают легких эlegantных лифтов, с которыми вы знакомы по изящным жилым домам, отелям, банкам и государственным учреждениям. В них не увидите вы ни дорогой деревянной обшивки, ни мягких штофных сидений, ни великолепной ливреи, одетой на плечи величавого проводника.

Такая под'емная машина подымает 10—15 человек. Сюда же погружаются по крайней мере две железные тачки с манекеном, с целой кучей накинутаго на них готового платья. Все мастерские,—безразлично, принадлежали ли они богатому фабриканту, пользующемуся трудом целой сотни рабочих (по преимуществу итальянцами и неграми), или бедному портному с 12 евреями-подмастерьями, изготавливают ли они дамское или мужское платье, гражданскую или военную одежду,—почти во всем повторяют друг друга. Вдоль окон поставлены широкие столы для закройки, на которых лежат куски материи и выкройки. В маленьких мастерских закройка производится помощью ножниц, в больших—посредством электрического аппарата, зараз выкраивающего тридцать костюмов из различного материала, но одинаковых по величине и фасону. Внутри этой рамы из закроечных столов сидят мужчины и женщины, шьют на машинках, мечут петли и пришивают пуговицы. По проводам проходит большой электрический пресс, снабженный 30 утюгами. Старшие мастера внимательно осматривают уже готовые и одетые на манекены костюмы. Под ногами во всей мастерской валяются мягкие обрезки материи.

#### XIV. Тюрьма на острове Ист-Ривер

Городской трамвай останавливается по требованию посредине Квинсбургского моста. Здесь же, на расстоянии полукилометра от обоих берегов, останавливаются и арестантские кареты. Здесь арестанты должны сходить. К чему бы это? Намерены ли их столкнуть в воду, или они сами выразили желание бро-

ситься в нее? Нет, их не сталкивают в воду, и они вовсе не намерены покончить с своим земным существованием. Следовательно, отсюда ведет какая-нибудь дорога? Вы совершенно правы, здесь имеется дорога, но она проложена вертикально. Глубоко вниз спускается под'емная машина и останавливается на прекрасном, утопающем в зелени острове

Этот великолепный остров носил раньше название Блеквел-Айленд. Теперь он переименован в Вельвер-Айленд, что значит Остров Благоденствия. Прекрасным можно назвать этот остров потому, что, расположенный посредине Нью-Йорка, между Мэнгэттаном и Лонг-Айлендом, он все же далек от сутолоки, опасного движения и грохота городской жизни. На нем имеются большие лужайки и отличные здания, свободно раскинувшиеся среди цветников и густых насаждений. Прекрасен он и тем, что с его тихих берегов можно любоваться чудесными иллюстрациями к сказочной книге, имя которой «Нью-Йоркский порт».

Остров Благоденствия не только прекрасен, но и обширен: если бы можно было продолжить 46 улицу, проложив ее по воде, то она соприкасалась бы с южным мысом острова, тогда как северная его конечность упиралась бы в такое же продолжение 86 улицы. Расстояние между этими двумя улицами равняется 3 километрам.

Если бы постройки располагались здесь так же густо, как на деловом острове Лонг-Айленд, то было бы вполне возможным уместить на его территории потребное количество ночлежек, бесплатных кухонь и богаделен, для которых никак не могут отыскать место все эти кухни «Мистера Церо», «Общество миссионеров», «Армия Спасения» и проч. богоугодные учреждения Нью-Йорка. Тысячи бедняков таким образом были бы пристроены. Красота острова от этого, разумеется, не увеличилась бы, но ведь не пощадили ее и в других районах Нью-Йорка.

На острове имеется мужская тюрьма. Это—великолепная, несколько приземистая, но тем не менее отнюдь не низкая постройка из темного гранита, с рядом больших итальянских окон. Пе-

ред строгим фасадом этого здания находится большая лужайка, отделенная от улицы проволочным заграждением. Часовой то и дело напоминает прохожим о недопустимости проходить около самой изгороди и настоятельно просит их перейти на противоположную сторону улицы. Через решетку ворот мы протянули стражнику пропуск, выданный нам департаментом полиции. Ворота распахнулись. Вслед за ними распахнулись и двери тюремной канцелярии. Мы вошли в залу, в которой на длинных скамейках сидело около 60 человек в ожидании приговора. Только в тюрьме узнают осужденные, сколько дней, месяцев или лет им придется пробыть в заключении. В судебной зале окончательный приговор не оглашается. Среди ожидающих много негров. Как в Томсе, государственной тюрьме Нью-Йорка, так и в этой мужской тюрьме половину заключенных составляют чернокожие. Это огромный процент. Но объясняется он не столько преступностью негритянского населения, сколько просто тем, что с черным дьяволом считаются еще меньше, чем с беднотой белых граждан свободной Америки.

Мы вышли на угольный двор, который обслуживается одними чернокожими, занятыми здесь перевозкой и нагрузкой угля. Это самая трудная тюремная работа. Официально рабочий день заключенного длится  $5\frac{1}{2}$  часов (с 8 до  $10\frac{1}{2}$  и с 1 до  $3\frac{1}{4}$ ). Но так как привоз угля ограничен только для мастерских, но не для освещения и отопления тюремных зданий, то и приходится неграм отрабатывать свои «сверхурочные». Это название звучит здесь весьма иронично, так как вся работа заключенных производится безвозмездно.

Даже то крошечное вознаграждение, которое выплачивается во всех тюрьмах Европы, им не отпускается богатой Америкой. В России заключенные получают такое же вознаграждение, как и находящиеся на свободе, что вовсе еще не нарушает тюремных порядков и не побуждает преступника менее серьезно относиться к понесенному наказанию или даже (как говорят ученые юристы) желать его.

Во дворе нью-йоркской тюрьмы мы видим отстраивающийся гараж. Рядом расположены склад для автомобильных частей и столярная мастерская, в которой изготавливаются оконные рамы и мебель. В старом здании гаража идут починка и покраска колясок. Кроме того, имеются здесь электр. лаборатория и ряд мастерских, изготавливающих замки и ключи и разные другие железные изделия. В прачечной производится не только стирка белья, но и варка мыла. В пекарне, где ежедневно выпекается 5.000 хлебов весом в 10.000 фунтов, и в кухне, где готовится пища на 1.500—2.000 человек, работают исключительно испанцы, итальянцы и малайцы. Все это производится людьми, которые в свое время совершили преступление и теперь обязаны работать не покладая рук. Каждый работает по своей специальности, которой обучился еще на свободе. В этой тюрьме, где срок заключения длится от 3 дней до 3 лет и откуда, следовательно, заключенный снова возвращается к свободной жизни, не имеется мастерских, где бы он мог обучиться какому-нибудь полезному ремеслу. Кто не знает никакого ремесла или чья специальность не предусмотрена тюремным начальством, либо остается без всякой работы, либо применяется в качестве уборщика.

Как же, спросит читатель, выпускают заключенного на свободу? Невозможно же его выбрасывать совсем без средств на улицу. Это действительно невозможно, и потому заключенному, покидающему тюрьму, выдается, кроме костюма, еще 25 центов. Что ему предпринять, чтобы к вечеру счастливого дня своего освобождения не вернуться сюда обратно, это уже не касается судебного ведомства. Иностранец же при выходе из тюрьмы не получает и этой положенной четверти доллара. Отбыв срок своего заключения, он отправляется на родину, а стало-быть и не нуждается в деньгах.

Так как речь зашла о мастерских, то следовало бы еще упомянуть о своеобразном штате, обслуживающем прачечные, гладильни и мыловарни. Вошедши в такую мастерскую, мы остановились в глубоком недоумении. Сначала мы подумали, что это женщины.

ны, но потом оказалось, что это только молодые парни с длинными локонами, кружевными сорочками и подведенными бровями над глазами, часто определяющими весь грядущий путь человека.

Прачечная, как известно, общепризнанный притон гомосексуалистов. Не только в шарядах, но и в устройстве своих камер они подражают девичьим привычкам, хотя картинки с изображением мужеложеских актов обычно и не встречаются над постелями молодых девиц.

И другие обитатели тюрьмы устраиваются иногда в своих камерах по вкусу, наиболее им близкому. Они застилают кровати чистым бельем и вышитым цветным одеялом, на стене развешивают портреты жены и ребенка, к лампе прикрепляют абажур, скамейку рядом с изголовьем кровати превращают в ночной столик и создают полную иллюзию домашнего очага. Только параша нарушает эту мирную идиллию. Камера так мала, что постель отделяется от противоположной стены всего 30 сантиметрами. Ни стола, ни умывальника здесь поставить нельзя. Все умываются в коридорах.

Камеры заключенных закрываются решетчатыми дверками и образуют большую четырехэтажную клетку, напоминающую своим видом о пойманных диких зверях. А вокруг стен и над крышей этого прозрачного блока высятся гранитовые стены большого барского особняка... Все оказалось только архитектурным трюком и маскарадом.

В старом павильоне размещены 247 заключенных, в северном—556, в западном—221, южном—213, в общей спальне рабочего дома—237 и в изоляторах для злостных насильников — 13 (все это молодые негры, как ни странно, очень добродушного вида); наконец, в госпитале, куда стремятся все заключенные, потому что только здесь получаешь хорошую еду и слышишь радио, в день нашего посещения находилось 47 больных.

Писать письма разрешено заключенным сколько угодно. Каждые две недели они могут также принимать своих близких. Свидания происходят у задней стены тюремной церкви, на лу-

жайке, отделенной от улицы проволочными заграждениями. Но иногда случается встретить влюбленную парочку и внутри самой церкви. Вам тут же сообщат, что они имеют на то особое разрешение.

Каждый новый заключенный получает казенное белье и одежду. Зал переодевания представляет собою довольно неприглядную картину. Здесь сбрасывают с себя лохмотья старые нищие, здесь снимают свои хорошие костюмы молодые люди; они стоят обнаженными в ожидании новой, казенной одежды, которая тут же лежит большой неопрятной кучей. Белье перештопано и вновь разорвано в поске. Каждый заключенный бесплатно получает неограниченное количество хлеба. Если у него есть деньги, он может столоваться в гостинице—за три доллара двадцать центов в неделю. Кроме того, в тюрьме имеется также и бесплатная столовая: по утрам—белый кофе, к обеду—суп, мясо, картошка и овощи. «Еда совершенно несъедобна; мясо воняет на расстоянии 10 метров и почти никто к нему не прикасается». Это мне объявил первый же заключенный, в камеру которого я вошел. Чтобы сторожа его не поняли, он произнес это на немецком языке. Он оказался студентом из Дортмунда. Покинув своих родителей, он приписал в Америке на одном из денежных переводов в один доллар лишний нолик. Подделка была оценена уголовным судом в 4.866 марок. Так как за каждый день, спокойно проведенный в тюремной камере, скидывается с общей суммы 13 марок, то срок его заключения определился в один год. Через несколько дней должно состояться его освобождение, к великой радости неосторожного юноши.

Мне показалось неправдоподобным, чтобы в богатом Нью-Йорке заключенных кормили тухлым мясом. Поэтому я спросил еще одного русского и одного чеха, как они относятся к тюремной пище. «Мы ее не едим. Мы едим только хлеб. Он хорош. Мясо же и овощи всегда воняют».

Тогда я попросил показать мне кладовую. Там стоял ужасный запах, и мясики вопрошающе всматривались в мое лицо.

На другом конце острова находится женская тюрьма. Женские тюрьмы всегда производят особенно удручающее впечатление. Никогда мужчина не опускается до такой степени, лишившись женского общества, как это делают женщины, лишившись мужского. Особенно отталкивающе действуют праздные проститутки. Здесь их очень много, и белых и чернокожих; часто это сифилитички или морфинистки и кокаинистки.

В общей камере я заметил несколько негритянских девочек лет двенадцати или даже десяти.

— Разве сюда принимают детей?

*(Продолжение следует)*

### 3. ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ФАШИЗМ Г. Сандомирский

Мировая литература послевоенного периода знает ряд совершенно исключительных по своему содержанию книг, которым суждено навсегда остаться документами, свидетельствующими о непревзойденной человеческой жестокости. К их числу принадлежит книга, изданная германским антимилитаристом Фридрихом, в которой ему удалось собрать богатейшую коллекцию иллюстраций, воспроизводящих изуродованные до неузнаваемости тела и лица несчастных «героев войны», «Книга смерти» Лекаша, посвященная ужасам петлюровских погромов на Украине, книга Белгосиздата о зверствах героев пилсудчины в западной Белоруссии, и т. д.

Но все эти книги не похожи на ту, которая сейчас лежит перед нами. После того, как прочтешь ее, трудно прикоснуться к ней, кажется, что все страницы ее густо напитаны еще горячей человеческой кровью.

Ужас удваивается при мысли, что книга эта и описанные в ней факты никакого отношения к мировой войне не имеют; следовательно, не приходится утешаться мыслью о том, что беспредельное человеческое одичание, запечатленное в ней, является продуктом ожесточения нравов, вызываемых каждой войной. Напротив, местом действия является одна из далеких стран

— Нет. Если бы они честно сознались, что они еще несовершеннолетние, то их отправили бы в Бедфордский исправительный дом для малолетних преступников. Здесь же за то же самое преступление они просидят всего шесть месяцев. Вот почему они и говорят, что им уже больше 16 лет. Кто может проверить их показания?

Таков Остров Благоденствия, единственный сказочный остров, расположенный посреди шумного Нью-Йорка.

Нью-Йорк.

*Перевод с рукописи*

*Вильяма Вильмона*

Латинской Америки, сохранявшая во время мировой войны самый строгий нейтралитет. Речь идет о Венесуэле, злополучнейшей из всех стран мира, в которой фашизм воцарился уже 14 лет тому назад в его самой отвратительной, экзотической форме.

Мировая война и последовавшая за ней Октябрьская революция еще более отдалили Советский Союз от экзотических стран Центральной и Южной Америки, с которыми мы и раньше были не особенно тесно связаны. Все же до войны кое-какие сведения откуда-то доходили до нас. Из царской России шла усиленная эмиграция в Аргентину и Бразилию,—и некоторые нити все же протягивались между нашим континентом и отдаленными странами Латинской Америки. Эта связь была уничтожена мировой войной. Официальные нити связывают Советский Союз только с Мексикой. В связи с этим на нашем книжном рынке уже появилось несколько книг о Мексике. События, происходящие в этой стране, вообще, за последнее время привлекают к себе общественное мнение всего мира, который с неослабным вниманием следит за борьбой между католической реакцией и светскими партиями Мексики. Конечно, это внимание сосредоточено не столько на нескончаемых революциях, ареной которых является

Мексика, сколько на той борьбе чужеземных влияний, которая скрывается за всеми этими внешними столкновениями. Кроме того, Мексика является страной, по размерам своих нефтяных богатств занимающей едва ли не второе место во всем мире. А мы знаем, что один запах нефти вызывает к жизни самую свирепую междоусобную войну в стане империалистов. Неудивительно, что Мексика стала ареной таких вооруженных столкновений, за какими следит весь мир.

Но мы зато очень мало знаем о внутренней политической жизни целого ряда экзотических республик той же Южной Америки, и только за последнее время, параллельно с укреплением наших внешних связей, нарушенных войной, интервенцией и блокадой, к нам начинают просачиваться сведения о событиях в этих странах. Мы узнаем, что Венесуэла, Чили, Аргентина, Парагвай служат ареной самой жестокой реакции. Президентские выборы этого года в ряде экзотических стран прошли под знаком самого лютого соревнования различных политических партий,— и во многих из них реакция победила... Само собой разумеется, за борющимися сторонами стоят соперничающие между собой иностранные империалисты, заинтересованные в эксплуатации туземных естественных богатств. Самой сильной из борющихся сторон являются САСШ, влияние которых в республиках Южной Америки почти беспредельно. С ними ведут борьбу—с переменным и, большей частью, сомнительным успехом—англичане, которые, однако, большой популярностью в Южной Америке не пользуются.

Что касается итальянского и испанского империализмов, то они, не рискуя противоборствовать за янки и даже с англичанами, во всех этих странах поддерживают крайнюю реакцию. Проникновение итальянского и испанского влияния в эти страны все усиливается под флагом испано-итальянского фашизма. Тесно переплетаясь с туземно-реакционными элементами, испано-итальянский фашизм умеет, путем сговора с англичанами или янки,

обеспечить свое влияние во внутренних делах этих стран. Стоит вспомнить, с каким волнением следила в этом году французская пресса Италии и Испании за исходом выборов в ряде стран Латинской Америки. Большинство статей фашистских органов носило характер прямого вмешательства во внутренние дела этих стран.

Поистине самой несчастной страной во всем мире сейчас является Венесуэла, страна, в которой жизнь могла бы быть прекрасной среди окружающей природы и ее естественных богатств. Трудно представить себе, во что превратил эту страну так называемый «экзотический» фашизм.

Тут уместно поставить вопрос, что мы, собственно, понимаем под экзотическим фашизмом и чем он отличается от фашизма в его европейском понимании?

Италия и Испания всегда пользовались огромным культурным влиянием в странах Центральной и Южной Америки. На время войны влияние Италии значительно ослабло. В то время как Италия связала свою судьбу с судьбой Большой Антанты, ни одна из стран Южной Америки не пожелала вмешиваться в империалистическую войну из-за чуждых им европейских интересов. Соответственно возросло зато влияние Испании, которая, как известно, занимала во время войны позицию «благожелательного нейтралитета»,—т.е. попеременно обращалась лицом то к Антанте, то к странам Четверного Соглашения. Такую же позицию заняло большинство экзотических стран Южной Америки.

Но зато после войны вновь возросло «культурное» влияние Италии. Подобно тому, как некогда итало-испанские миссионеры принесли сюда семена католической религии, правящие классы Венесуэлы и прочих государств стали импортировать в свое отечество идеи фашизма. Но в то время как в Италии и Испании фашизм с течением времени приобрел форму государственной системы, со своими попытками (довольно неуклюжими)

разрешения рабочего вопроса путем учреждения корпоративно-синдикального строя,—фашизм в Венецуэле и ряде других стран Южной Америки выродился в форму неограниченной деспотической власти чисто «патриархального» характера.

Фашизм, господствующий сейчас в Венецуэле, возродил к жизни режим тирании первых конквистадоров.

Да, тени таких жестоких конквистадоров, как Пизарро, вновь возродились на орошенной потоками крови территории экзотических республик с той только разницей, что современные Пизарро ведут кровопролитные войны не с инками и не с краснокожими, а с собственными земляками, у которых они отвоевывают вместе с властью и право полного распоряжения их жизнью и их благосостоянием. Экзотический фашизм—это не государственный строй, устанавливающий те или иные политические взаимоотношения классов или групп в данной стране. Как ни странно, именно здесь фашизму удастся провести в жизнь свою «внеклассовую» программу, но—каким путем! Единичной воле тирана подчиняются—без различия классов, сословий и полов—все граждане, жизнь которых целиком принадлежит ему без всякого контроля и ограничения. При таком режиме смешно говорить о суверенности народа, о конституционных правах и т. д. Целая страна превращается в один темный чулан, куда не проникает ни один луч света, ни малейшая надежда на спасение.

Вот почему в Венецуэле местный, патриархальный фашизм носит название «гомесизма», по имени генерала Гомеса, бессменного кровавого тирана.

Кто такой генерал Гомес, тот, кто в писаниях заокеанских публицистов левобуржуазного толка носит теперь кличку «Нерона XX века»? Лежащая перед нами книга венецуэльского писателя-эмигранта Хосе Покатерра, озаглавленная: «Тирания в Венецуэле»

(«Гомес—позор Америки») <sup>1)</sup> дает полное и яркое представление об этом, действительно, исключительном тиране нашего времени. Пожалуй, в истории средневековья не найдешь ему равных. Как и большинство южно-американских «генералов», Гомес сам присвоил себе это звание, не только не проявив никаких чудес храбрости, а, напротив, оставаясь в душе самым подлым и презренным трусом. Он происходит из тех зажиточных слоев венецуэльского крестьянства, которые, живя вблизи Каракаса (столица Венецуэлы), поняли, что политика—при благоприятных условиях—может стать выгодной профессией. Правит он Венецуэлой уже в течение двадцати лет, при чем сначала он был бессменным президентом Венецуэлы, а когда это надоело ему, приказал стране избрать того президента, которого он ей укажет. Это—родной брат его. Вообще, в ближайшем управлении Венецуэлой принимает самое деятельное участие вся семья генерала Гомеса, получившая от тирана соответствующие «уделы».

Вот в каких выражениях сам Гомес рассказал о своих намерениях во время президентских выборов одному из своих ближайших друзей, Дельград-Шальбо, которого он впоследствии заточил в тюрьму... на 14 лет:

«Видите ли, как я вам уже сказал, я не намерен оставаться президентом на вечные времена. Но вы понимаете, что конгресс принадлежит мне, и он выберет того, кого я укажу ему. До тех пор, покуда выборы еще не назначены, не стоит этим вопросом заниматься. Для всеобщего спокойствия в Венецуэле нужно одно: не говорить ни о политике, ни о кандидатурах и, кроме того, нужно, чтобы газеты не печатали никаких глупостей. Когда настанет день выборов, страна узнает, кто является моим кандидатом. Пусть сейчас никто не занимается этим вопросом: в назначенный день я призову «Петра» и скажу ему: «Отправляйтесь—

<sup>1)</sup> Jose Rafael Pocaterra: | La Tyrannie au Venezuela. — Gomez, la Honte de l'Amérique. (Fragments des „Memoires d'un Vénézuélien de la décadence“). — Paris, 1928.

ка на конгресс с этим клочком бумаги, который, в сущности, является приказом о вашем избрании президентом». И «Петр» отправится с этим приказом. Но так как возможно, что в это время я замечу на лице «Петра» выражение, которое мне почему-либо не понравится, тогда я позову «Жана» и скажу ему: «Отправляйтесь-ка на конгресс и заявите там, что «Петр» больше не является моим кандидатом, а что выбрать нужно вас. И, конечно, его выберут»...

В этом самом Дельградо-Шальбо, богатом пароходоладельце, человеке, выполнявшем за границей крупные финансовые поручения самого Гомеса, в результате этой беседы с Гомесом проснулось гражданское чувство. Он переговорил со своими друзьями, но, не успели они оформить организацию заговора, как Дельградо-Шальбо, «друг президента», очутился в знаменитой политической тюрьме Каракаса «Ротонде», где он провел без всякого суда и следствия 14 лет, закованный в особые венецуэльские кандалы, весом свыше 2-х пудов. Его жена и дети, жившие неподалеку от страшной тюрьмы, не знали, куда он девался. Они могли догадываться лишь о том, что он в лапах тирана Гомеса. Посадив Дельградо в Ротонду, генерал Гомес с первого же дня решил путем насилия и шантажа завладеть всем его имуществом. Дельградо-Шальбо не давали есть и пить в течение нескольких дней. Родной брат Гомеса или кто-либо другой из его семьи являлся к Дельградо в камеру и говорил ему: «Подпиши чек на пять тысяч долларов, и тебе дадут стакан воды». Он подписывал, и ему давали пить. Через несколько дней повторялось то же самое. Постепенно все имущество узника перешло к его палачам. Братья, сестры и племянники тирана распределили между собой его земли и открыто владеют ими и сейчас.

В страшной Ротонде, ужасы которой превосходят картины Дантова ада, Дельградо-Шальбо провел 14 лет с двухпудовыми цепями на ногах, и только в 1927 году он был освобожден с условием немедленно покинуть Вене-

цуэлу. Сейчас он в Париже, откуда помогает своим землякам — венецуэльским эмигрантам, ведущим энергичную кампанию против тирании Гомеса в прессе обоих полушарий. Он же собрал много материалов о венецуэльской инквизиции и все тайны Ротонды писателю Хозе Покатерра, который сам провел в Ротонде три года, после чего ему удалось вырваться в Канаду, где он и написал свои мемуары. Часть из них вошла в цитируемую нами кровавую повесть о тирании Гомеса.

Замечательно, что ни Дельградо-Шальбо, ни Покатерра не принадлежат даже к умеренным революционерам. Из их писаний видно, что оба они — умеренные либералы, уважающие собственность и капитал, «люди хорошего общества», даже после всех невероятных испытаний, выпавших на их долю, не потерявшие веры в «демократию». Их главный и единственный грех в том, что они стоят на почве конституционных «свобод» Венецуэлы и требуют законных перевыборов президента. Но тирания Гомеса такова, что даже у этих восторженных сторонников порядка, законности и конституционных гарантий он вызывает настолько сильное чувство мести, что и они не могут удержаться от призывов к террору. Предоставим слово Покатерре для характеристики нынешнего режима в Венецуэле:

«Личный режим Гомеса превратил Венецуэлу в каторжную тюрьму или в пенитенциарную колонию. Вы можете быть за Гомеса или против него, но вы все же не выйдете из душных объятий возведенных им стен и не уйдете от его взглядов. На каждом шагу вас подстерегают его цепные псы, и со всех сторон на вас направлены лезвия кинжалов. На протяжении 300 лье живут 2½ милл. венецуэльцев под гнетом его личной тирании и тирании его сбирав. Пленником вы остаетесь в страшной Ротонде, таким же пленником вы чувствуете себя и в президентском замке Мирафлорес. Вся страна делится на открытую и запертую тюрьмы. Разница только во внешней обстановке. Заслужив милость тирана, вы можете



занимать любые посты, но через день вы можете очутиться в сыром каменном мешке, во власти всепожирающих насекомых, одержимый схватками дезинтерии, или работать, как средневековые рабы, на постройке шоссеиных дорог под градом сыплющихся на вас ударов и погибая от солнечного зноя. В общем все население Венецуэлы живет под непрекращающимся страхом, с сердцами, исполненными гнева и ненависти,—в ожидании того дня, когда наступит расплата и для Гомеса.

... Не удивительно ли, что мысль о мести приходит в голову всем? В самом деле, разве семья генерала Гомеса отличается чем-либо от шайки бандитов, которые, приставив свои пистолеты к груди несчастной жертвы, заставляют ее поднять руки вверх, а сами в это время шарят в ее карманах? Этой жертвой ведь является Венецуэла. Неужели можно назвать изменой или преступлением жест того человека, который постарается сшибить с ног бандитов, закрыв дверь и позвав на помощь...».

Мрачные видения Шлиссельбургской крепости, Петропавловских казематов, каторжные центры Сибири,—все это бледнеет и ступшевается в памяти, уступая место ужасам Ротонды. В книге Покатерры имеются рисунки двухпудовых цепей,—изобретение, которым может гордиться тиран Гомес. В Ротонде они не снимаются даже с парализованных. Вспомним о том, что даже при царизме каждому сроку каторги соответствовал определенный кандалный срок: при 8 годах каторги — 1½, при 15—2, при 20—4 года кандалного срока. В свободной республике Венецуэле политические узники, попавшие в Ротонду без всякого суда и следствия, носят кандалы в течение всего срока заключения. Узники Ротонды находятся в полной власти уголовных преступников, которых назначают начальниками тюрьмы с определенным заданием — довести до смерти всех политических заключенных, применяя к ним самые разнообразные методы репрессий. И если уголовный, попавший в начальники полити-

ческой тюрьмы, выполнит указанное задание, его награждают либо полным освобождением, либо значительным сокращением срока. Нечего и говорить о том, что задание выполняется блестяще.

Покатерра рассказывает о судьбе заключенных с ним по одному делу о подготовке восстания. Всех их пытали голодом, им запрещали всякую передачу пищи с воли, на ночь полы их камеры неизменно обливались холодной водой. Но, когда эти средства не помогали, к заключенным применялось последнее средство: их отравляли, примешивая в пищу мышьяк, цианистый кали и др. сильно действующие яды. Таким образом, задание довести до гибели всех заключенных, предписанное уголовному, заведывающему Ротондой, блестяще проводится в жизнь.

Нет никакой возможности в этом очерке привести хотя бы сотую часть всех пыток и репрессий по отношению к заключенным Ротонды, которые описывает в своей книге Покатерра. Чтобы дать о них только приблизительное представление, нужно собрать воедино самые рафинированные пытки, которым подвергаются заключенные в тюрьмах Барселоны под управлением всемирно прославленного палача генерала Анидо (первый палач Испании — до Примо-де-Ривера и при нем), ужасы фашистских застенков Муссолини, воскресить побои и пытки, которыми награждались при царе заключенные Орловского, Тобольского и др. каторжных централов, — и... все это, взятое вместе, побледнеет перед картинами, разыгрывающимися ежедневно в Ротонде. Заключенные гибнут на глазах у их палачей,—от голода, холода, неслыханно тяжелых цепей, от страха перед настоящим и будущим, часто не зная, за что и на сколько времени они попали сюда. В Ротонде нет ни одного узника, который попал бы сюда по судебному приговору. На улицах Каракаса то и дело хватают людей, часто ни в чем неповинных, часто только из-за того, что их имя спутали с чужим именем,—и всегда по доносу всяких платных и добровольных сыщиков; их отправляют в охранку, затем пытаются и

после пыток отправляют в Ротонду, на воротах которой Гомес должен был бы сделать надпись из Дантова «Ада»:

«Lasciate ogni speranza  
«Voi, ch'entrate!»)

Генерал Оржевский, посетивший Шлиссельбург, сказал с самодовольством: «Отсюда не выходят, отсюда только выносят». Царский генерал ошибся. Русская революция 1905 года отворила двери Шлиссельбурга, оттуда вышли старые бойцы, поведавшие нам его тайны. Из Ротонды вышли пока только 2—3 узника, рассказавших теперь миру о подвигах правительственных бандитов Венецуэлы, но их товарищи еще томятся в каменных объятиях отвратительного застенка, — и нельзя без ужаса подумать о том, что все они знают свой неизбежный конец, если не подосплет какая-либо помощь, которая обрежет когти фашистских хищников.

Под палящими лучами беспощадного южного солнца бродят, как привидения, эти преждевременные старцы, влача свои тяжкие цепи по асфальту тюремного дворика. Этим привидениям, обросшим длинными волосами, с безумными взорами, по большей части сошедшими с ума от беспрестанных побоев и пыток, позволяют выходить на час-два из своих каменных мешков, потому что они не способны ни на какой протест, не говоря уже о побеге. Среди асфальтового дворика бьет маленький фонтан, и заключенные, которых мроят жаждой, выдавая им ограниченные порции воды, изнемогая от зноя, готовы с жадностью припасть к источнику свежей воды. Но для того, чтобы они не смогли этого сделать, палач Нерео, бандит, заведующий политической тюрьмой Каракаса, со злым смехом и на виду у несчастных моет в фонтане свои грязные потные ноги...

Когда заключенный Ротонды умирает от голода, холода или яда, никто из товарищей не оплакивает его. Все понимают, что это счастливейший момент в многострадальном существовании узника. Каждый из них знает, что скоро наступит его очередь. Безучаст-

но смотрят они на то, как палач Нерео и его сподручный проворно вытаскивают во дворик труп, обшивают его холстом и—через калитку—передают в примыкающий к тюрьме госпиталь для погребения. Несчастный пройдет по спискам умерших в госпитале, и тиранин Гомес сможет уверять после весь мир в том, что в Ротонде... не убивают. Точно так же, как в одном из официальных документов Гомес похвастал тем, что «в Венецуэле никогда не возводили эшафотов».

Но нет ни одного заключенного в Ротонде, который не согласился бы дважды взойти на эшафот только для того, чтобы не чувствовать ее леденящих каменных объятий...

И вместе с тем (кто мог бы это подумать!) попасть в Ротонду для многих заключенных—счастье... Надо понять это: в Ротонду попадают не сразу. Надо сначала пройти через «Сад пыток» Гомеса. Октав Мирбо, воспроизводивший в своем романе полуфантастические рассказы о пытках в далеком Китае, вряд ли мог подозревать, что в цивилизованной «республике» Венецуэле в дни, которые мы переживаем, названием его романа несчастные политические узники Ротонды окрестят те предварительные пытки, пытки, которым подвергается большинство из них раньше, чем попасть в Ротонду.

Среди пленников генерала Гомеса большинство составляют «заговорщики» из среды интеллигенции: офицеры, чиновники, люди свободных профессий, недовольные его диктатурой. Среди них нет почти профессиональных революционеров. Среди них даже мало настоящих заговорщиков против самодержавно-фашистского режима Гомеса. Густая сеть шпионажа покрыла эту несчастную страну, и в сеть попадает много ни в чем неповинных обывателей. Угрозы и пытки, применяемые к этим несчастным, заставляют их быстро называть другие имена (по большей части, первые пришедшие на ум). В сеть обвинения вовлекаются все новые и новые жертвы, заговор ширит-

<sup>1)</sup> «Оставь надежду всяк, сюда входящий».

ся, и палачи от удовольствия потирают руки.

Генерал Гомес—не только «мудрый правитель», не только вор, укравший все лучшие поместья и ограбивший венецуальскую казну, он гордится еще изобретением пытки, равной которой не сыщешь в анналах даже польской дефензивы или фашистской охраны Муссолини: это — подвешивание допрашиваемого за половые органы. Как правило, этой пытке подвергаются почти все допрашиваемые по политическим делам. На жаргоне господина президента и его приближенных это называется «заставить петь» заключенного. Невозможно без омерзения читать описание застенков и дыбы, на которой производится эта операция, изобретенная садистом-фашистом, безраздельно правящим страной с 3-миллионным населением. Когда приводят в застенок арестованного «заговорщика», он видит крюк на перекладине, протянутые веревки, куски человеческой кожи и запекшуюся кровь на них.

Но здесь мы поставим точку. Тот, кто прочтет книгу Покатерры, узнает более подробно об этом «позоре Америки».

Добавим лишь, что ареной этих пыток является не только застенок, примыкающий к Ротонде, но и утопающий в тропической растительности замок «Мирафлорес», резиденция самого Гомеса.

В этом замке Гомес предается таким «развлечениям», от описания которых кровь стынет в жилах. Так, Покатерра рассказывает об одном случае массовых пыток над политзаключенными, произведенными во дворце президента в присутствии самого Гомеса, его братьев, племянников и ближайших друзей. Некоторых обвиняемых (по большей части офицеров, подозреваемых в заговоре) подвешивали описанным выше образом по 11 раз. Многие снимали с дыбы и изуродованными калеками. Главным исполнителем экзекуции явился шофер президента. Среди подвешиваемых был 14-летний брат одного из скрывшихся офицеров, не сумевший указать властям его местонахождение.

Гомес стоял тут же и подсмеивался в ус, слушая стоны нетязуемых...

Весной 1928 года, когда кампания в защиту заключенных Ротонды стала принимать большие размеры, Гомес в одном из своих официальных посланий написал:

«Никогда ни гнев, ни даже справедливое негодование не владели мною настолько, чтобы я стал применять репрессии, которые не были бы разрешены законом и не являлись бы абсолютно необходимыми для поддержания мира в стране».

Правление «Гражданского Союза Венецуэлы», находящееся в Нью-Йорке и руководящее нынешней кампанией против Гомеса, начинает свой ответ на это наглое и лицемерное заявление изложением серии фактов, из которых мы приводим лишь несколько:

«В мае 1913 года в Ротонде Каракаса по приказанию Хуана Висенте Гомеса префект Каракаса, полковник Эрнесто Веласко и Барра начальник полиции, полковник Педро Гарсия, начальник тюрьмы, генерал Марсиаль Падро и тюремные чиновники (следуют фамилии) с помощью тюремного служителя, каторжника, осужденного за убийство, Бермудеса, подвергли страшной пытке сдавливания половых органов и подвешивания за них полковников Мухика, умершего от пытки, Очоа, сошедшего с ума и тоже умершего от пытки, Алькантара, умершего от той же пытки, Гонзалеса и 23 офицеров низшего ранга».

«Комитет по изобретениям», который по этому поводу мог бы быть образован при Лиге Наций, ибо в состав ее входит Венецуэла, должен был бы отметить 15-летний юбилей изобретения генерала Гомеса, награжденного «за заслуги перед цивилизацией» Орденом Почетного Региона.

Ответ «Гражданского Союза», который мы лишены возможности привести здесь полностью, представляет собою перечисление подобных же пыток со смертельным исходом, произведенных над отдельными группами политических узников за истекшие 15 лет.

В ответ на заявление тирана о том, что в Венецуэле «не возводили эшафотов», авторы воззвания пишут:

«Это верно, Гомес не имел смелости воздвигнуть эшафотов на публичных площадях, как это делали его предшественники, но он обрекал на смерть своих врагов под сурдинку: одних—голодом, других—ядом, третьих—пытками. В одной Ротонде Каракаса таким путем было казнено 53 венецуэльца» (список приведен в воззвании полностью, каждая смерть обозначена точной датой).

Воззвание заканчивается такими словами:

«Эти мертвецы встают из своих могил, чтобы обвинить Хуана Висенте Гомеса перед всем миром: 1.800 граждан Венецуэлы, которым удалось чудесным образом спастись из когтей тирана, живы и готовы поддержать обвинение, выдвинутое мертвецами, в полной мере.

Посланник Венецуэлы в Вашингтоне Гризанти может смело заявлять, что в Венецуэле власти не присуждают к смерти своих сограждан и не приводят таких приговоров в исполнение. Хуан Висенте Гомес может повторять, что он не возводил эшафотов, но весь мир теперь будет знать, что оба они лгут самым циничным образом и что мертвецы, тени которых витают над Ротондой, посылают им вместе со своим опровержением свои проклятия...

Президент Венецуэлы, подписывая свое послание, забыл, что преступление — это тень, следующая за человеком, отбрасывающим ее.

Покатерра и его друзья, поведавшие миру об ужасах Ротонды, о пытках, изобретенных палачом Гомесом,—люди не а ша го ла ге р я. Мы уже сказали, что они сторонники демократии, прогресса, конституционных гарантий и прочих невесомых прелестей капиталистического строя. Из их записок и дневников видно еще, что они верят в бога. Сидя в Ротонде, они не переставали ожидать активного вмешательства «всевышнего», но так и не дождались. Гомес сажает в тюрьму и—

если надо—подвешивает уже описанным образом и тех духовных особ разного ранга, которые позволяют себе вмешиваться в его дела, — и «всевышний» все с той же кротостью терпит это.

Помещая свои разоблачения во французской прессе, они считают долгом напомнить о том, что они во время войны держались союзнической ориентации, и что они полны восхищения перед Францией и ее великими республиканскими традициями.

На это восхищение правительство Пуанкаре—Бриана, высоко держащее знамя гуманности и цивилизации, отвечает достойным образом: оно награждает орденом Почетного Легиона «изобретателя» Гомеса, которого Покатерра и друзья, кстати, обвиняют в том, что во время войны он демонстративно занимал германофильскую позицию. Прекрасный случай, иллюстрирующий интернациональную солидарность всех палачей мира!

С возмущением и омерзением читая разоблачения Покатерра и Дельграда, мы не забываем того, что они принадлежат к враждебному нам классу и пропитаны чуждой нам идеологией. Смешно читать все обращения их к Лиге Наций, Лиге Прав Человека и т. д., проникнутые верой в то, что капиталистический строй, породивший Гомесов всяких видов, мастей и рангов, в самом себе найдет силы, которые могли бы уничтожить это зло.

Мы не только не разделяем этой веры, но мы находим ее вредной. Фашизм, — во всех его проявлениях, в том числе и «экзотический», — предельный период разложения буржуазного строя, и Гомесы будут уничтожены лишь вместе с ним.

Пролетариат — вот единственная сила, призванная переродить мир. Верным и единственным методом этого перерождения является только пролетарская революция. Не во имя восстановления и обеления «попранной», по мнению Покатерры и его друзей, демократии, не во имя торжества капиталистической морали будет сделана эта революция и в Венецуэле. Революция призвана целиком смести дорогой сердцу венецуэльских либералов капитали-

стический строй, и из недр которого родился фашизм.

В феврале 1928 года в Каракасе вышла нелегальная листовка, подписанная «Федерацией венецуэльских студентов», «Рабочей Федерацией» и «Комитетом матерей и сестер заключенных». Она заканчивается следующим характерным обращением:

«Лига Наций, если ты не миф, помоги нам, послав к нам миссию, которая проверит разоблачаемые нами преступления. Латино-американизм, пан-американизм... Не довольно ли громких фраз и пустозвонных речей, помогите народу, страдающему под игом грубых палачей!»

Рабочая федерация Венецуэлы по духу своему — реформистская организация, и нужно считать большим прогрессом для нее и то, что она начинает сомневаться в реальности существования Лиги Наций. Конечно, она со временем убедится в том, что Лига Наций не только не «миф», но один из мощных инструментов капиталистического и империалистического блока, от которого страдает эта несчастная страна.

Рабочие Венецуэлы неизбежно разочаруются в Лиге Наций, точно так же, как разочаровывались в помощи «всевышнего» несчастные узники Ротонды, испуская последний вздох на асфальте каменных мешков.

Они поймут, что и в Европе Лига Наций, под прикрытием лицемерных речей о мире и гуманности, являлась мощной покровительницей фашизма. Если бы было иначе, женевская Лига, толкующая о разоружении, не могла бы не обратить внимания на фашизм в латинских странах, как один из могучих факторов и стимулов грядущих империалистических войн. То одичание нравов, которое в далеких экзотических республиках вылилось не только в отрицание демократии, но в возрождение тирании феодальных времен, не могло бы иметь места, если бы на юге и в сердце Европы фашизм не пустил бы таких глубоких корней — при явном покровительстве Англии, Франции и прочих вдохновителей Лиги Наций.

Муссолини, Примо-де-Ривера, Цанков, Гитлер, Пилсудский — все эти провоз-

вестники «новой» морали сверхчеловека и провозвестники новых политических истин, тесным кольцом окружившие Женеву, — таковы последние достижения Европы, склоняющейся к закату. Проповедь всеобщего одичания, родившаяся в самых недрах капиталистической культуры и принявшая форму международного фашизма, уже перебрисалась за океан. Гомес в Венецуэле не мог бы существовать, если бы в Риме не сидел Муссолини, а в Мадриде — Примодеривера. И все же нам легко могут возразить: если проводить параллель между испано-итальянским фашизмом и «экзотическим» фашизмом в ряде стран Латинской Америки, ее нужно проводить до конца. Невозможно объяснять торжество экзотического фашизма одним влиянием фашистской идеологии, занесенной в Южную Америку из Италии и Испании. Нельзя забывать, что в Италии и в Испании фашисты располагали и располагают весьма реальной организованной силой, на которой покоится их господство теперь, и которая обеспечила им победу в прошлом. Что же является реальной базой торжествующего «гомеизма»?

Писания всех либеральных антифашистских публицистов, всех преследуемых Гомесом венецуэльских патриотов дают ответ на этот вопрос. Вся экономическая жизнь Венецуэлы находится целиком в руках соревнующих между собой империалистов, из которых в настоящий момент победа находится безусловно на стороне С. Америки. Если до последнего времени Англия играла значительную роль в ввозе и вывозе Венецуэлы, то теперь она оттеснена на задний план САСШ. Вообще, последние годы отмечены значительным ухудшением отношений между Англией и странами Центр. и Южной Америки (наиболее ярко это обнаружилось в Мексике). Всюду за счет уменьшения английского влияния растет влияние САСШ, которые особенно энергично наступают на англичан на «нефтяном» фронте в этих странах. В Венецуэле — при Гомесе — американцы чувствуют себя настоящими хозяевами. САСШ и

являются главной поддержкой гомесизма. Это запечатлено в тысяче разных документов, из которых наиболее яркие приводятся Покатеррой и др. венецуэльскими эмигрантами в их книгах. Освободившись из душных объятий Ротонды, Покатерра бежал не в САСШ, а в Канаду. Правительство САСШ давно взяло уже Гомеса под свое покровительство, и Покатерра правильно озаглавил свою книгу: «Гомес — позор Америки», — имея в виду не Южную, а Северную Америку.

Для стран Центральной и Южной Америки этот союз внутренней реакции с иностранным империализмом является типичным. Авантюристы, которым фашистским путем удается захватить в свои руки власть, при поддержке иностранных империалистов, которым они отдают страну «на поток и разграбление», утверждают в несчастной стране свою личную диктатуру, вырождающуюся в гомесизм, или иную форму экзотического фашизма. Таким образом, реальная база экзотического фашизма — в поддержке его иностранными империалистами, которым удобнее и выгоднее всего грабить чужую страну под покровом этой системы.

Уже после того, как книга Покатерры вышла в свет, в парижском журнале «*Cri des Peuples*» (7/XI—1928 г.) напечатаны выдержки из мемуаров другого узника Ротонды, Гонзало Карнавелли. Мы лишены возможности процитировать здесь даже часть этих воспоминаний, от которых в меньшей мере

веет леденящим ужасом, чем от книги Покатерры, но мы приведем следующее примечание редакции журнала:

«Для тех, кому могло показаться, что Покатерра, о книге которого мы говорили, мог в ней преувеличить ужасы, разыгрывающиеся за стенами Ротонды, мы приводим свидетельство другой уцелевшей жертвы. Этот рассказ превосходит своим описанием все то, что рассказывает даже Покатерра. Автор — студент университета в Каракасе, — провел вместе со своим братом 4 года в Ротонде; отец их умер там от пыток...»

И вот этот Карнавелли заканчивает свое описание «Сада пыток» следующими словами:

«И подумать только, что этот подлейший, жесточайший режим удостоивается не только «сердечных» отношений, но и поддержки и покровительства со стороны цивилизованнейших правительств мира!»

На первом плане в ряду этих правительств стоят САСШ. Мечущийся в поисках спасения «цивилизованнейший» капитализм, отмечает прежние формы политического господства и ищет омоложения в дикой и циничной морали фашизма. Так и САСШ, у себя на родине еще не отменяя формально демократии, культивируют и поддерживают «гомесизм» и другие виды экзотического фашизма в маленьких странах, находящихся в экономической зависимости у золотых мешков Нью-Йорка и Вашингтона.

# Литература и искусство

1. А. ЛЕЖНЕВ. Молодежь о молодежи.—2. Н. ЗАМОШКИН. «Личное и безличное»—3. АРК. ГЛАГОЛЕВ. Поэт-стеклящик.—4. М. ЗЕНКЕВИЧ. Обзор стихов.—5. Ф. РОГИНСКАЯ. Ткани будней.—6. П. МАРКОВ. Из литературы о театре.

## 1. МОЛОДЕЖЬ О МОЛОДЕЖИ

А. Лежнев

### I

Три произведения возбудили за последнее время особенно большое внимание в широких читательских кругах: «Первая девушка» Н. Богданова, «Прыжок» Бражнина и «Ячейка» Горбатова. Они вышли повторными изданиями, их берут нарасхват в библиотеках, они служат темой многочисленных диспутов. При чем надо отметить, что они имеют успех не в мещанской, обывательской публике, падкой до сенсации, а в среде рабочей и вузовской молодежи. Это заставляет присмотреться к ним поближе.

Все три вещи рассказывают о комсомольском быте. Само по себе это обстоятельство не включает в себе ничего нового и не могло бы послужить причиной такого повышенного читательского интереса. Комсомолу в нашей литературе «везло». О нем писали много и «смачно». До сих пор не просохли следы от гумилевского «Собачьего переулка» и никитинского «Кирика Руденко». Но там писали наблюдатели «со стороны». Здесь же дан комсомол «изнутри», увиденный глазами комсомольца.

Сходство между произведениями Бражнина, Горбатова и Богданова проявляется не только в теме и общем подходе, но и в ситуациях, характерах героев, сюжете. Особенно между двумя первыми («Прыжком» и «Ячейкой»). Это невольно заставляет помещать их в одну группу, рассматривать их не изо-

лированно, а как некоторое единство.

Действие «Прыжка» разворачивается в провинциальном городе. В центре романа — заводский коллектив во главе с отсеком Джегой. Джега — один из главных героев, но не единственный. Рядом с ним, играя такую же (или почти такую же) основную и самостоятельную роль, — его товарищи по организации: Нина, Гриша, Петя Чубаров. Мало того: хотя о Джеге рассказывается особенно охотно и пространно и судьба его больше других занимает автора, но центральный сюжетный узел романа завязан не вокруг него, а вокруг Нины и Гриши.

Сама по себе история Джеги довольно плоска и ординарна; здесь автор не выходит за пределы литературного шаблона. Выдержанный, энергичный комсомолец сходится с женщиной чуждого класса, сохранившей в неприкосновенности все буржуазно-мещанские взгляды, привитые ей средой и воспитанием, и постепенно омещанивается сам, теряет связь с комсомолом, отходит в сторону, обрастает всяческим благополучием, приобретает уютную квартиру и обстановку и в этом уюте и благополучии мякнет и «размагничивается». Но автор гуманен, он помнит старые заслуги своего героя — и в последний момент он его спасает из тины мещанского болота. Джега покидает свою жену внезапно и стремительно, не потрудившись даже объяснить мотивов своего ухода. Самсон убеждает от чар Далилы в Узбекистан и там находит утраченное душевное рав-

новесие и вкус к работе. Что становится с Далилой, — остается неизвестным.

Как видит читатель, эта повесть о потерянном и возвращенном рае не включает в себе ничего оригинального. Перед нами — почти литературный штамп. И как все штампы — изрядно фальшивый. Последний поступок Джеги — оставление жены — показан если не как акт героический, то, во всяком случае, как неизбежный и единственно мыслимый при создавшемся положении, как смелая и необходимая хирургическая операция. Она дает возможность Джеге возродиться и снова стать в первые ряды. Джега опять «герой». Но он — герой только потому, что расплатился за чужой счет. За общие грехи отвечает одна женщина. Джеги, видите ли, не виноваты. Виноваты обольстительные Юлиньки. И Самсон отважно шагает через упавшее тело Далилы. Ему надо сохранить лишь чистоту своих одежд, а какой ценой — безразлично.

Лицемерие подобной «выдержанности» явно бросается в глаза. Ее не может не заметить даже самым благожелательным образом настроенный читатель. Ко второму изданию романа приложены отзывы рабочих. В одном из них читаем: «Не согласен с автором: почему бы не попытаться Джеге перевоспитать Юлию, а обязательно нужно разводиться. Этим самым автор поощряет нашу молодежь к легкомысленному сожительству, а через месяц развод: «характером не сошлись». Всегда можно в свое оправдание выставить аргумент, за который тебя ни коллектив в целом, ни товарищи в отдельности не осудят: «жена мещанской идеологии». Автор, как видно, это пропагандирует».

Здесь уловлено основное. Победа Джеги есть его поражение. Джега выбирает самый легкий путь, но далеко не самый почетный. Его издержки оплачивает другой. У него не хватает даже мужества честно и до конца объясниться с женой. Он не оставляет семью, он дезертирует от нее. И у нас нет никакой уверенности, что, если обстоятельства опять сложатся аналогичным образом, история Джега—Юлия не по-

вторится снова, — правда, в других условиях, с другой женщиной, но с тем же течением и с тем же финалом, — и Джеге не потребуется из Туркестана бежать в Восточную Сибирь. А так как при его вулканическом темпераменте эти истории могут происходить достаточно часто, а концы приходится каждый раз делать порядочные, то, как ни обширна наша страна, Джега рискует оказаться в затруднительном положении.

Бражник, видимо, сам чувствует всю пресность трафаретной ситуации Джега—Юлия и поэтому завязывает сюжетный узел не на ней, а на остром, уголовном «мотиве», который он вводит, правда, лишь к середине книги. С этого момента он начинает — в построении романа — «работать» под Достоевского, в частности под «Братьев Карамазовых». Как и там, здесь в сюжетном центре произведения — убийство, все обстоятельства которого складываются (или построены) таким образом, что подозрения — с железной необходимостью — падают не на того, кто его совершил, а на человека к нему непричастного, и влекут за собой судебную ошибку. В «Братьях Карамазовых» судебная ошибка доведена до конца: за убийство старика Карамазова осуждают не Смердякова, а Дмитрия. В «Прыжке» она не получает завершения: арестованный за изнасилование и убийство комсомолки Нины Гриша Светлов так и не покидает пределов тюрьмы, но не получает и оправдательного приговора. Настоящий убийца, вор Митька, берется в конце концов под стражу, но сюжетной развязки в романе нет: она вынесена за пределы книги. Мы не знаем, чем кончается дело об убийстве. Однако, это различие, вступающее лишь в самом финале, не играет большой роли. Основное в романе — мотив своеобразно «подстроеного» убийства и судебной ошибки.

Следуя «Братьям Карамазовым», автор широко разворачивает судебный процесс, с речами обвинителей и подсудимого (который выполняет тут функцию защитника). Процесс выделен и подчеркнут даже больше, чем у Достоевского. Идеологические «ударения» поставлены именно в прениях сторон.



Здесь расшифровывается «мораль» романа. Наконец, сам убийца, Мотька, сделан по Достоевскому: надрыв, нагловатость, поруганное человеческое достоинство, жаждущее отмщений, злобная, подхихкивающая издевка, скользкие обнаженные разговоры, держащиеся на грани крайнего напряжения, на острие дожа и т. д. Он весь литературен, весь книжен. Он — случайное пятно в романе, он ничем не связан с остальными персонажами, он введен лишь для того, чтоб можно было построить уголовный сюжет. Он врывается в роман со стороны, как со стороны ворвался весь этот эпизод с убийством, вставленный с одной целью: сделать книгу занимательной.

В самом деле: какова его (эпизода) функция и смысл? Помогает ли он более четкому выявлению характеров? Дает ли он возможность показать их с новой стороны, обнажить в резком изломе их действительную сущность? Является ли он, наконец, естественным следствием создавшихся отношений, необходимым выводом из них? Отнюдь нет. Единственный человек, который выявляется посредством этого эпизода, — Мотька, но он — второстепенное, вставное лицо в романе. Ни убитая Нина, ни мнимый убийца Гриша этим бессмысленно со стороны вклинившимся в их отношения убийством ни в малейшей степени не «дополнены», не уяснены. Оно так же мало их характеризует, как прохожего — случайная смерть от упавшего на голову кирпича. Правда, можно возразить, что именно арест заставил Гришу окончательно осознать свою классовую сущность, порвать с комсомольским коллективом, открыто заявить себя врагом нового порядка вещей. Но это не совсем так или даже вовсе не так. Гриша задолго до ареста отошел от комсомола и произвел «переоценку ценностей». Его развитие все равно уже шло по такому пути, что должно было привести его к самым крайним выводам, к которым он пришел после ареста. Побудительной причиной тут послужило вовсе не несправедливое обвинение, а неудачная любовь, презрение Нины, насмешки товарищей.

Но сколько горечи ни подмешалось в «Новый Мир», № 6

отношения Гриши и Нины, из них отнюдь не вытекала с неизбежностью насильственная развязка. Против нее говорит и характер Гриши: натура пассивная, он всегда будет скорее жертвой, чем палачом. Поэтому и его решительность, проявленная в речи на суде, кажется неоправданной, не вяжущейся со всем тем, что мы узнали о нем на протяжении романа: всюду мы видим его унижающимся, робким, жалко вымалывающим любви и сочувствия. В конфликте, завязанном Бражнинным, нет ни необходимости, ни характерности. Когда человек попадает под трамвай, это — материал для хроники, но не для трагедии.

## II

Обратимся теперь к основным персонажам уголовно-любовного эпизода, столь тщательно разработанного автором. Так как весь роман «проблемен», написан *à thèse*, то и характеры действующих лиц не являются характерами в подлинно-реалистическом смысле, а выражают — каждый — какой-нибудь один принцип, доведенный до конца. В этом смысле Нина и Гриша связаны не только сюжетно, но и как два полюса, как два противоположных понимания и разрешения половой проблемы. Нина ушиблена упрощенческими теориями. Любовь, семья, всякая личная жизнь кажутся ей чем-то недопустимым, обязательно тянущим человека-общественника на дно. По выражению Пети Чубарова, она хочет превратить человека в «шкелета», — а из «шкелета» какой строитель? Но из таких теорий только два выхода: либо аскетизм («могий вместить»), либо безлюбая любовь, «удовлетворение половой потребности», не устанавливающее длительной связи, не требующее душевных затрат. Нина фактически вступает на второй путь. Нет ничего более нелогичного, чем ее «личная жизнь». Она отдается Грише, которого не любит и не уважает, к которому не чувствует даже никакого влечения. Она не хочет уделять любви ни времени, ни сил, а между тем любовь занимает в ее жизни непропорционально огромное место — и именно потому, что она ее по-

давляет. Она отдается Грише, любя Джегу, — и это чувство, которое она старается скрыть в себе, уничтожить, убить, сдает ее, коверкает ее жизнь, внушает ей мысль о самоубийстве.

Любовь, «половая проблема» взяты автором, очевидно, лишь для того, чтобы на них острее поставить вопрос о соотношении личного с общим. На примере Нины он старается показать, как упрощенческая теория отрицания всякой «личной жизни» неизбежно приводит на практике к собственной противоположности, к непомерному выпячиванию личного.

Но если Нина — тезис, то Гриша — антитезис. Нина отвергает личную жизнь, любовь, «сентименты». Она надламывается потому, что борьба с собой, со своей природой, со своими чувствами, которую она упрямо и безнадежно ведет, отнимает у нее слишком много энергии, оказывается ей не под силу. У Гриши этот конфликт вовсе и не наступает. Он, не задумываясь, всем жертвует для любви. «Личное» у него естественно и бездумно вытесняет все «общее», чем он еще недавно жил. Но если уже при обрисовке Нины автор проявил исключительную схематичность, «проблемную» предвзятость, заставив ее, например, в угоду сюжетной и идейной концепции романа, совершенно немотивировано отдаться Грише, к которому она чувствует презрение и гадливость, то сам Гриша и вообще пал вечерней жертвой авторской тенденциозности. Он жалок, как-то душевно хил, беспомощен, бесхарактерен, мелко-самолюбив. Отвергнутый Ниной, он заливает, опускается, вымалывает крохи любви, стоя под Нининым окном, всячески унижается. Автор лишает его даже той смелости, которую дает человеку отчаяние. Он собирается покончить с собой, но его пугает холодная вода. Продрогший, мокрый и комически-жалкий, он всю ночь просиживает на крыльце, трясаясь от озноба. Это неприятно, это корбит, становится совестно за человека. Но попробуем присмотреться к Грише, попробуем отбросить тенденциозность авторского освещения, — и мы увидим, что Гриша не так уже мелок и не так уже неправ. Он любит Нину глубоко и страст-

но — тут еще ничего зазорного нет. Для него любовь — не просто половой акт, а нечто гораздо большее. Это тоже вряд ли предосудительно. Наконец, он свихивается «от любви», опускается, — и от него брезгливо отворачиваются автор, товарищи и читатель. Они в праве это делать, но мы в праве указать, что в эту трудную для совсем еще молодого и несложившегося человека минуту он предоставлен самому себе, он встречает и со стороны Нины и со стороны товарищей по комсомолу самое безучастное и бессердечное отношение. Над ним только издеваются, а никто с ним не поговорит, не даст совета, не скажет дружеского слова. Об этом он сам впоследствии заявляет в своей речи на суде. Автор ее постарался утрировать, окрасить в цвета самой непримиримой ненависти к комсомолу, его нравам и идеологии (что ощущается, как произвол, а не как закономерное следствие Гришиной эволюции), но даже в этом утрированном виде она обнаруживает в Грише и ум и наблюдательность, несомнимые с представлением о нем, как о мелком человеке. Он далеко не во всем неправ. Это чувствует и рабочий читатель. «Очень хороша речь Пети Чубарова, не худо кое-что подмечено и у Григория Светлова — в этом вся соль книги» — пишет уже однажды цитированный мной Адакас (с «Красн. Путиловца»). Возьмем далее поведение Гриши после ареста, когда он сам не знает: убил ли он (пыльный) Нину или нет. Он страшно тяжело переживает эту неизвестность, эту возможность, что он явился убийцей, она доводит его до болезни, почти до сумасшествия, — и он совсем перерождается, когда получает внутреннюю уверенность, что он непричастен к убийству: тут действует не страх наказания — к наказанию Гриша безразличен. Перед нами возникает таким образом совершенно другой образ, непохожий на жалкое, самолюбивое и хилое насекомое, каким хочет представить своего героя Бражнин: это неуравновешенная, подчеркнуто-эмоциональная натура, но далеко не мелкая и не лишенная ни благородства, ни ума. В образе Гриши явное несоответствие: если автор желал изобразить

его ничтожной вошью, то не надо было вкладывать в его уста страстную и очень неглупую речь (на суде), надевать его сильными и глубокими чувствами. И наоборот: если автор задумал Гришу, как своеобразно-яркую и сложную натуру, то не к месту подробности комически-пародийного характера, вся эта трактовка сверху вниз, в презрительно-издевательском тоне (сцена между Гришей и Мотькой в комнате Нины, неудачная попытка самоубийства, слова Пети на суде).

Все скверное в Грише Светлове объясняется его дворянским происхождением, голосом полковничьих и генеральских кровей. «Бабушки да дедушки ох какую силу имеют. Вот как дедушкина кровь сквозз комсомольскую шкуру из тебя брызнула — черная, застоявшаяся, гнилая кровь» — говорит Петя Чубаров, обращаясь к Грише. Прокурор выражается еще определеннее: «...эгоистическая барская натурришка — своенравная и мелкая, ставящая свои интересы выше всего. Это он получил по наследству вместе с благородной кровью и тонкими чертами лица от своих предков Светловых». Удивительно, как охотно изображают наши писатели коммуниста или комсомольца дворянина («У фонаря» Никифорова, «Преступление Мартына» Бахметьева)! Можно подумать, что партии из дворян — самая характерная фигура современности. И тут же наивное биологическое объяснение: голос крови. Не воспитание, среда, место в производстве, а именно голос крови, зов предков. Этим писателям кажется, что, превратив социальный момент в биологический, они себя обнаруживают особенно последовательными марксистами, сверх-марксистами. Они не замечают, что они только возвращаются к ограниченности примитивного, «биологического» материализма и повторяют, в более вулгарном виде, те ошибки, которые уже до них делала — и не раз — литература (например, в лице французских натуралистов).

Нина — тезис. Гриша — антитезис. Но в «Прыжке» есть и синтез: чета Женька — Степа. Она должна представлять собой некое преодоление односторонности Нишкиного аскетического

нигилизма и Гришиной «высокой» романтики. Личное в ней не подавлено, как у Нины, и не гипертрофировано, как у Гриши. Тут по автору воплощается идеальная увязка между личным и общественным. Словом, Женя и Степа — то, что называется положительными типами. Они разделяют общую судьбу положительных типов: они неудачны. Правда, автором они «поданы» в таких легких, полу-юмористических тонах, которые не дали бы ощутить фальшь. Шутка спасает, — добродушный юмор, опутывающий Степу и Женю, заставляет читателя прощать автору слишком явственные местами нажимы; молодой комсомольской чете сочувствуешь, но убедительности в ней нет.

Еще в большей степени относится это к Пете Чубарову, выполняющему в «Прыжке» роль резонера, идеологического рушора. Но даже и эту роль он выполняет не совсем удачно. Его речь на суде, подводящая как бы итог роману, лишена должной силы и доказательности. Она представляет собой апологию Нины, хотя сам Петя прекрасно сознает односторонность ее теорий, и сплошное отрицание того, что говорил Гриша. Но утверждения Гриши нельзя просто отбросить, их надо преодолеть. Т. е., признав их частичную правоту, показать, почему в целом они звучат фальшиво. А незамысловатое нет-нет — вряд ли кого-нибудь убедит.

Резюмирую. Дефект романа заключен уже в его построении. Уголовный эпизод, центральный эпизод произведения, вклинивается в него со стороны, не вытекает из логики его отношений и характеров и ничего не дает для их развития. Сами характеры или схематичны или страдают пороком, свойственным всякой «проблемной» литературе: они развиваются не сами из себя, не по законам своей природы, а так, как это нужно для доказательства вне их положенной мысли. «Идея» не заключена в них, а является по отношению к ним чем-то посторонним. Она выступает тем явственнее, чем характеры схематичнее. И понятно почему: меньше расхождение между автономной

логикой образа (типа, характера) и тем, что ему навязывает автор. Петя Чубаров отчетливее и яснее Гриши. Он не подводит автора, как подвел его Гриша. Он—откровенная схема, а Гриша по-ползновение на художественный тип. У Гриши есть уже некоторая органичность, есть своя внутренняя логика, и потому он вступает в столкновение с пытающейся его по-своему обкарнать авторской тенденцией.

Если «Прыжок» имеет все же такой успех, то это объясняется двумя обстоятельствами: остротой поднятых в нем вопросов и несомненной занимательностью книги. Упор на занимательность чувствуется в романе Бражникова очень определенно. Ввод уголовного эпизода, лишний и с точки зрения идейной концепции романа и в смысле разрешения намеченных в нем конфликтов, может быть понят только как средство повысить увлекательность книги, придать ей известную пряность, сделать ее «читабельной». Цель автором достигнута—в ущерб внутренней цельности произведения, его доказательности, его художественной правде. В тех же, очевидно, целях автор злоупотребляет эротическими сценами, да еще изложенными таким вот стилем:

«Елозила на его широкой груди. Заглядывала в глаза. А у самой глаза уже синей мутью наливались, и тело, переставшее быть девичьим и зажженное огнем Джегиным, вилось упругое и жаркое... Ловила сладкие судороги и переливчатые токи, бродившие еще в теле после дикой и неудержимой ласки Джегиной».

Стилистическая дешевка, неразборчивость в средствах—едва ли не главный грех Бражникова. Все это заставляет в нем видеть покамест еще не художника, а некоего проблемных дел мастера, правда, не бездарного и работающего довольно ловко.

### III

Повесть Бор. Горбатова «Ячейка» имеет кое-какие общие черты с бражнинским «Прыжком». Как и там, здесь взята рабочая комсомольская ячейка

(у Бражникова—заводская, у Горбатова—шахтерская). Можно найти ряд аналогий между действующими лицами. Чета Женька— Степа, благополучной и «положительной», соответствует чета Катя—Сережа, сумевшая также разрешить для себя проблему соотношений между личным и общественным. В секретаре ячейки, Максиме Бондаренко, повторяются некоторые особенности Джеги, и даже дана в неразвернутом виде, в намеке история его опускания: правда, здесь она скоро обрывается и не доходит до своего завершения, как у Джеги. Гришу кое-чем напоминает разочарованный, размагниченный Алешин, отсиживающий в тюрьме за убийство отца (на этот раз действительно, а не мнимое). Тут можно найти, таким образом, и фабульное сходство; но убийство Алешина не становится в повести Горбатова таким центральным сюжетным ядром, как убийство Нины в романе Бражникова.

«Ячейка» написана проще, беспритязательнее и срее, чем «Прыжок». Сюжетно она не организована. В ней есть происшествия, но нет сюжета. Действие связано хронологической, линейной последовательностью. Уже в названии глав— «Рудник», «Комсомольцы», «Буза будет!», «Получка», «Даешь коммузу!»—чувствуется очерковый принцип построения. Повесть сделана как ряд бытовых очерков, кое-как скрепленных непрочной фабульной ниточкой.

Бойкость заглавий заставляет ожидать от книги большего, чем находишь в ней. В ней нет ничего, что бы врезывалось в память. Это зависит не от недостаточности материала, но от неумения пользоваться им, от вялого, неуверенного рисунка. То, о чем пишет Горбатов, очень интересно, но об этом интересно он рассказывает так, что оно кажется чем-то примелькавшимся, слышанным, знакомым.

Бытовая окраска повести крайне мрачна. Пьянство, распущенность, бескультурность—вот фон, на котором развертывается работа ячейки рудничного поселка. Молодежь или хулиганит, пьянствует, опускается (как Петро Бондаренко, кончающий жизнь в

драке), или отходит от комсомола в сторону, в тихую пристань, обзаводясь домком и семьей (Журавлев и «журавушки»), или, разочаровавшись в революции, озлобленно замыкается в себе (Алешин). Им скучно, они не находят дела, которое бы их захватило. «А где лучшая жисть?» — спрашивает Петро Бондаренко брата. — «Как лучше жить? В клубе со скуки сдыхать? В школе нудиться? А? дай мне лучшую жисть! Дай!». Алешин слушает надрывный плач гармони, дикую песню пьяных и думает: «Так вся жизнь пройдет! Серо, скучно, мелко. Для этого ли революции пылали? Для этого?». А ведь Петры и Алешины не худшие. Они действительно горели в гражданскую войну. От Журавлевых мы услышим иные слова, обывательски-обнаженные: «Тогда нам говорили: завтра вам будет социализм. И теперь говорят: завтра. Нам завтраки надоели, и мы говорим: побаловались — хватит! давайте свернем удочки, ячейку распустим, и каждый пусть займется своим делом».

Ячейка у Горбатова переживает два периода: первый — тяжелого кризиса, когда разочарование, упадок, апатия глубоко захватывают ее кадры, и общему настроению на минуту поддается сам руководитель, идейный вождь ячейки, Максим, — и второй — сплавивания, под'ема и роста. Основное ядро ячейки, сохранившееся и во времена наибольшей депрессии, налаживает работу, подымает авторитет комсомола, упавший было в результате кризиса и сопровождавших его эксцессов и преступлений (пьянство, насилие Петра над молодой работницей, убийство Алешиным отца), устраивает комсомольскую коммуну. Повесть кончается бодро, но бодрый конец ее никак не может уравновесить всего того тяжелого и мрачного, что дано в первых частях. Сгущенная тьма представляется от сияния несколько театрального финала, устроенного автором.

Но даже и эта книга, мрачная по тону и художественно слабая, нечто промежуточное между средней руки очерком и проблемной беллетристикой вто-

рого сорта, да еще вдобавок книга никому дотоле неизвестного автора, выдержала два издания. Это много удивительнее, чем успех «Прыжка»: тот, по крайней мере, занимателен, чего про «Ячейку» сказать нельзя. Разгадку, мне кажется, надо искать в том, что Горбатов коснулся темы, которую очень редко затрагивают, в том, что он показал жизнь рабочей ячейки, рабочего поселка, будни его быта, — и сделал это без слащавости и сюсюканья. При всех недостатках «Ячейки», нельзя у нее отнять одного: искренности и простоты.

#### IV

«Первая девушка» Ник. Богданова написана уже значительно более искусственным писателем. Он непрочь поиграть стилистическими и интонационными контрастами или щегольнуть «обнажением» приема. Материал уже не владеет им до такой степени, как Горбатовым. В то же время он свободен от безвкусной претенциозности Брагина. Из трех этих писателей Богданов — наиболее подлинный, наиболее художник.

«Первая девушка», названная автором «романтической историей», переносит нас в эпоху гражданской войны. Для романтической истории, это — наиболее выгодная обстановка. В небольшую деревенскую ячейку комсомола, читающую в часы политграмоты «Декамерон» Бокаччио, как руководство по антирелигиозной пропаганде, вступает девушка, первая девушка, которая осмелилась войти в комсомол, не боясь осуждений. Она выше по развитию и энергичнее своих новых товарищей, и потому с ее приходом работа ячейки получает иной размах. Конечно, это объясняется не только ее энергией, но и тем, что все комсомольцы в нее влюблены и наперебой стараются отличиться в ее глазах. Санин поцелуй — высшая награда для героя. Эрос выполняет в повести Богданова самую благодетельную и полезную роль. Он почти несет партнагрузку. Саня (так зовут первую девушку) увлекает ячейку в борьбу против окулачивающегося

предсельсовета, организывает бойкот дезертиров, налаживает просветительную работу внутри комсомола, ограничивавшуюся раньше чтением «Декамерона». Ее, наконец, посылают делегаткой на уездный съезд комсомола. Она остается в городе, — и тут и судьба Сани и повесть разламывается на двое. Вернее будет сказать, что здесь начинается новая повесть. Еще один героический эпизод — сражения с бандами Антонова, — и вот пред нами развертывается история распада Саниной личности, как прежде развертывалась история ее роста. Эрос, выступавший раньше в роли благодетельного божества, теперь проявляется как разрушительный демон. Это разрушение Саниной личности происходит так стремительно и так слабо мотивировано, что отказываешься автору верить. Не в том даже дело, что Саня отдается всем и каждому, переходит из рук в руки, заболевает сама и других награждает дурной болезнью, а в том, что она внутренне опшляется: «Неужели не догадаешься?.. Ты не так смугился, помнишь?! — Она вдруг щипнула меня, стрельнула глазами и захихикала, и так противно, что я захотел ее ударить...». Это говорит, это делает та самая Саня, которую не могло сломить даже насилие и надругательство, совершенное над ней бандитами.

Автор старается показать, каким образом произошло это превращение. Саня попадает в среду, где насчет любви господствуют специфические теории. «Любовь — это половое влечение, приукрашенное человеческим сознанием» — говорит укомовский «идеолог» Потапыч. «Открылось у тебя такое влечение, скажи об этом девушке, товарищу, прямо и честно. Если она захочет удовлетворить тебя — никто вам не судья. Вам обоим приятно и кому какое дело? Совершили акт, один или несколько, как требует природа, кончил дело — гуляй смело. Кончилось влечение и довольно, к черту воздыхание и разные ревности. Если не захочет удовлетворить тебя одно, ищи другую: не все ли равно, Маша или Даша удовлетворит твоё влечение?.. Нам ли возиться с

любовями, с ревностями, с приукрашиванием полового влечения?». Другие идут еще дальше. «Мало ей своих комсомольцев, — говорит, обсуждая поведение Сани, укомовцев Комзин, — и даже так вопрос ставлю... раз нас выбрали в уком, как лучших из своей среды, пусть с нами и удовлетворяется». Тут уже половое влечение не только освобождается от всякого «приукрашивания», выступая во всей первобытной наготе, но и прокламирует своего рода крепостное право для женщин.

Саню окружает атмосфера «ухаживания» и влюбленности. Ее всячески толкают на то, чтоб зажить той «легкой» жизнью, которой ее потом попрекают. Вся грубость отношения к ней, прикрытая легкой дымкой поклонения, проступает тогда, когда выясняется, что Саня больна и заразила нескольких комсомольцев. Ее готовы избить, выгнать из комсомола, готовы надругаться над ней, забывая, что они же сами внушили ей это легкое отношение к любви, не задаваясь даже вопросом, знала ли она действительно, что она больна.

Саня падает жертвой «общественного темперамента». И если б Саня была заурядным, «серым» человеком, пассивно подчиняющимся среде, не могущим оказать ей сопротивление, то в истории опустошения ее личности не было бы ничего неправдоподобного. Но Саня представлена в повести как личность, стоящая выше окружающей среды; она инициативнее, энергичнее, самостоятельнее своих товарищей. Она, и придя в уком, ставит там по-другому работу, как сделала это в своей деревенской ячейке. Она — сильная, крепкая, целомудренная натура, которую не так-то легко сломить. Она ни разу не оступается, не делает ни одного ложного шага. И вдруг все сразу меняется по велению автора. Мы в праве ему не поверить. Мы еще можем допустить Санию, «неряшливую» в своих любовных отношениях, но Саня «противно хихикающая» — немислима, неоправдана, фальшива. Либо не было героической девушки первых 24 глав, либо не было той Сани, которая щиплет своих «кавалеров», стреляет глазками и тоном

знатока производит оценку физических достоинств знакомых мужчин.

Между первой и второй Саней—полный разрыв. Надо сказать, что Богданов и вообще-то не умеет давать характеры, в особенности характеры в развитии, в своем внутреннем развертывании. То, что мы у него видим, в сущности, ряд ситуаций, иногда очень ярких, хорошо повернутых, интересно задуманных, ряд звеньев, на которые разбивается повесть, при чем каждое такое звено — почти самостоятельно. Ни единства композиции, ни единства характеров мы здесь не найдем. В каждом звене подробности четки, второстепенные персонажи очерчены с достаточной определенностью, но более или менее сложный характер, проходящий через всю повесть, сам как бы разбивается на ряд звеньев. Нет характера, как некоторого единства, развивающегося из одного принципа. Поэтому можно сказать, что художественных типов в «Первой девушке» нет. Саня так же мало тип, как и Алехин. И если между первыми 24 главами и последними 8 раз'единительные черты особенно сильны, превращая эти две половины произведения как бы в две самостоятельные повести, то это только усиление звенового характера композиции, присущее произведению Богданова вообще.

То, что реально скрепляет повесть нашего автора, это — не мнимое единство композиции и типов, а единство темы. Тема «Первой девушки» та же, что и в «Прыжке» Бражнина — вопрос об увязке личного с общественным. В первой части он решается положительно, выступая с особенной отчетливостью в эпизоде с арестом Алехина: арестованный комсомолец убегает из «ямы», куда он засажен мстительностью окулачившегося председельсовета, — только для того, чтобы предупредить город о готовящемся восстании крестьян, раздраженных произволом и хищничеством сельских властей; он забывает о собственных обидах, о том, что он арестован без всякой вины, избит, унижен. Интерес революции без следа стирает в нем накопившихся личных чувств. Во второй части этот же вопрос решается отрицательно, от

противного. Половая проблема, выступающая к концу повести на передний план и в которой иногда видят основное содержание «Первой девушки», есть только частный случай, на котором получает разрешение вопрос о соотношении общественного и личного.

Но такого, слишком общего, единства темы недостаточно для того, чтобы прочно сцементировать художественное произведение, придать ему действительную целостность. «Первая девушка» остается вещью композиционно рыхлой и противоречивой. К тому же противоречиво и самое разрешение вопроса, лежащего в основе вещи. Дружная работа и самопожертвование комсомольцев часто оказываются на поверку обязанными действию все того же всемогущего Эроса, вяжущего и разрешающего всяческие узлы. Героями богдановской повести больше всего руководит привязанность, нежность, любовь к Сане. Как средневековые рыцари, они готовы совершить самые трудные подвиги за улыбку или поцелуй своей дамы. Они ревнуют и подстерегают друг друга. Они отправляют Дикарька на фронт только для того, чтобы избавиться от опасного соперника. И, конечно, это довольно наивно — представить любовь в качестве главной пружины политической деятельности. Иной прямолинейный читатель, привыкший воспринимать литературу дидактически, мог бы, пожалуй, понять Н. Богданова так, что для успешной работы комсомола необходимо ввести в ячейку хотя бы одну красивую и энергичную девушку, которая сумела бы увлечь за собою молодежь и использовать половую энергию в качестве организационного фактора. Но это всего только «романтическая история», и не следует искать в ней слишком строгой логики.

Как видим, в трех разобранных произведениях много общего. В них поставлен один и тот же «генеральный» вопрос: об увязке общественного с личным. Они все «проблемны», написаны à thèse: в наибольшей степени «Прыжок», в наименьшей — «Первая девушка». Общий вопрос заострен повсюду на одном и том же частном: поло-

вом. В «Прыжке» он даже почти целиком сведен к половому. Это—общее несчастье нашей проблемной литературы: она неизбежно и стремительно соскальзывает к вопросам пола. Думаю, что здесь сказывается не только острота этих тем, но и выигрышность их, «пикантность», а также привычка «танцовать от печки», литературная традиция начинать и кончать «любовью».

Быт молодежи изображен во всех трех вещах в густых и мрачных тонах. В «ячейке» эта мрачность достигает апогея. Вопрос о соотношении общественного и личного нигде не получает положительного решения. То, что выдается за такое решение, — схема, в которую не веришь, или фальшь общего места. Наоборот, «отрицательные» случаи, трагедия неразрешенности, неувязки показаны с максимальной убедительностью. А так как в искусстве имеют значение не хорошие слова и добрые намерения, а художественные «факты», то объективный смысл всех этих произведений—трагичен.

Нетрудно заметить, что молодые авторы, о которых идет речь, имеют большое преимущество перед другими писателями, затрагивавшими те же темы, преимущество, заключающееся в лучшем знании быта молодежи, в несравненно более тесной близости к ней. Это преимущество, конечно, сказывается в их произведениях, но они не умеют использовать его в полной мере. Принципиальной разницы между «Прыжком» Бражнина, например, и «Луной с правой стороны» Малашкина, «Собачим переулком» Гумилевского, «Без черемухи» П. Романова нет. У Бражнина это несколько лучше, правдоподобнее, естественнее, искреннее, но скороспело-проблемная сущность сохранилась та же. Мы и тут

остаемся в пределах специфической литературы, не поднимающейся до искусства, «беллетристики» в кавычках.

Но читатель зачитывается «Прыжком» и «Ячейкой». От этого нельзя отмахнуться. На это должны быть свои серьезные причины. Чем-то сумел Бражнин затронуть огромную аудиторию, вызвать споры, оживить диспуты. Очевидно, как ни сгущены у него краски, он действительно нащупал какие-то больные места. Пусть его ответы неудовлетворительны — он все-таки как-то отвечает, и до тех пор, пока кто-нибудь не сумеет дать лучший и более убедительный ответ, читатель будет читать Бражнина, искать у него разрешения вопросов. В так называемой «проблемной» литературе есть органический порок. Но ее существование—не досадный пережиток: она вызывается к жизни реальными потребностями. Надо не игнорировать их, а понять их, пойти им навстречу, разрешить их не в плане «беллетристики», а в плане искусства.

Я этим не хочу сказать, что молодые авторы, составившие предмет этой статьи, вовсе чужды настоящей литературы. В лице Богданова, например, я вижу талантливого писателя, чувствующего специфику своего дела, своего «ремесла». Я хочу лишь отметить, что художественная значимость их произведений будет всегда находиться в обратном отношении к их проблемно-«беллетристической» установке. Я хочу лишь указать, что литературное произведение нельзя изготовлять так, как составляют лекарство для детей: горечь «идеи», неприятная, но необходимая, подслащивается занимательным сюжетом. Идея сама по себе, сюжетец сам по себе. Но искусство требует не аптекаря, а художника.



## 2. „ЛИЧНОЕ И БЕЗЛИЧНОЕ“

(Из наблюдений над современной литературой)

Н. Замошкин

В письме к Н. А. Некрасову по поводу аксаковских «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии» И. С. Тургенев обмолвился (как это часто бывает у художников слова) ценным замечанием, имеющим общее значение для психологии творчества: «Ничего не может быть труднее человеку, как отделаться от самого себя и вдуматься в явления природы... Гремите, не сходя с места, всеми громами риторики: вам большого труда это не будет стоить; попробуйте понять и выразить, что происходит хотя бы в птице, которая смолкает перед дождем, и вы увидите, как это нелегко!»

Тургенев требует от писателя умения «отделаться от самого себя»... Что это значит? Конечно, речь тут идет об обязательности объективного изображения людей, явлений природы, о настоятельной необходимости забыть себя, перевоплотиться в изображаемое, мыслить и чувствовать, страдать и радоваться мыслями, чувствами, страданием и радостью своих героев. В сущности говоря, всякое произведение подлинного искусства наглядно демонстрирует самостоятельность, автономность своего существования и заслоняет собой действительного виновника торжества, т. е. писателя-художника, который для этого как бы «смолкает» и отходит в сторону...

«Нет таких слов, которые бы дали точную фотографию, нет таких слов, которые воспроизвели бы действительность. Словом, человек передает не то, что было, а лжет. Вот это и есть корень литературы» — читаем мы в «Истории западно-европейской литературы» (лекция 1-я) А. В. Луначарского. «Человек приобретает в искусстве слова возможность отделаться от действительности, давать ей совсем другую окраску, обогащать ее новыми фактами» («Социальные основы искусства» того же автора).

Чтобы приобрести право полным голосом говорить об «автономности»

произведений искусства, мы прибегли к тяжелой артиллерии цитат, принадлежащих авторитетным лицам. У А. В. Луначарского и И. С. Тургенева специфический момент «отделаться» звучит, правда, совсем не одинаково, но разве не характерно само по себе вот это общее требование выйти из тисков обычных представлений и копирования природы? «Ложь», о которой говорит А. В. Луначарский, конечно, и есть та самая ложь или иллюзия искусства, без которой немислим самый процесс изображения.

Заранее помиримся с автономностью художественного произведения, чтобы было о чем говорить. Истинный художник — хочет он этого или не хочет — всегда на какой-то миг «умолкает» и становится искусен, «премудр и худож» (отсюда «художество» — см. у Н. С. Лескова, в повести «На краю света»). Такова сила художественной иллюзии. Вне ее нет материала для критического суждения о втором плане художественного произведения, остающегося в тени, где «тьма низких истин» является господином положения, — об идеологических предпосылках любого художественного метода, живущего иллюзией самостоятельного существования. Выход за пределы этой видимости — естественная и обязательная задача теоретика, а отчасти и критика, пожелавшего выйти из круга созерцания в область анализа.

Двойное бытие художественного явления никого не должно смущать. Без примирения с иллюзией нет никакой возможности естественного непредубежденного восприятия искусства. С другой стороны: именно иллюзия ежеминутно предупреждает о том, что за нею лежит область неиллюзорного бытия. Обладая такой же реальностью как и любой предмет вещного мира, художественное произведение одновременно является особой структурной реальностью, и социологически вся задача сводится к выведению

связей между реальностями, т. е. к нахождению художественному вымыслу места под зодиаком современности.

Нас, однако, сейчас занимает не столько общее понятие двойного бытия литературного произведения, сколько особые свойства двух художественных методов, противоположных по своему строению, но одинаково ценных по результатам и любопытных по своей внешней обманчивости и иллюзорности. Художественная практическая методология (как и на знаменитом примере Ф. Энгельса о невозможности объяснить экономически изменения гласных в верхне-немецком наречии) поддается социологическому анализу с чрезвычайным трудом. Мы увидим, как сложен иногда материал и пестры способы его обработки, как, благодаря наличию художественной иллюзии, индивидуалистическое «я» художника не всегда противостоит объективной реальности, а иногда и утверждает ее, и как, например, пристрастное внимание художника к «биологизму» несколько отдаляет его произведение от социальной природы человеческих поступков. Каждый художник по-своему пользуется дарованной ему социальным бытием хартией писательской вольности. Все художественные дороги, если они полноценны, ведут в Рим, т. е. к одной цели объективного раскрытия мира, и обогащают его «новыми фактами»<sup>1)</sup>.

### На авансцене

Возможно ли создание «автономного» произведения писателем, упорно не желающим «отделаться от самого себя»? В этом случае, игнорируя как бы нарочно совет Тургенева, писатель настойчиво выдвигает себя на авансцену, никакого «дождя» не боится и не «смолкает». Писатель ставит себя в

центр, хочет быть видимым, а не облачным «демиургом» действия, желает быть определяющим персонажем сюжета. Он против «закулисной политики», позиция наблюдателя его никак не устраивает. И что замечательнее всего: «громами риторики» (по Тургеневу обязательной спутницы «самовыдвижения») произведения его не оглушают читателя, так как писатель этот совсем не риторичен, а очень сдержан и даже отличается расчетливой скупостью в выборе слов, построении фраз и образов. Мало того: тургеневское язвительное «не сходя с места» к нему абсолютно неприменимо, ибо этот писатель—неугомонный ходок в жизни и литературе, и, может быть, он наиболее моторен среди всех «путешествующих». Не обязательно, значит, писательское старание во что бы то ни стало «отделаться от самого себя». И без этого требования возможно—при прочих равных художественных условиях—появление подлинного («иллюзорного») произведения, о котором можно сказать словами Тургенева: «и вы увидите, как это нелегко!» Мы говорим о М. Пришвине.

Путь М. Пришвина подобен балансированию на проволоке. Каждую минуту его «я» может нарушить равновесие частей. И дело тут не в «я», как грамматической форме, часто встречающейся в литературе, а в пришвинском фундаментальном сюжетном «я», как решающем действующем лице, как строителе идеи и всей структуры произведения. В своих героях (их очень, очень много) он ищет прежде всего самого себя. «Стремление к самоизображению» (выражение У. Патера) и есть движущая причина творчества, лишь скрытая и обогащенная у него другими побуждениями, главным образом, побуждениями коллективного существования.

Как поступить, чтобы «я» не убило в зародыше зачинающуюся жизнь произведения, чтобы «иллюзия» существовала фактически, а не в возможностях? Не в установлении правильной пропорции между личным и объективным, и даже не в нахождении магистральной тропы, прямой дороги к цели, к син-

<sup>1)</sup> Произведения, о которых сейчас будет речь, помещены в 4-й книге «Альманаха» ЗИФ и в 15-й книге сборника «Недра». В статье мы не ограничимся рассмотрением художественных приемов, как таковых, в их обособленности от смысла произведений, а более или менее тщательно проследим ход и строение «содержания».

тезу этих двух взаимоотталкивающих сил (хотя без них и нельзя обойтись) секрет «автономности» пришвинских произведений. Важно установить, как обстоит дело со стороны опытности, благоприобретенных способностей писателя находить то, чего хочешь, и умения сделать достоянием всех лично добытое.

В превосходной миниатюре «Старухина тропа» (из книги «Журавлиная родина») М. Пришвин на деле показал, как блуждает писатель, когда он сам побывал на распутиях дорог, и как, в конце концов, сумел он разглядеть тайну отыскания пути. Личный опыт и бытие, непосредственное участие в деле, которое подлежит изображению, — вот что для Пришвина имеет решающее значение. Поэтому-то для него абсолютно необходимо быть самому в сюжете, толкать его лично, действовать в нем, чтобы перевоплощение в материал играло всеми красками совершившегося факта. Он агрессивно вторгается в свой вымысел, разоблачает механику поисков, выворачивает шкуру вымысла и запечатлевает жизнь не столько в психологическом анализе, сколько в графическом показе ее внешних знаков. «И сколько же я поблудил в Серкове в поисках Старухиной тропы!» — восклицает писатель и тотчас же приступает к разоблачению страхов и обманов, преследующих людей, неспособных утвердить свое «я» над стихией. Без этого личного опыта для М. Пришвина невозможна прямая тропа к искусству. Иначе — так полагает писатель — все будет «казаться», а не существовать. Крестьянская ведьма неминуемо обернется обыкновенной старухой с клюкой только в том случае, если вся механика превращения художественной фантазии в реальный факт будет спокойно вскрыта откровенным писателем. М. Пришвин постоянно следопытствует, и открывается тогда перед ним бесстрашная дорога к веселому миру явлений, где важнее всего добыча, победа, где стихии не заклиняют традиционным «Свят! Свят! Свят!», а умирляют скепсисом бывалого, знающего себе цену человека. Если

сравнить раннюю книгу М. Пришвина «В краю непуганных птиц» с новеллами из «Журавлиной родины», то сразу заметишь вот эту уверенность в своем «я», этот эгоцентризм художественного метода. Прямая тропа к искусству прорублена им крепкими и меткими ударами топора, блеск которого действует замораживающе на сентиментального читателя. Пристрастие писателя к сделанным им самим орудиям производства, к своим мускулам и фигуре, постоянно участвующей и указующей, пренебрежение к подмене авторского «я» стыдливо-гордым «третьим лицом», жестокое стремление разоблачить трусость людей, малодушную изменчивость их поступков («Так ведь постоянно у баб: пока лесной хозяин не виден, — боится, а покажись и допусти, — юбку на него наденут!») — со стороны литературной, технологической проявляется прежде всего в его вездесущем «я», потому что всегда «сам он там был», на месте действия и не ограничивался наблюдением, а экспериментировал, занимался расстановкой людей, событий, командовал ими. Во всей современной литературе М. Пришвин — самый личный писатель, сочетавший оригинальнейшим образом эгоцентризм с полным пренебрежением ко всяческой мистификации. Ему вообще чужд какой бы то ни было этикет (разве только к самому себе?). Он обладает иммунитетом против навязчивых эмоций, стонит «переживаний», волнений.

Обращая, главным образом, внимание на походку человека и животных и остроумно определяя по ней характерологические особенности своих персонажей, М. Пришвин искусно зарисовывает превращения лица старухи-жизни, смену ее ликов. Вопрос о ценности этих превращений его почти не интересует. «Что есть истина?» — пожалуй, за порогом его художественных раздумий. Приятнее проделывать опыты и следить, как стихия стихает перед взором человека, как ложится она под ноги побежденной, чем коленопреклоненно раздумывать над судьбой мира. М. Горький (вступительная статья к собранию сочинений М. Пришвина) удивительно метко — в форме личного

обращения — отметил эту черту писателя: «Обычно люди говорят земле: «мы твой». Вы говорите ей: «ты—моя». Можно добавить к этому откровенное признание самого М. Пришвина, обращенное к самому себе: «ничего не бойся». Ведь личины старушечьего лица жизни (от Пиковой Дамы до озорной блудницы...—вот дистанция!) наводят страх только на богобоязненных людей. В этом и заключается то абсолютно здоровое и бодрое противоядие, какое прописывает М. Пришвин русскому читателю, по наследственности падкому до эмоций и скорби. Внеобщественность его произведений совершенно мнимая (впечатление это питается нашей привычкой смешивать «проблемность» с «общественностью»): в поступи писателя-Берендея, при полном звучании авторского «я», слышатся отзвуки той общественности, которая выходит за пределы претенциозной «проблемности» и сливается с жизнью всей природы. М. Пришвин резкими толчками открывает двери настези в те уголки, где иногда под покровом общественного радикализма пышно цветут лопухи таинственности. Эгоцентризм его художественной натуры, в конце концов, растворяется в материалистической натур-философии, где сходятся в один узел и индивидуальное и социальное.

Относительность, кратковременность и ущербленность каждого данного события, которыми так искусно играет Пришвин, проецируются и оформляются им в нечто, имеющее общее значение. Пришвинское «я» как раз и прodelьывает этот скачок, теряя «субъективный» привкус. В маленькой форме новелл это легче всего достигается. Наконец, возможно и такое понимание субъекта, как соучастника в общем деле на ряду с другими субъектами. Соучастие, а не раздельность и обособленность, и придает пришвинскому «я» характер близости с проблемами современности, если даже не иметь в виду его внимания к злободневным фактам жизни.

«Старухина тропа» — произведение чрезвычайно отчетливое по обнаженности главных приемов писателя, не-

желающего «отделаться от самого себя» и тем не менее достигающего большой объективности в показе жизни. Он пишет о старухе, обыкновенной старухе, а получается земля, морщинистая, чело которой говорит о вечности. Личный опыт писателя постоянно корректируется знанием и пониманием законов общественного развития. В другой новелле он, пользуясь житейско-простейшими образами, показывает, что не боги горшки обжигают, а простые, корявые люди. «И вдруг так все просто оказалось... перебирать пальцами—и дудочка из волчьего дерева, тростника и коровьего рога сама свое выпевает» («Жалейка»). М. Пришвин любит подразнить и запутать только в начале, чтобы к концу сразу жестким своим словом вернуть читателя на грешную землю. «Жалейку» он обрывает почти цинической фразой: «На голодное брюхо не заиграешь!» Туман еще более рассеивается подкрепляющим замечанием самого автора об одной из тайн «орфической» поэзии: «я понял... каши наелся—и заиграл». Ни одним помыслом писатель тут не отделяет себя от мужиков, для него «каша» не ниже «возвышающего обмана» поэзии. Не здесь ли находится стык писательского «я» с развернутым действием новеллы — при полном сохранении ничем по существу не прикрытого писательского приоритета над изображаемым. Грубое (не в обычном значении этого слова) до жестокости мировоззрение М. Пришвина еще выпуклее обозначилось в «Змее», где мужики убивают это животное. И надо было ее убить, хотя она умная и—пока ее не трогают — безобидная. (Ср. другое разрешение жестокости у С. Сергеева-Ценского, где так же убивается змея—рассказ «Старый полоз».) Убили. Так мир устроен, и даже вдохновенные звуки «жалейки» тут не могут помочь... Оправдание необходимой, императивной и целесообразной жестокости доводится в новелле до ясного сознания. М. Пришвин тверд и непреклонен, он не хочет «обмана», за которым скрыта опасность смертельного укуса. Его в жизни однажды укусила какая-то «змея», и он не хочет умирать. И здесь личный опыт, обусловивший внешне-

личную структуру произведений, писателем выдвигается на первый план. Роль авторского лиризма, организующего направление художественной идеи произведения, у М. Пришвина всюду наглядно демонстрируется.

### Наводнение чувств

Совершенно иной метод достижения художественной цели у Евгения Замятина. В его последнем, особо значительном по мастерству, рассказе «Наводнение» добровольная отдача писательского «я» во власть материала настолько полна, что можно говорить о полном растворении художника в им же самим созданном произведении. «Наказ» Тургенева выполнен Замятиным целиком. Но в самом требовании «вдуматься в явления природы» таится опасность: трясина «природы» может всосать в себя художника... Такой редкий случай и произошел с Замятиным.

«Оно самое» — вслух сказал Трофим Иванович. «Что?» — спросила Софья. «Детей ты не рожаешь, вот что».

Темное, мутное, безапелляционное, сжигающее и утверждающее «оно» — вот герой рассказа. Софья начинает мучиться плотью с такой страшной силой, с какой действует разве только один закон тяготения. «Оно» — безличное, внутреннее, самодовлеющее, молчаливо-требовательное и в своем молчании злое — поселилось в ней. Лучше бы Софья заговорила, закричала, забила бы в припадке, но нет: «оно» приказывает молчать. Следуя Софье, и Замятин ни одним вздохом не выдает своего участия в рассказе. Металлом своей воли он перелился в изображаемое, как бы уйдя, исчезнув с поля битвы. Это не рабство, а, наоборот, лишенное всех видимых признаков, но тем не менее господство над изображаемым материалом. Стоит ли говорить, что иллюзия в этом случае еще более владывает и завораживает читателя. «Оно» в замятинском рассказе не только объект (даже, как это увидим, вовсе не объект), точка приложения сил, но и антитеза субъекту — организатору произведения. Морфологическая функция

писательского «я» здесь совершенно отсутствует, как бы не существует, завеса «объективизма» скрывает идеологическую «подоплеку» самого писателя.

В полном подчинении своему хозяину — «оно» — совершает свой преступный круг Софья, женщина, восхотевшая ребенка, затосковавшая по страсти и, наконец, захлебнувшаяся «наводнением» чувств. И поняла она: «если не будет ребенка, Трофим Иванович уйдет от нее, незаметно вытечет из нее весь по каплям, как вода из разошедшей бочки». Отсюда начинается наваждение, глухое смятение, слепое томление. Софья, действительно, смолкает перед дождем — наводнением, как птица... Замятин ее наружное молчание, когда где-то там внутри, в недрах плоти разыгрывается буря, превратил в основной фон произведения. Фон этот страшный, в нем светятся единственные огоньки: злое — глаза совы, непонятные и притягивающие. Из осколков неясных желаний, не доходящих до сознания, из тьмы живота («Софья почувствовала, как в ней кругло, медленно поднималось от живота снизу, потом все горячее, быстрее, выше...») начинают клубиться угарные хотения о преодолении своего бесплодия, об уничтожении своей соперницы, девочки Ганьки, зеленые кошачьи глаза которой уводят Софью в самое себя. Софья начинает жить, как червь, неслышно копошащийся в земле. В себе, про себя, затаясь... В тишине, которая оглушает хуже грома. Так стелется по земле безличное «оно», на брюхе, волоком... и только легкое шуршание нарушает тишину.

...И вот наступает разряд. Тучи, камнем навалившиеся на Софью, вдруг расступились, и, «не думая, подхваченная волной, она подняла топор»... Ганька лежала изрубленной. Убийца вздохнула легко, свободно, и заснула, освобожденная, счастливо, вся... Наводнение кончилось? Нет. Оно отлегло от живота только на миг, чтобы возторжествовать в другом виде: Софья забеременела. Живот ее стал «круглый, это была земля». Буйное трофимово восклицание, в котором животности не меньше, чем в круглом жи-

воте Софьи: «Со-офка!» — завершает торжественную победу «оно».

Да ведь это же простейшее, первобытное, мужичье и совершенное реалистическое речение. В зямятинском толковании «оно» на первый взгляд тоже вполне простое, понятное, лишненное мистических оттенков слово, символизирующее плоть, весенний сок жизни. В тексте произведения «оно» даже и не упоминается, за исключением цитированных нами слов Трофима. Возведение этого словечка в степень символического «оно» целиком принадлежит нам, пожелавшим расколоть твердый орех смысла произведения.

Еще раз подчеркиваем, что писатель нигде текстуально не возводит это «оно» в высшую категорию. Он всегда исключительно позитивистически, если так можно выразиться, настроен. Это мы возводим слово в особого рода художественную реальность, — и на это есть у нас основания: зямятинское последовательно проведенное чувство «больших пропорций» при изображении страсти необходимым образом принимает мистические очертания рока, не вмещающего ни голоса разума, ни требований нравственности... Поэтому критик в праве отметить в этом «оно» нечто враждебное главному устремлению современности. Невинное словечко «оно» и действительный смысл его в рассказе говорят о том, как художественная «иллюзия» переросла в мировоззренческую ядовитую иллюзорность.

«Наводнение» — рассказ о вечно-старом, как стара земля, — о жизни, любви, буйстве плоти, ломающей все преграды. Куда ни кинешь взгляд — всюду земля, круглая, как шар. Ганька ушла в землю, но из земли — живота — прет жизнь: рождается новый человек. Круговорот. Зямятин искусно пользуется для этого многими словесными эквивалентами одного центрального образа, имя которому «оно». Таким образом слагается цепь из однородного металла (из образов живота — земли, округлости и пр.), опоясывающая все произведение.

Поведение одержимой влечением женщины показано писателем без каких-либо отступлений. Софья с закрытыми

глазами через ревность и убийство идет к победе. «Оно» отнимает у человека «психологию». Никаких «психических шоков» Софья не знает, не чувствует над собой никаких моральных догм. Если она грешница, то поневоле. В ней нет «эгоизма», неразрывно связанного с самосознанием, самопроверкой. Ассоциации у ней автоматичны, непрочны и все направлены в одну сторону.

И порочны мечты, и бесстыдна любовь,  
И безумная радость дика...

Е. Зямятин нажал все педали, чтобы крик плоти заглушил сопротивляющиеся голоса. Не преступница Софья, нет! — Вот о чем говорит каждая страница рассказа. На языке логики ход рассуждений автора будет выглядеть приблизительно так.

Преступница не она, Софья, а «оно»... В ее поступке нет состава преступления, ибо этика «оно» находится «по ту сторону добра и зла». «Герой» этот не подсуден общественному мнению, а тем более Софья — жертва этого героя. Мало того: Софьиная победа — ее законное счастье, выстраданное, добытое счастье любви. Темная сила ее плоти не знает других превращений, кроме эротических. Все существование этой женщины ограничивается бытом жены, протекает в спальне, не находит точек приложения для спасительного переключения могучей силы в другие виды энергии, не сублимируется ни во что... Так за что же ее судить или наказывать? Возмездие было бы несправедливым насилием над человеком, который не знает, что такое долг, нравственная норма, который не способен отвлеченно мыслить. «Оно» ведь не рассуждает, а действует.

Так построил Зямятин свое произведение. Но где тонко, там и рвется. Огдать человека на поток и разграбление физиологии, поставить безумие на пьедестал, оторвать человека от социальных связей — это значит лишить его прав на существование в коллективе и пасть ниц перед идолом глухим и безрассудным. «Оно», которому, ради художества, отдался писатель, обрушивается на голову соблазненного и исключает писателя из

огромного большинства тех людей, смысл существования которых заключается в борьбе со стихией. Физиология под пером Замятина превращается, таким образом, в блудливую старуху-ведьму, олицетворяющую мистическую природу пола.

И тем более странным и неожиданным является в конце рассказа новый, на этот раз уже художочный герой: возмездие в лице следователя, стража общественного порядка. Тут писатель неожиданно прибегает к искусственной развязке, известной под именем *deus ex machina*. Искусственной и странной потому именно, что «яд», заключенный в «хвосте» рассказа, принадлежит не «змее».

Раз'яснимся. Если бы рассказ перебывался мотивами общественно-идеологического порядка, тогда явление стража в финале было бы существенно необходимым. Но ведь «кругом Васильевского острова (где жили Софья и ее муж) далеким морем лежал мир; там была война, потом революция», а в Софьином доме обитало только одно «оно», чуждое, как это показано Замятиным, и войне и революции. «Наказание», последовавшее за «преступлением», пристегнуто к рассказу, как лишняя пуговица к форменному мундиру. «Наводнение» — произведение исключительно «форменное», и к нему, как к песне, нельзя прибавить лишнего слова. Тут кончается заговор молчания и выступает на сцену автор — рассказчик, повествователь о постороннем как бы ему деле. Сюжет и новоявленное, прикрытое формой третьего лица, «я» начинают существовать в рассказе раздельно, «хвост» произведения не срывается с «телом», а привешивается к нему и поэтому болтается.

Мы за «наказание», так как оно очищающе подействовало бы на весь смысл рассказа, но при одном условии: «катарсис» должен вытекать из всего хода действия. Тщедушная и хилая фигура следователя и вообще все расказание Софьи — ничто в сравнении с «оно». Таков рассказ, такова и мера, к нему прилагаемая. Воды схлынули, как только Замятин подоплет к

развязке. Художественное наводнение прекратилось. Это говорит, как трудно было писателю встать на социальные позиции, чтобы отделаться от убийственных чар «оно». Просто нехватило красок, темперамента. Финал, чтобы избежать, должен был начаться и лить о себе знать еще в первой половине рассказа. Но тогда бы... получился другой, иной рассказ. Сам по себе разумный и социологически целесообразный выход, к которому прибегнул Замятин, не стал таковым, ибо требовал к себе еще большего внимания, чем «оно». Художественное господство над материалом, о котором было упомянуто выше, к концу рассказа значительно ослабело.

Любопытен перелом, наступивший в поступательном движении рассказа, когда Софью покинуло молчание. Бросается в глаза перемена в самом подходе к теме: с этого момента Замятин начинает повествовать как бы «со стороны» и ставит себя в положение наблюдателя. Вслед за исчезнувшим «оно» приходит Замятин, и попрежнему сочно, но уже из-за угла начинает отсчитывать последующие такты страстной мелодии... Прозанческая традиционная фигура следователя, таким образом, не смогла переломить хребет произведения. Ее одной было недостаточно. Не видно приготовлений к приходу этой фигуры, т. е. в рассказе отсутствует социальный фон. Трофим — рабочий, но где же его «работа»? Где же «война и революция», которые бы оттягивали, переключали и видоизменяли страсть Трофима и его жены? Ничего этого нет. «Коловращение» событий происходит в замкнутом пространстве, где рабочий ничем не отличается от любой иной двуногой особи. Зачем, спрашивается, надо было давать Трофиму паспорт «рабочего»? Зато вот «оно» встает во весь рост — в самоубийственном порыве Софья кричит: «Я убила ее, я хотела, чтобы у меня»... родился ребенок! Вот и вся философия. Еще раз подчеркнем: «наказание» не удалось в рассказе, так как отгороженные волею писателя от мира люди не заслужили его. Конечно, государство иначе поступить не могло, не наказавши преступника. И это

чувствовал автор. Но в том-то и дело, что он лишил свою героиню всех признаков «государственности», изолировав ее от своего класса, не наделил эту семью никакими производственными отличиями, а пустил ее по волнам разбузданной стихии. Никто не может сомневаться в необходимости возмездия, и не об этом тут идет речь. Почему так художнично выглядит конец в рассказе — вот в чем вопрос. Ответ напрашивается один: Замятин всю силу художественной изобразительности отдал идолу плоти, а на преодоление последнего нехватило ни сил, ни желания. «Отдача» своего «я» материалу не прошла безнаказанно.

Евг. Замятин всегда был (если на время позабыть его «утопии») писателем наиболее земным, жизнелюбивым и всегда шел от плотного быта. Таким он предстает перед читателем и в «Наводнении». Однако, быт здесь доведен до степени почти метафизической, когда раскрываются не линейные черты его, а ядро материальной массы, из которой слагается быт как таковой. И не случайно Замятин, чтобы погрузиться в пучину своего метительного замысла, изъял из обращения все собственноразличные бытовые, профессиональные, трудовые и прочие признаки существования человека. Он не заметил, что такая крайняя степень овладения материалом грозит нежелательными последствиями, что орудовал он страшным инструментом — бумерангом, орудием, требующим от человека исключительной осмотрительности. Бумеранг взметнулся в обратную сторону и больно ударил по своему владельцу, пожелавшему скрыться под защиту «юриспруденции». Но — «явление богаче закона». От Замятина требовалось, чтобы «явление» следователя не было только сценическим, а было неизбежным результатом всей установки произведения.

Только органическое совмещение биологической и общественно-бытовой стихии в едином процессе могло привести рассказ к естественному концу. Тогда бы «оно» не подверглось столь резкому абстрагированию от всей иной «плоти» человеческой жизни. Социо-

логизация материала, взятая хотя бы параллельно главному фону, сделала бы из рассказа наиболее глубокое произведение современности. По какой-то причине, однако, Замятин этим пренебрег, оставив лазейку для обвинений в пристрастии к безличной силе, господствующей над людьми. Преклонение перед «пышнодарящей добропородной матерью Деметрой» вовсе не обязывало писателя отвлечься от общественного, классового, государственного бытия человека. Совокупность этих фактов, несомненно, ослабила бы и направила в иную сторону разрушительно-производственные инстинкты Софьи.

Простейшее из простых — «оно», сбалансировавшее своей простотой и непогрешимостью Замятина, толкнувшее его на «отказ от самого себя», повлияло особым образом и на самый стиль произведения. Случилось знаменательное: Замятин порвал (может быть, навсегда?) с «замятинским» стилем, известным под именем «сказа», который был порой блестящим, запоминаемым, как запоминается музыкальный строй песни, но который, по самой природе своей, отводил писателя куда-то в сторону от естественности, тянул к самолюбованию, игривости, кокетству. В «сказе» всегда проглядывал хитрый глаз игрока, актера, мимиста, отводивший внимание слушателя (да, слушателя, а не читателя!) от самой сути дела к декоративному оформлению произведения. «Наводнение» же показано в сукнах, без словесных декораций — и никакого ущерба для художественной выпуклости! Наоборот: простые обычные слова рассказа предельно плотны и выразительны. («Его глаза прошли через Софью, как сквозняк», или: «Сразу же ветер, свистя, всю ее туго обернул, как полотном»). По своей плотности они соперничают с характером Софьи. Словесные образы так же непосредственны и естественно-примитивны в рассказе, как и само «оно». Замятин прекрасно улавливает ценность своих образов и соотношений между ними. Словесная ткань рассказа не имеет «души» (чего настойчиво требовал от художника Мопассан), а наполнена одним теплым, пахучим «телом» (и здесь



аналогия с Софьей). Вся фразировка обильно сочится «материей» образов.

Сказ, ритмическая проза, разные виды стилизованной прозы, игра инверсиями и др. «изыски» писателей,—в свете генерального развития литературного искусства, — может быть, не более как «этап» в судьбе каждого истинного художника, временное стояние на предварительных позициях. Приходит момент, когда писатель прощается со своей стилистической «предисторией» и вступает в единственно-правильную и естественно-необходимую полосу своего мастерства. «Простой» стиль в прозе Замятина и знаменует эту «полосу»: он так же неудержим в своих правах на выражение, как и простое «оно» императивно в своих поступках.

### „Потемки кровей“

О плодородии, плодородности и тучности, об изнеможении от тучности, о пряном запахе цветущей парной земли, о разнузданной щедрости соков земли, о наваждении и наводнении мира чувствами повествует не только Замятин, но и слагают стихи молодые поэты. Молодой даровитый поэт Осип Кольчев свое несколько перегруженное образностью стихотворение «Сады Тирасполя» заключает следующими «перенапряженными» стихами:

А яблоко снеет...  
 Оно никогда не просочит,  
 Оно наспиртовано  
 светом тираспольской ночи.  
 Оно, точно порохом,  
 терпкостью заряжено  
 И перенасыщено  
 и перенапряжено...  
 Его разобрало  
 до одури и доотвала,  
 Его на заре,  
 как мальчишеский голос, сломало—  
 И с ветви толкнула  
 еще непонятная власть:  
 Упасть...

Последний аккорд «у п а с т ь» звучит превосходно, как завершающий момент освобождения от одуряющей силы созревания. И здесь грамматическое оно (яблоко) в плане созерцательно-поэтическом приобретает все черты замятинского «оно», но здесь «непонятная власть» отчасти теряет свои мистические и агностицистические признаки. Если

Ньютон волен был, наблюдая за падением яблока, понять и открыть великий закон притяжения, то поэт также волен был, пользуясь «неодушевленностью» предмета, излить свой восторг перед «непонятностью» падения плода. Поэт волен пребывать в поэтическом созерцании до забвения своего «я» и жить в течение некоторого мгновения как бы в исступлении, в состоянии полного перевоплощения.

Э. Багрицкий, как и О. Кольчев, тоже уводит читателя «в потемки кровей, в первобытный строй» (стихотворение «Сурпинус сарпио») — в вечно длящийся первый день мироздания, в ту библейскую силу цветения, где царствует закон всемирного набухания. «Ужидят самцы на безмолвный бой, на бой за оплодотворение...». Э. Багрицкому, поэту конструктивистского направления, культивирующего «производственные» мотивы, свойственно, в отличие от других поэтов этой школы, вызывающее любованье и даже смакование процессов оплодотворения в животном мире. Даже «растительное существование» его не удовлетворяет, он предпочитает обнаженность как таковую, без стыдливых покровов. Ихтиолог, сачком выбирающий икру и трудящийся, не покладая рук, во славу размножения, существует у него для «иллюзии» (со стороны технически-художественной поэт находится как бы на полпути между замятинским и пришвинским методами изображения). Тем не менее главный герой в его стихотворении — уже известное нам «оно». Внимание поэта останавливается на специфических эротических картинах:

И в брачной окраске плывут самцы  
 На стадо беременных самок.

Поэт эпиграфом к своему произведению мог бы взять знаменитые слова толстовского Ершки: «Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми». И вот он с редко встречающейся настойчивостью берет пример с зверя, и, прикрываясь подставным «ихтиологом», эпически инструментурует в стихах бесшумный ход своих чувств и мыслей. Стоит тут отметить одно обстоятельство, пожалуй, не случайного происхождения. Конструктивисты тщательно изучают и отчасти применяют

ритмические и жанровые особенности поэзии наиболее империалистического и агрессивного в английской литературе писателя — Р. Киплинга. Империализм же Киплинга не только социологический и политический, но и психологический. Строй его поэзии насыщен звериным чутьем, мотивами наслаждения, захвата, радостью «охотника за черепами». Не перенял ли Э. Багрицкий в какой-то мере у Киплинга этот особый вид психологического «империализма», начипенного жаждой жизни и жизнетворческого оптимизма?

«Первобытством» заражена и поэма «Лосная выть» нового поэта Ивана Ханаева. — о зверях, о борьбе их за место в лесной глуши. Эпичность поэмы двойная: п от строгой бесстрастной наблюдательности поэта, и от эпической природы самой «выти», где нет места эмоциям при виде, как «самки мартовский приплод несли в разбухнувшей утробе», где «лис дрался и был, как все», и «ломко кости хрустят в перекус». В глухомани каждое движение живого существа направлено к преодолению препятствий. В звере «оно» выступает настолько отчетливо и законно, что все, от «оно» не зависящее, было бы фальшью. Отдача поэта своего зоркого «я» во власть глухомани, перелогам, долинам, стогам здесь предельная. Отсюда и возникает в поэте то бесстрастное внимание ко всему страстному в природе, которое есть и будет, которое непреложно, как непреложен голод, рождение, смерть.

### Добропогодный оптимизм

Что означает в наше «слишком человеческое» время сугубая направленность писателей к «животу» и терпкое пристрастие их к аромату жизни? Все рассмотренные нами авторы (кроме М. Пришвина) прошли мимо факторов вне животного порядка, а все, и каждый по-своему, спели на разный лад одну «песнь торжествующей любви»... Куда ни глянешь, везде видно желание сказку о «наливном яблочке» превратить в явь, в лейтмотив сегодняшнего дня. Что это означает и откуда идет этот бурный поток?

Революция не могла не повысить общедо тонуса жизнеощущения, радост-

ногоприятия жизни. Физические испытания первых лет Октября закалили волю. Производственные натиск и усилия сегодняшнего дня еще более утверждают волю к жизни. Повышается цепкость к жизни, учащенно и нервно бьется ритм ее. И вот писатели, начиная от язычествующего индивидуалиста М. Пришвина и кончая И. Ханаевым, как бы сговорившись, начинают слагать гимны и оды тому семени, которое дает жизнь всему живому. В конце концов, расстояние от «я» (недаром пришвинское «я» так близко природе) до «оно» не столь велико, как это иногда кажется — в том случае, если механически разрубить сознание на две половинки, па «личное» п «безличное». В общем потоке бытия эти реки сознания сливаются в одно русло, имя которому — оптимизм. Революционное мироощущение всегда оптимистично, всегда жизнеутверждающе. От лягушечьих икринок и зреющего яблока, до звериного крика «Со-офка» и колдовских превращений лица «старухи-жизни» — один лишь путь к здоровому, непреклонному, добропогодному. Все это так. Но не всегда в литературной практике «оптимизм» становится орудием познания и борьбы. Иногда он довлеет сам себе, подчиняет человека и низводит «царя природы» до положения раба, бесправного объекта. Именно наше время не может мириться с этим. Оно требует оптимизма действенного, исторического, а не только биологического, данного человеку рождением. «Заработать» эти силу в реальной борьбе особенно необходимо, чтобы не оказаться во власти «оно».

Искусство не знает гладких путей, оно часто идет по проселкам, спотыкаясь, блуждая, чтобы найти, наконец, прямую тропу. Но и «прямая тропа» у каждого своя, не раз измеренная и испробованная. Замятин нарочно углубился в самую глубину глухомани и блуждает в ней, пытаясь повстречавшееся «оно» признать за цель путешествия. Молодые поэты, замороженные очковой змеей страсти, удачно прикрылись сюжетам из жизни «флоры и фауны». М. Пришвин, наоборот, смеется над этой целью и ищет свою, солнечную, стрельчатую, и кричит этому «оно»: не боюсь!

### Громы риторики

В заключение остановимся на произведении, в котором звериный инстинкт существования поставлен в прямую связь с общественно-духовной природой человека. Таков волнующий своей темой рассказ «Полчаса холода и тьмы» Н. Колоколова. Здесь нет и намека на спокойный, характерный для всех предыдущих писателей анализ беспокойной темы. Решимость Н. Колоколова разорубить сложный комплекс человекозверя, этого кентавра в новом облики, приводит писателя к нервозности, характерной для его рассказа, и к ложным выводам, о которых автор, повидимому, и не подозревал, создавая свое произведение. Апология близости человека зверю здесь выводится... из революционного сознания! Революция-де обнажила в человеке «звериное», и в этой разоблачительной роли революции заключен ее главный смысл, ее оправдание! Наивность подобного утверждения не замечается автором, полным благих намерений противопоставить эту философию «настоящего» утопическим бредням одного профессора, пожелавшего сбросить с себя иго революционного «настоящего» во имя непреложной схемы надреволюционного «будущего». «Дух» якобы может изменить человеку в любую минуту, ибо «слепое к прошлому и будущему, живущее только данной секундой тело наше... не хочет знать истории». Тело, как и слово г-о-л-о-д, в самый страшный момент революционного скачка обрывает крылья человеческого духа, и тогда наступает ужасный момент, «полчаса холода и тьмы», за которым следует просветление субъекта: он видит в образе «тела» единственного хозяина исторического процесса. Здесь мы имеем дело не с материалистическим отношением к явлениям, чего так хотел автор, а скорей с невольным влечением к «материализации» чистой культуры «духа». Сведение революционного порыва к голому злорадству над жалким «духом» и радость по случаю победы «теда» и волчьей жадности (в рассказе приведена аналогия человека с волком) следует признать нигилистической вылазкой писа-

теля, искренне поверившего в революционность своей формулы. Попытка подвести под «оно» общественное оправдание прозвучало, таким образом, у Колоколова вполне необщественно.

Симптоматично, что весь рассказ какой-то взвинченный, любительски-театральный, риторический (обилие «идеологических» украшений, многооточный, чередование быстрых темпов и торможений; даже трагическое «полчаса холода и тьмы» напоминает скорей комедийную фразу: «вот полчаса холодности терплю»; «птица» — символ объективизации образа — у Колоколова показана не «смолкнувшей», а трепещущей, бьющейся и кричащей птицей, заговорившей надорванным глотком смятенного революцией человека<sup>1)</sup>). Если замятинский «нейтралитет» в изображении «оно» — явление социологически неприемлемое, то колоколовская путаница смыслов тем более далека от современности. Отрешение от «будущего» и принятие современности, — в ее замкнутой ограниченности от перспектив, — принятие всегда мгновенного и спазматического «настоящего» через испытание голодом не может быть долговечным и тем более революционным. Это — дилетантская мысль. Не спасает положения и сказанная ради красного словца фраза, что «революция — великий поход на голод, ибо в устах героя рассказа весь смысл революции заключается в удовлетворении наших желудков. Можно ли, наконец, поверить в общественную полезность и целесообразность колоколовского долженствующего быть революционным «оно», когда поход на голод славословится «не ради будущего, а ради настоящего дня!» Подобное разрешение проблемы чревато капитуляцией перед обывательским пониманием классовой борьбы. Лучше (как поступил Замятин

<sup>1)</sup> Интересно совпадение в понимании риторики, как внесететического факта, у И. С. Тургенева (см. начало нашей статьи) и у Г. Шпета (см. статью М. Григорьева в 6-й книге «Литература и Марксизм»); риторика, в виду ее близости и непосредственной связанности с авторским самочувствием, выпадает из сферы искусства; риторика поэтому резко эмоциональна, живет мгновенностью выражения. Стиль колоколовского рассказа наглядно это подтверждает.

и др.) в молчании сложить руки при виде торжествующего «оно», чем любоваться «падшим ангелом» — революцией в образе огромного желудка...

Вернемся на минуту к «двойному» бытию художественного произведения. С особой (отрицательной) силой проявилось это свойство в колоколовском рассказе, где художественная «автономность» произведения как раз... отсутствует благодаря рассудочному намерению автора подставить чистую идею на место чистого образа. Фрейдовские

«я и оно» разбросались и перемешались в неустойчивом воображении писателя. Перевоплощения писателя в тему (за исключением отдельных периферийных мест) не произошло — по причине беспорядочного смешения художественных методов. Его мыслительное, перешедшее в риторику, «я» не стало хозяйном действия, т. е. личностью, а замаятинская решимость «отделаться от самого себя» не вылилась в окончательную форму, т. к. идея произведения не проросла «иллюзией», которая своим художественным обманом дает жизнь произведению. «Ложь» искусства обернулась «ложью» неправильно понятой идеи.

### 3. ПОЭТ-СТЕКЛЯНЩИК

Арк. Глаголев

Первым зачинателям пролетарской поэзии обеспечено наше самое глубокое внимание. Образы рабочих и крестьян, упорно, сквозь все преграды царской России, шедших в литературу поведать о тягостной судьбе рабочей и крестьянской жизни своего времени, настойчиво стремившихся сказать свое новое слово, навсегда останутся в нашей памяти живыми и незабвенными. Их творчество — одна из существеннейших страниц в истории пролетарского творчества, социальный документ большого общественного значения.

Недавно изданное ЗиФ'ом полное собрание сочинений Е. Е. Нечаева дает нам возможность пристально взглянуть в творческий облик одного из заметных представителей раннего периода пролетарской литературы<sup>1)</sup>.

И жизнь и творчество Егора Ефимовича Нечаева (1859—1925 гг.) во многом типичны для жизни и творчества тех, кого до революции называли писателями-самоучками. Нечаев принад-

лежал к тому слою рабочих, недавно вышедших из деревни, к каковому принадлежало и большинство самоучек, образовавших в 1902 году вместе с Е. Е. «Московский товарищеский кружок из народа», переименованный в 1903 г. в «Суриковский литературно-музыкальный кружок». Нечаев во многом был характерным представителем широких середняцких неорганизованных слоев рабочего класса, еще далеко не утративших деревенской психологии, самосознание которых только начинало выкристаллизовываться в более или менее определенную пролетарскую идеологию. И в художественном творчестве Нечаева можно найти весьма немало черт этой еще не оформившейся психоидеологии, «суриковщины». Беспомощные сетования на горькую жизненную судьбу, безысходные «тоска и печаль», бескрылое отчаяние, мотивы, близкие к поэзии Никитина (стихотв. «Осень» и др.), к Некрасову (культ многострадальной матери), отталкивание от города, мечты о деревне («Жатва», «Покос», «День» и др.), воспевание природы, где Кольцов своеобразно сочетается с Тютчевым («Бор», «Природа» и т. п.), неопределенные —

1) Е. Е. Нечаев. Полное собр. соч. в одном томе. Под ред. Н. Лянско, С. Обрежовича, Е. Лукашевича. С крит.-биограф. очерком И. Кубикова. «Земля и Фабрика». М.—Л. 1928. Стр. 594. Цена 3 р. 75 к.

идеалистического характера—мечтания о лучшей жизни, смутные стремления «бежать от мук и смрада хоть за тридесять морей... ускакать на сером волке во дворец ко птице-жар...», стремления забыться от мрачной действительности в «грезе золотой», даже упования «на царя небесного», «вера в небеса»,— все это обильно встречается в стихах раннего Нечаева, как и в поэзии других «суриковцев».

Но творчество Нечаева (даже и раннего периода) не исчерпывается, однако, этими «суриковскими» мотивами. В творческом облике Нечаева можно уловить и нечто своеобразное, особое, что выделяет его из общей массы «суриковцев» и придает ему собственное социально-художественное лицо. Эти своеобразные черты творчества Нечаева, технически подчас весьма несовершенные и примитивные, придают некоторым его произведениям определенную социальную выразительность и являются поэтому для нас наиболее интересными и ценными.

Е. Е. Нечаев почти всю жизнь провел на стеклянном заводе, «гуте», и это наложило огромный отпечаток на все его творчество. Оно тесно связано с «гутой», которую сам поэт определил как «начальных песен ключ живой». Жизнь рабочего-стеклящика конца XIX и начала XX столетия — основной стержень поэзии и прозы Нечаева.

Творчество Нечаева прежде всего с огромной силой показывает те невероятно тяжелые, поистине каторжные условия труда рабочих, которые существовали в начальный, хищнический период развития русского капитализма конца прошлого столетия. В отрывке из своей автобиографии «Как я начал свою карьеру» Нечаев набрасывает мрачный облик «гуты» — «темницы», где летом «что твоя Сахара: зной достигает до 65 градусов», а зимой «что твой Северный полюс!» «Гута» всегда полна грома, крика, драки, плача, отборной ругани... «В «гуте» работать нам хлопцам (малолетним рабочим, почти детям) приходилось не час и не два, а двенадцать - восемнадцать часов без отдыха, круглый год...». «За малейшую оплошность, ошибку, неточность, недомотр виновник получал расплату без

замедления и по строгому гутовскому расценку: пощечины, оплеухи, зуботычины, щелчки, подзатыльники...» Стихи Нечаева полны изображений этих тягостных условий труда «гутарей». «День начался трудовой, кто-то плачет от ожога, кто-то хнычет от побой...» Нередко глухим отчаянием полны строки Нечаева: «Затерзала нудь лихая, замытарила вконец...» Но сквозь этот унылый беспомощный плач, сквозь тяжелые стоны в творчестве поэта проступают и иные настроения, иные мотивы.

В поэзии Нечаева уже с самых ранних его вещей можно найти и мотивы социальной веры в грядущее торжество трудящихся, веры в рабочую силу, ноты социального протеста. И этот социальный оптимизм настойчиво и упорно борется с унылой «никитиновщиной», с пессимизмом. Таков целый ряд стихотворений, проникнутых бодрым настроением. В стихотворении «Безработный» (1890 г.) поэт твердо выражает уверенность, что

Придет желанная свобода,  
Всю нечисть выметет дотла!  
И за мытарства долгих лет  
Они во всем дадут ответ!

«Песня хрусталай» (1891 г.), долженствующая быть поставленной наравне с знаменитыми «Кузнецами» Ф. Шкулева, друга Нечаева,—такой же бодрый рабочий гимн, полный веры в то, что «сбросив каторжное бремя, восторжествует брат-голяк».

Этот социальный оптимизм покоится на базе мощно растущей в Нечаеве пролетарской производственной психологии.

В творчестве Нечаева, в отличие от многих «суриковцев», абсолютное крестьянское отрицание города, завода, фабричного труда, довольно быстро уступает место (если и не совсем, то все же в значительной—весьма ощутительной—степени) другим мотивам.

Глубоко ненавидя рабские условия рабочего труда на капиталистическом заводе, Нечаев, однако, крепко связывается с самим рабочим трудом, с производственным фабричным процессом. Производство постепенно, но твердо выковывает в Нечаеве рабочую идеологию, оформляет его поэтическое твор-

чество. В стихах Нечаева мы наблюдаем не только внешнее описание быта «гитарей», но многие из них насквозь пронизаны производственной атмосферой «гуты», пролетарской производственной психологией. Последняя определяет характеристические черты формы и содержания творчества Нечаева. В образе «гитаря» Нечаев начинает изображать не только беспомощного, забитого нуждой подневольного раба, но и творца, истинного властителя «гуты». В «Песне старика-поэта» Нечаев призывает «гитаря» осознать свою подлинную социальную сущность, свое социальное могущество.

Твоей все сделано рукой,  
Твое все — гений и герой...  
Не по плечу тебе сума,  
Владыке силе и ума!

В стеклянном производстве Нечаев видит не только бессмысленное каторжное мучение, но и «работу—подругу», великое творчество.

В замечательном стихотворении «Творчество», написанном еще в 1890 г. и посвященном «памяти отца», что несомненно указывает на особое, большое значение этой вещи и для самого поэта, — мы находим настоящий гимн рабочему творчеству. Перед читателем предстает образ рабочего-творца, крепкого и сильного своим мастерством.

Замер пронзающий дали тудок надрывной:  
на работу!  
Гулко захлопали пастью ворота пылающей  
гуты.  
Сбросив шиджак-решето, продырявленный  
брызгами трубок,  
Дядя Ефим обмакнул заскорую руку  
в корытко,  
Ключья волос (чтоб не лезли в глаза нена-  
роком) пригладил,  
Гляннул на печь-каравай, на кормилицу  
в связях железных;  
Разом лицо, испещренное сеткой морщин,  
просветдело;  
В кресло вошел, как поэт на трибуну,  
дыша вдохновенем.  
Бережно куху открыл и поставил к под-  
ножью шустана,  
Лоскутом желтым огонь полыхнул из окна  
на дорогу.  
Трубку подолом обтер, и суденьничко  
с догтем проверил:  
Он поглощен образцом «Баккара», чтобы  
сделать не хуже.  
Мысль осенила... зазвывала трубка, в руках  
оживая,

Торкнулась смело в горшок, навивая  
стеклянное тесто.  
Грузный набор, описав полукруг, потя-  
нулся к простору;  
В долок ложится покорно и холится  
квачиком мокрым...  
Лопнула форма. В пару затерялся стекло  
и художник.  
Вышла из формы окрепшей вполне загля-  
денье — вещьца.  
«Славно!» — промолвил сосед, а другой под-  
твердил: «Ну, и дока!»  
Всех же счастливее мастер, влюбленный  
в работу - подругу!

Это стихотворение, насыщенное стихией рабочего труда, можно отнести к лучшим образам начальной русской пролетарской производственной поэзии. Культ труда, рабочего мастерства является одним из важнейших и центральных мотивов творчества Нечаева. Подобные же настроения пронизывают и его лучшие прозаические вещи, напр., рассказы «Дядя Иван Мазилин», «У заставы» и др. В первом из названных рассказов набрасывается характерная «история» жизни рабочего-стеклящика, из простого деревенского мальчонки превращающегося в опытного «гитаря», «удивлявшего всех мастерством». С огромной любовью, с рабочей гордостью описывает Нечаев этого «гитаря», ставшего «артистом» своего дела. «Вообще по наружному виду дядя Иван ничего не представлял. Но когда он входил в свое святилище—гуту, он становился неузнаваемым... Он преображался. Лицо его молодедело, морщинки сглаживались, сухие губы складывались в праздничную улыбку. Глаза загорались. Он начинал творить. Каждое его движение — набор стекла, отделка вещи — отображало артиста. Он просился на полотно. Свое дело он «любил, как мать—сына-первенца». «О работе он думал, о работе говорил, работой бредил». Вместе с тем Мазилин оставался всегда крепко и неразрывно связанным со всей массой родных ему «гитарей». Мастерство не оторвало его от «рядовых» стекляшников, он не превратился в рабочего «аристократа». «Рубаху с себя снимет, а товарища из беды вызволит» — подчеркивает Нечаев. И судьба Мазилина была обычной судьбой рабочего творца в царской России. Если его товарищи «гордились своим стар-

шим братом», то «ни заказчики, ни потребители не задавались вопросом, кому они были обязаны редкостной работой». В безызвестности, оскорбленным и обездоленным, он «умершим». «Могила образцового труженика обесследилась, лишь память о нем живет в сердцах близких товарищей». Такой же образ рабочего-творца, «мастера на все руки», развитого пролетария с ясным классовым самосознанием, «с духом мужества», одного из первых «рабкоров», разоблачающего мошеннические проделки своего «хозяина»—владельца стеклянного завода, глубоко любящего и ценящего книгу, литературу<sup>1)</sup>, дается в повести «У заставы» в лице Ничкина.

В этих образах дяди Ефима, Мазилина, Ничкина мы имеем первые зарисовки тех представителей старой рабочей гвардии, которая после Октября,—выражаясь словами Нечаева,—«не зная отдыха ни днем, ни ночью, строит светлое новое здание жизни».

Ряд других рассказов Нечаева отчетливо показывает, что в среде полукрестьянских «гитарей» дядя Ефим, Мази-

лин, Ничкин не были каким-либо единственным исключением. В среде «отсталых» стеклянщиков шла не менее интенсивная, чем в других рабочих фалангах, внутренняя подготовка к революции. И к моменту Октября Нечаев, вместе со многими своими товарищами по «гуте», был уже в классовом отношении во многом довольно зрелым пролетарием.

Октябрьская революция радостно приветствуется 58-летним писателем. Творческая личность Нечаева выпрямляется во весь свой рост<sup>1)</sup>. Поэт отчетливо видит преобразование рабочей жизни, преобразование своей «гуты». «Гута»—«застенок», «горнило невзгод и муки», «темница» ушла в невозвратное прошлое. Теперь «голяк рабочий из склепа создал дворец»... Нечаев радостно поет о новой, освобожденной «гуде». Производственные зарисовки Нечаева теперь окрашены в светлые краски. Если раньше, «в годы детства гуд призывный... проклинал я сотни раз», то теперь — «сирены гуд призывный не назоyleв и тягуч, обладая силой дивной, гармоничен и певуч» («Гудок», 1919 г.). Если раньше Нечаев мог зарисовывать только «лица черны, без кровинки, губы мертвенно-бледны», то теперь он слышит в «гуде»—«речи пламенные, живые, песни бодрые и звонкие» («Утро», 1920 г.). Уже в 1919 г. зоркий глаз старого рабочего отмечает типы новых людей, — таков образ дочери «бобылки Акренихи», «укатившей на куры в Москву» за грамотой («Темень», 1919 г.). Все эти зарисовки новой «гуты», новых условий рабочего труда, тем более значительны, что они у Нечаева абсолютно свободны от всякой предвзятости, нарочитой тенденциозности и т. п.; они отличаются величайшей правдивостью, искренностью, глубокой задушевностью и простотой.

Революция принесла Нечаеву вторую — настоящую—молодость. Его стихи последних лет поражают своей жизне-радостностью, необычайной бодростью,

1) Этот мотив любви к хорошей книге, к классической литературе весьма характерен для творчества Нечаева. Книге поэт посвятил специальное стихотворение: «Кто мой друг, где называет ее своим «наставником», «другом души» и т. д. В то время как левые интеллигенты из лагеря футуристов для доказательства своего радикализма считали необходимым сбрасывать Пушкина с корабля современности, рабочий поэт полон глубокого уважения и горячей любви к классическим писателям. Его стихотворение «Родина»—настоящий гимн классикам.

Люблю я Гоголя... Толстого  
Уму великому дивлюсь,  
У Достоевского святого  
Глубоким истинам учусь.

А дальше: Лермонтов, Шевченко,  
Некрасов, Пушкин-соловей,  
Белинский, Горький. Короленко—  
Все дети родины моей.

Мои все братья и со мною  
В ладу, как лучшие друзья...

Это же влечение к классической литературе характерно и для ряда героев рассказа Нечаева, которые великолепно усваивали положительные, лучшие стороны классических произведений.

Эти страницы Нечаева представляют значительный интерес, как еще один показатель отношения к классикам старой рабочей гвардии.

1) Он начинает работать не только как поэт, но и как прозаик. В 1921—24 гг. Нечаев пишет ряд рассказов, посвященных все той же «гуде» (главным образом, дореволюционной), отрывки из которых нами выше приводились.

его песни подлинно «бодры и звонки», его «душа» подлинно — «звенящий май». И в этом радостном славословии жизни, революции, рабочей свободы, молодости, основной нотой попрежнему звучит гимн труду, рабочему творчеству, «силе трудовой», «знанию».

Кроме оригинальных стихов и рассказов Нечаев оставил нам еще ряд переводов из украинских революционных поэтов, белорусских, латышских

и др., что вносит в общий облик его еще один ценный штрих — пролетарский интернационализм.

Имя и творчество Егора Нечаева должно быть знакомо рабочему читателю. Отдельные его вещи, в роде упоминавшегося выше рассказа «У заставы» и др., или стихов, посвященных «гуге», заслуживают особого переиздания отдельными многотиражными и дешевыми выпусками.

#### 4. ОБЗОР СТИХОВ <sup>1)</sup>

М. Зенкевич

У датского писателя Германа Банга есть любопытный рассказ о велико-возрастом скрипаче вундеркинде, которого антрепренеры заставляли выступать на концертах в детских штанишках и чулочках. В роли такого вундеркинда, напялившего на широкие раздавшиеся плечи незастегивающийся узенький мундирчик и натянувшего коротенькие, по швам расползающиеся брючки, очутился И. Сельвинский, выступивший с книгой гимназических своих стихов «Ранний Сельвинский». Сборник уже вызвал резкую отповедь в «Комсомольской Правде». Даже Тальников, всегда готовый по доброму старому обычаю дореволюционных толстых журналов разразиться по случаю всякого воробьиного литературного события обстоятельной пушечной статьей, и тот пришел в недоумение: уж не кроется ли тут какой «конструктив-

ный» подвох? Не является ли аналогичной же попыткой «обшутить» современность и издание молодым этим И. Сельвинским своих «гимназических стихов» IV, V, VI и VIII классов под самоуважительным заголовком «Ранний Сельвинский», — издание, предупредительно осуществленное Гизом в дни бумажного кризиса — задает недоуменный вопрос, петитом в примечании, Д. Тальников в своих литературных заметках («Красная Новь», февраль 1929 г.).

«Гимназические стихи» сборника аккуратно, как тетрадки первого ученика, распределены по классам: восьмой, седьмой и т. д., вплоть до четвертого включительно. Не совсем понятно, почему автор остановился на четвертом — с таким же успехом можно было бы продолжать и дальше: третий, второй, первый, приготовительный, а впереди еще предпослать особый отдел «детских стихов» под названием «Сельвинский бэби».

Несомненно взрослый Сельвинский, мэтр конструктивизма, причесал и подчистил юного «конструктивенка», гимназиста Сельвинского, перед тем, как выпустить его вундеркиндом перед публикой. Но, несмотря на это, стихи в большинстве оказались чисто гимназическими — об отметках:

И пусть монахом единица  
Помолится в листе моем...

О приготовлении уроков:

После обеда иду в свою комнату  
Зубрить уроки на утро.

<sup>1)</sup> И. Сельвинский. — Ранний Сельвинский. Госуд. Изд. М.—Л. В переплете 2 р. 75 коп.

Владимир Луговской. — Мускул. М. Изд. «Федерация».

Ник. Зарудин. — Поле-юностью. Изд. «Круг». Ц. 1 р. 25 к.

Николай Панов (Д. Туманный). — Человек в зеленом шарфе. Изд. «Круг». Ц. 1 р. 25 к.

Виссарион Саянов. — Картонажная Америка. Изд. «Прибой». Ц. 88 к.

И. Заболоцкий. — Столбцы. Изд. «Писателей в Ленинграде». Ц. 1 р. 10 к.

Николай Браун. — Новый круг. Изд. «Прибой». Ц. 1 р. 05 к.

Владимир Заводчиков. — Лошадь и человек. Изд. «Прибой». Ц. 03 к.



О шуганьи голубей шестом с крыши:

Нет ничего на свете приятней,  
Но нет и властительней этой страсти—  
Собственную свою голубятню  
Ключиком отпереть настезь...

Переложение в стихи «Слова о полку  
Игореве»:

Не начать ли нам на лад старинный  
Тужью былъ про игоревый стан?

Подражание Бальмонту:

Люблю я в окнах цветные стекла  
Тона рубина и янтара.

Или Игорю Северянину («Красное  
манто»):

Проводить ее домой  
С болью нежного влюбленца.

В особом отделе в конце книги выделены более поздние и зрелые стихи «Короны сонетов». В этих крепко сбитых, насыщенных стихах («Рысь», «Бриг «Богородица морей» и др.) уже чувствуется тот Сельвинский, который развернулся потом в автора «Улалаевщины» и «Пушторга». Юношески венки сонетов Сельвинского можно поставить в один ряд с лучшими имеющимися в нашей поэзии образцами этой трудной головоломной формы (венки сонетов Вяч. Иванова и Максимилиана Волошина). С этих стихов и следовало бы Сельвинскому вести начало своего поэтического пути. Большинство же остальных стихов сборника смело могло бы быть уничтожено или же мирно храниться в семейном архиве, вместе со старыми ученическими журналами, похвальными листами, фотографиями и прочими гимназическими реликвиями «раннего Сельвинского».

У Луговского («Мускул», изд. «Федерация») более чем достаточно того «аппетита к жизни», о котором хорошо сказано у Сельвинского в «Записках поэта»: «Нельзя творить без аппетита к жизни». Эпиграфом к сборнику Луговского могли бы стоять его стихи:

Огромная жажда к существованью  
На теплых руках поднимает меня...

Луговской точно боится отстать от быстрого хода событий и лихорадочно-торопливо старается запечатлеть их все на пленках своих стихов:

Жизнь строчит пулеметной лентой...  
И спать невозможно и жизнь велика...  
Он сдохнет, другие найдутся...  
И я ошалело и буду писать  
Безвыходно, нетерпеливо...

«Установка» сборника Луговского революционно-военная, общественная. Вся его лирика заряжена гражданским пафосом. Большая часть стихов посвящена героинке гражданской войны, фронту «от Байкала до Риги», когда «штабы лихорадило и штык кровавлен»:

И выли батареи победу из побед  
И здорово ворвался в Крым  
Саратовский братишка с прыщами на  
губе,  
Одетый в динамитный дым.

Темы гражданской войны уже стали шаблонными в нашей молодой поэзии, но Луговской сумел в «броневой галдеж» батальных картин влить горячую лирическую кровь:

Нас трое или четверо—я не пойму...  
Ребятца, не пить: вся вода пулеметам!  
Навстречу осень. На западе муть,  
Ветер, ветер, на ключья разметанный...  
Стучат в броню пулеметные кулаки  
Вот вам, вот вам, нате вам, нате!  
Из ям выпрыгивают юркие стрелки,  
Сбоку кувьркаются ручные гранаты.

Стихи о гражданской войне кажутся отрывками какой-то большой поэмы, написанной под влиянием Сельвинского.

Увлечение военной героикой прошлого не заслоняет, однако, от Луговского будничное строительство настоящего:

Из топок зари рассыпаются угли.  
По знаку дорог, городов, деревень  
Железные рты молодых республик  
Приветствуют ревом встающий день...

Много яркости в кавказских и крымских мотивах («Санаторная ночь», «Дорога Дарьяла»).

Луговской порывист, нервен и неровен. В погоне за злободневной темой он нередко пренебрегает формой и впадает в стихотворную публицистику. Из аллюров он признает только один—карьер, из темпов—самый быстрый «prestissimo»; голос его все время звучит на высоких нотах. Это придает стремительность и силу его стихам, но зато лишает их гибкости, нюансов. Лу-

говскому почаше следовало бы вспоминать мудрое правило Гете:

„Nur in der Begrenzung zeigt sich der Meister“  
(«Только в ограничении показывает себя мастер»).

«Установка» стихов Ник. Зарудина («Подем-юностью», изд. «Круг») иная, не та, что у Луговского. Об этом хорошо сказано в первом вступительном, как бы программном, стихотворении:

Снова подснежники. Сколько былого,  
Изжитого в этом! Но вот, посмотри:  
Вальдшнепа графа Алексея Толстого  
Принес я с роскошной, первой зари.  
Родная, смелая! Только запета  
Новая песнь. Чтоб не было лжи,  
К старинной птице чужого поэта  
Милую свежесть щек приложи.

Зарудин идет от усадебной, пейзажной и охотничьей лирики Бунина, Ал. Толстого, Фета. Лирический пейзаж, созерцательное любование природой, охотничьи мотивы преобладают в книге:

И целый день так лобо слушать,  
Уж верно с этим я рожден,  
Как за плечами ветер дышит,  
Гудит, звенит моим ружьем...

Охотничьи стихи («Заяц», «Русак», «На глухаря», «Косачи заиграли») — одни из самых ярких в сборнике. Зарудин любит природу и умеет остро почувствовать и «осенний сад с его сороками и синью» и «яблочным настоем», и «дальние звезды», которые «солены, как близкие слезы на вкус». Слабей чисто лирические стихи, где часто попадают пустые строки («чудный вечер! Музыка блистала», «для сверкающей жизни, мой друг»), и ярче, чем о гражданской войне, стихи о старой боярской Москве («Воронья Москва»). Увлечение «былой, изжитой», усадебной поэзией и пренебрежение техническими завоеваниями новой поэзии не проходят бесследно для Зарудина — это накладывает нередко на его стихи, несмотря на их «милую свежесть», блеклые, выцветшие, старомодные тона.

Ник. Панов (Д. Туманный) («Человек в зеленом шарфе», изд. «Круг») хочет строить поэзию по образцу авантюрного приключенческого романа, хочет

создать стихотворную новеллу с интригующим сюжетом:

Грузом авантюрного романа.  
Оседлать лирический напев.

По его мнению, сейчас нужны романы, а не поэмы:

Лирика? Не нужно...  
Чувства да будут немые  
Пред лицом авантюрной темы.

По такому рецепту написана Пановым поэма приключений «Человек в зеленом шарфе», давшая название всему сборнику. «Джим получает задание», «Фашисты действуют», «Черный авто», «Нож в спину революции» — такими интригующими заголовками пестрят главки поэмы. В ней есть все, что полагается по штату так называемому «красному» бульварному роману приключений, — и все же:

Рассказ отгремел и сник...

И читатель вполне согласен с промелькнувшей внезапно у автора догадкой:

Но ведь это не жизнь! Ведь это  
Порождение газет и книг!

Совсем другое впечатление оставляет поэма «Домик в Свердловске». В ней нет никаких Джимов Фертайнов, О'Керри, никаких черных авто и загримированных злодеев, автор описывает то, что видел и пережил, и в результате поэма получилась живая и содержательная. Панову надо меньше увлекаться авантюрной дешевкой, быть ближе к жизни, переживать самому то, о чем он пишет, и больше внимания обращать на форму своих стихов.

Виссарион Саянов («Картонажная Америка», изд. «Прибой») тоже увлекся авантюрным сюжетом и написал «поэму-детектив» «Картонажную Америку». Однако, он счел нужным оговориться в предисловии: «что самое заглавие поэмы подчеркивает условность нарисованной в ней картины американской жизни» и что его «поэма-детектив» никак не претендует на описание «живых людей Америки». Об ироническом отношении автора к своему сюжету свидетельствует и эпиграф из Пушкина: «мальчишам в забаву». В «Картонажной Америке» взяты готовые матрицы «революционного» де-

тективного романа: сыщик Джорти из бюро Пинкертона, изобретатель профессор Грамен, Мак Конней, негр, коммунистический агитатор и т. д. У Саянова достаточно вкуса, чтобы отнестись к своим героям как к «картонажным»:

Герой всех мальчишек до семнадцатилет,

Он приделал плечо из картона,  
Он приклеил усы, он берет пистолет,  
Сыщик Джорти (бюро Пинкертона).

Детективный сюжет дает Саянову повод совершить романтическое путешествие по всему свету:

Снова старый разгон и романтика,  
Потянуло жасмином с полей,  
Это ты грохотала, Атлантика.  
Целый год за кормой кораблей.

Наиболее интересны в поэме лирические отступления и вставки о туманах, о Гольфштреме, об истории, о двух мартосах из Ленинграда, о молодости:

И может, предупредней синей росе  
В двенадцать часов пополуночи  
Прославят поселки и пыльный рассвет  
Железными глотками юноши.

«Картонажная Америка» хорошо смонтирована, но картон, даже и ярко раскрашенный, остается все же картоном.

«Столбцы» Заболоцкого («Изд. писателей в Ленинграде») привлекает внимание необычным в нашей молодой поэзии «лицом необщим выраженьем». Заболоцкий взял благодарную для сатирика или юмориста, по трудную и неблагодарную для поэта тему: быт. Жанровые сцены и зарисовки принимают у Заболоцкого форму гротеска, преломляются в «горбатом зеркале»:

Другой же, видев преломленное  
свое лицо в горбатом зеркале,  
стоял молодчиком оплеванным,  
хотел смеяться и не мог.

«Новый быт» у Заболоцкого только старый уродливый мещанский уклад, приспособившийся к новым условиям:

И новый быт, даруя милость,  
В тарелке держит осетра..  
И, принимая красный спич,  
Сидит на столике кулич.

Пьяницы «в глуши бутылочного рая», где «бокалов бешеный конклав зажегся, как паникадило» и «краснобаварские закаты в пивные днища улеглись». Блистательные франты «в бо-

тинках кожи голубой» фокстротирующие «в дыму гавайского джазбанда». Рыночный маклак, «владыка всех штанов», кричит и свистит уродом и «мечет штаны под облака». Жених-жеребчик, «позабывший гром копыт», и «поп, свидетель всех ночей с большой гитарой на плече». Мир, зажатый плоскими домами спешащих на службу Иванов и их разгуливающих по народному дому дам с мучительной думой:

...Куда итти?

Кому нести кровавый ротик,  
Кому сказать сегодня «котик»,  
У чьей постели сбросить ботинк  
И дернуть кнопку на груди?  
Неужто некуда итти?

А над этим «курытником радости» и болотом пошлости — «черные замки заводов» большого рабочего города:

А там — молчанья грозный сон,  
Нагие полчища заводов,  
И над станочьями народов —  
Труда и творчества закон.

Несмотря на крайнюю прозаичность своих тем, близких к темам Зощенко, Заболоцкий не впадает в стихотворную юмористику типа Саша Черного и держится на высоте «станковой» лирической поэзии, продолжая линию акмеизма от «Аллилуйя» и «Плоти». Заболоцкому нужно пожелать только более широкого кругозора (не одно «горбатое зеркало») и более разнообразной и богатой формы (почти весь сборник написан четырехстопным ямбом с тусклыми часто рифмами).

Ник. Браун («Новый Круг», изд. «Прибой»), в противоположность Панову, мало обращает внимания на сюжет. Тема для него только отправная точка для лирических излияний и рассуждений. Детали удаются ему лучше, чем целое; отдельные образы ярче, чем центральный расплывающийся в тумане образ всего стихотворения, напр., в «Ночной стране» второстепенный штрих о воровском переулочке сильней, чем блоковский образ «страны — костромской жены»:

Не тряси, гражданочка,  
Соболями,  
Где фонарики  
Но горят..  
Там девчоночки  
С делешами  
Финским ножиком  
Говорят..

В «Новом круге» чувствуется хорошая школа (Пастернак, Тихонов, Мандельштам) и серьезная работа над стихом. Сам Браун считает свою книгу только началом «большой игры»:

Неоперившегося пенья  
Приподнимающийся гром...  
А я—растущий соловьиный  
Вот клюв корящий у меня!..

Что из этих своих обещаний сможет выполнить Браун, покажет будущее.

«Стихотворная повесть в шести поемах» Вл. Заводчикова («Лошадь и человек», изд. «Прибой») вышла с предисловием Б. Эйхенбаума, который на-

ходит, что в поэме «есть подлинная задушевность и потому свежесть — как бы ни напоминала она местами то Маяковского, то Тихонова, то Пастернака». Заводчиков после первой своей книги понял, что «у всех охрипли голоса на фельетоне нудном» и решил учиться у классиков. «Лошадь и человек» — несомненно шаг вперед. Заводчиков умело смонтировал свою поэму из ряда коротких лирических отрывков. Однако, «Лошадь и человек» в общем не поднимается над обычным уровнем комсомольских поэм. У Заводчикова еще остались следы фельетона, стих поэмы боек и легок, но жидок, в нем мало материала.

## 5. ТКАНИ БУДНЕЙ

Ф. Рогинская

### I

Ни одна отрасль культуры не оставила так мало вещественных следов, как те ткани, которые являются предметом широчайшего массового потребления.

Когда несколько лет назад Исторический музей собирал материалы, восстанавливающие бытовые условия уральских рабочих и крестьян, единственным трофеем экспедиции в части, касающейся костюма, были... высокий жесткий цилиндр и фрак, почетный костюм, дарованный некогда владельцами рудников престарелым заслуженным рабочим. Очевидно, эта гротескная — на фоне вопиющей нищеты того времени — одежда так и оставалась никогда не использованной и передавалась от отца к сыну, как реликвия, почему и сохранилась до настоящего времени. Из остатков крестьянского платья можно указать на сарафаны дворовых девушек с набитым или тканым рисунком. Естественно, что составить связное представление о тех текстильных рисунках, которые «бытовали» на территории СССР в предшествующие столетия, очень трудно. Есть данные полагать, однако, что здесь не обходи-

лось без самого сильного влияния костюмов более привилегированных кругов населения. Поэтому несколько остановлюсь на тех драгоценных тканях, из которых шились их одежды. Это тем более необходимо, что многие из них оставили заметные следы своего влияния и на позднейших текстильных рисунках, которые уже доступны более систематическому изучению, в частности на ситцепечатной продукции. Кроме того, в половине XVIII и начале XIX вв. бархат, парча и шелк были широко распространены, как праздничная одежда купечества, мещанства и зажиточных слоев крестьянства.

От византийских тканей, так называемых «поволок», которые поступали по торговому пути «из Варяг в Греки», в русской орнаментике осели «орлы» и вообще изображения птиц в такой трактовке, которая до сих пор сохранилась еще в некоторых кустарных изделиях (на тканях и на дереве). В дальнейшем преобладающее значение приобретают восточные ткани — турецкие и персидские («турские» и «кизыльбашские»). Тогда и вошли в обиход рисунка все эти знаменитые «опакхала» и «кубы с репьями» (и тот и другой рисунок — стилизованная гвозди-

ка), «огурцы» и т. д., ставшие впоследствии классическими образцами цветочной стилизации. Тогда же приобрели такое преобладающее значение тяжелые ткани («золотые рытые бархаты», «алтабасы» и т. д.), обильно оснащенные золотыми и серебряными нитями. Им соответствовали и тяжелые крупные формы плоскостной орнаментации. Все эти только что упомянутые рисунки характерны, главным образом, для турецких тканей. Персидские узоры мельче. Богатство их изобразительного материала совершенно исключительное. Так, на одном столбце XVII века дается описание следующего персидского рисунка: «бархат кизылбашский, а на нем рисунки: барсы, драконы, звери, лебеди, лоси, люди крылатые, мужики, павлины и рыбки» (В. Клейн). Здесь интересно указать, что одна из персидских тканей, изображающая Меджнуна (героя персидской поэмы «Меджнун и Лейла»), изнемогающего от любви среди зверей в пустыне, попав на Русь, превратилась... в церковное облачение.

Через Новгород и Псков, торговавшие с Ганзейским Союзом, проникали на территорию бывшей России венецианские, генуэзские и флорентинские ткани. Основной композиционный стержень их состоял из крупных эллипсов, «сплетенных из растений с почти неизбежным участием геральдических коконов и гранатовых плодов. Даже и сейчас эти рисунки сплошь и рядом встречаются в мебельных и занавесочных тканях, даже ситцепечатных.

Позже всех начинают проникать французские ткани. Зато и влияние их оставило самые сильные следы. В течение XVIII века стили последних Людовиков становятся гегемонами. Приказ Петра о запрещении старой одежды особенно сильно способствовал их широкому распространению. Благодаря своей мягкости, — в противоположность прежним тканям, тяжелым, негущимся, — они гораздо более подходили для нового костюма. Впрочем, Петр стремился насадить и отечественную промышленность. При нем был открыт ряд ткацких и набивных фабрик. Однако, все ткацкие русские фабрики в смы-

сле рисунка являлись прямыми подражателями французских. Полосы, перевитые цветочными гирляндами, или букеты, как бы разбросанные томной кокетливой рукой по всему фону, — излюбленный мотив тканей рококо, — в течение долгих десятилетий повторялся в России и на крестьянских сарафанах и в набойках. И сейчас эти мотивы можно найти, — почему-то чаще всего на тканях советского Востока.



М. Крозет. Заграничная набойка «Джунгли»

«Букеты» эти пользовались неизменным восхищением и благосклонностью своих покупателей, постепенно отходя от своего первоисточника, теряя свою томность и окрашиваясь яркими жизнерадостными красками.

## II

XIX век — эпоха быстрого проникновения и победы хлопка, и вместе с тем, победы ситцепечатного рисунка. Ручная набивка рисунка на ткань досками — очень древнее искусство. Его родиной считается Индия. Первая ситцепечатная машина (печатающая валами) была

изобретена в конце XVIII века и скоро завоевала себе прочное положение за границей. В России же она была впервые введена в Иваново в 1829 году, хотя уже в половине XVIII века в Иваново существовали три специально набивные фабрики. Главный контингент рисунков на них был восточный, часто непосредственно копированный с азиатских образцов. Но все это была ручная набойка. В дальнейшем большое значение для развития ситцепечатания в России имела война 1812 года. Среди осевших в России французских военнопленных было немало мастеров-набивнистов, которые принесли с собой более высокую технику, а также непосредственные связи с заграницей. Легенда приписывает основание знаменитой Цинделевской фабрики одному из таких невольных эмигрантов. Эта прямая связь с заграницей обусловила вращание иностранного влияния в русском ситцепечатном рисунке и способствовала его эклектизму, характерному, впрочем, и для всего эклектического XIX века в целом.

В первое время в ситцах (в узком смысле этого слова) существовало довольно мало разнообразия. Любопытно указать, например, на один рисунок, который пользовался 45 лет назад таким широким распространением, что назывался в торговых кругах «царь-манера» (манера — название печатной доски). Это так называемый «белоземельный», т. е. белый ситец, по которому разбросаны мелкие формочки — черные и красные. Его выпускали много лет под ряд, так же, как и розовые ситцы в простую розовую сетку. В дальнейшем, однако, под влиянием конкуренции и культурного роста массового потребителя, в частности увеличивающейся требовательности крестьянства, ситцевая продукция все больше и больше дифференцировалась и по социальному и по территориальному признаку<sup>1)</sup>.

Борьба с Англией за восточные рынки заставила русскую текстильную

промышленность довольно рано принять энергичные шаги к поднятию качественного уровня своей продукции. Насколько достигали этого русские фабрики, можно видеть из следующего отзыва француза Вогюэ по поводу выставки 1882 г. (на выставке была представлена, кроме художественной промышленности, мануфактура за 12 лет). «В области тканей, — пишет Вогюэ, — она (Россия) может сама себя обслуживать и выдержать любую конкуренцию. Прекрасные ситцы не хуже руанских. Через несколько лет русское производство сможет конкурировать с Англией в Средней Азии, Персии и вообще на территории, по естественным условиям доступной русскому влиянию».

Ко времени революции давно сложилась уже целая серия в высшей степени своеобразных и совершенно четких типов рисунков, которая в полной неприкосновенности сохранилась и сейчас. Так, например, можно указать на тип «пико». Это рисунок, весь составленный из мельчайших точек, которые комбинируются порой в сложнейшие узоры. Такие рисунки «пико» по фону электрик, черному и коричневому — излюбленные старушечьи крестьянские мотивы. Очень интересно отметить, что родоначальницей всех этих скромных старушечьих «пико» явилась знаменитая мануфактура «Жуи», где Оберкампф издавал в эпоху французской революции ткани с изображениями целых революционных сцен, празднеств, торжественных собраний и т. д. Можно также назвать тип «камае». Этот рисунок цветочный (большею частью розы или пионы), составленный из пяти оттенков одного и того же цвета, обычно от светло-розового до красного, идет на наволочки в центральных губерниях, а также и для Азии. Происхождение этого рисунка тоже французское. Рисунок «огонек», состоящий из штрихов красного цвета, характерен для Поволжья. Так называемая «тверская» мануфактура представляет рисунки, составленные из крошечных кирпичиков. Наконец, можно указать и на знаменитый старо-

<sup>1)</sup> О процессе формирования порайонных и классовых типов массовой продукции, см. статью «Бытовая худож. культура и современность», «Нов. Мир», № 1, 1929 г.



Мебельная набивная ткань. Рисунок был заказан Цинделевской фабрикой в Париже для Международной выставки 1900 г.

павловский платок. Это большие черные, красные, оранжевые и белые шерстяные платки с пышным и ярким цветочным обрамлением. Это — самостоятельный продукт русского набивного производства, в то время как целый ряд других цветочных типов, как «мильфлер» и др., представляют собой продолжение знаменитой традиции «пукета». Рисунки «кашемирового» типа подражают старым турецким и т. д.

На ряду с этой стандартизацией и крестьянских, мещанских и районных типов городской «модный» рисунок беспрерывно эволюционирует.

Источником для смены сюжета

городского рисунка служили самые разнообразные моменты. Очень часто это были политические злобы дня. Так, например, русско-японская война вызвала к жизни целый ряд рисунков с японскими мотивами, балканская — узоры с болгарским крестом.

Столетний юбилей войны 1912 г. отразился сценами из Наполеоновской эпохи. От последней — мировой — войны остались рисунки, составленные из флажков союзных держав. Ряд образцов делался по специальному заказу. Так, в связи с приездом сиамского короля был заказан рисунок для чалмы членов его свиты, в котором сиамский слон



Тот же рисунок после переработки его в фабричной рисовальне



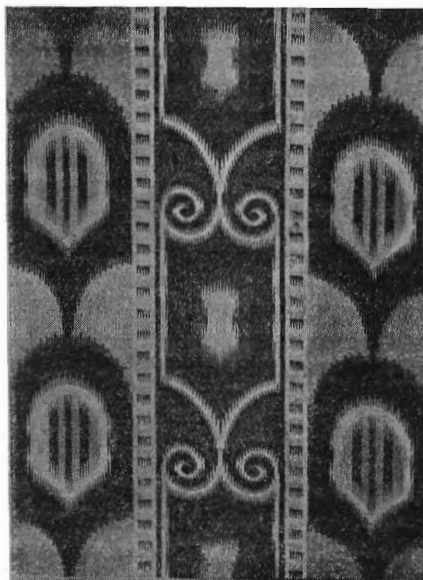
Коллектив 1-й Ситценабивной фабрики. Модный рисунок для городских тканей. Сильное влияние заграницы.

комбинировался с... двуглавым орлом. К приезду английского короля была выпущена мебельная материя с английскими гербами и т. д. Все это накладывало свой отпечаток на сюжеты текстильных рисунков. Что касается характера трактовки сюжета, то он находился под сильнейшим влиянием заграницы и в тесной связи с литературными и художественными течениями данной эпохи. Любопытно, что период декадентства (первое десятилетие XX века) связан с рядом так называемых «декадентских» рисунков. Они характерны своими расплывающимися очертаниями, сходящими на нет, отчего цветочная группа или другой любой мотив приобретают сразу изысканную, томную, а подчас и мистическую форму. В дальнейшем, когда эта мода прошла, самое выражение «декадентский» осталось для характеристики этого приема. Эпоха плоскостных стилизаций в живописи и графике с контурным обводом (билибинского и т. п. типа), тоже не прошла бесследно. Импрессионистическая, смелая красочность и обобщенность, а в дальнейшем все большее и большее приближение к примитивизму (чуть ли не матисовского толка) в свою очередь наложили отпечаток на текстильный рисунок. Наконец, общеизвестно широ-

кое увлечение кубистической орнаментикой. В последнее время это увлечение начинает за границей снова вытесняться растительными и животными композициями и даже композициями с участием людей. Можно указать, например, на любопытную работу художницы М. Крозет (маркизет «джунгли»), Поля-Гезерта (мебельная ткань «цирк»), М. Мейста («море»), и т. д.

В целом же городской текстильный рисунок последних десятилетий самым резким образом отличается от всех предшествовавших эпох. В тканях возрождения — твердая уравновешанная стилизация. В позднейших французских — натурализм, доходящий до величайшей тонкости.

XIX век идет под знаком эклектизма и ретроспективизма. Современный заграничный рисунок уже не эклектичен и не ретроспективен. Он может претендовать на самостоятельную стилистическую значимость. Отдельные элементы в нем разорваны, развеяны и слутаны. Динамичность их доходит до экспрессионистической заостренности, сообщающей ткани нервное напряжение. Мы сталкиваемся здесь с чрезвычайно интересным с социоло-

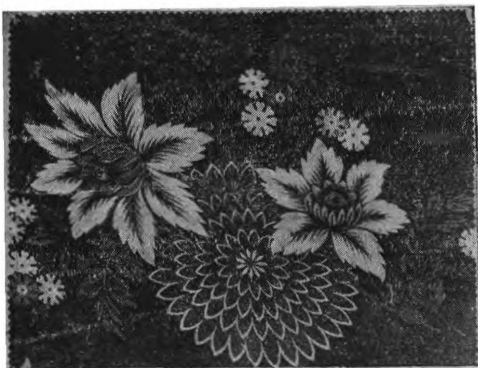


Набивной ситец (под шелк) для бухарских халатов. Производство Ивтекстиля. Рисунок большой давности.



гической точки зрения моментом, который мог бы послужить темой специального исследования.

Здесь можно остановиться лишь на следующих моментах. Эволюция текстильной орнаментики может быть раскрыта только через эволюцию костюма. При этом следует учесть, что целый ряд функций классового агитационного воздействия со стороны привилегированных общественных слоев на массы, которые сейчас выполняются посредством целой сложной и подчас очень тонкой системы (как пресса и т. д.), осуществлялась прежде более «наглядными» методами, в частности и через костюм. Сперва это агитационное воздействие достигалось непосредственно путем соответствующих изображений на тканях. Большинство даже растительных изображений носило сперва эмблематический, символический культовый характер и только потом превратилось просто в декоративный момент. Кроме этих эмблематических изображений, ткани знати и духовенства (напр., сасанидские и византийские ткани) служили ареной для демонстрации це-



Набивной ситец для Зап. Китая  
(Иваново-Вознесенский трест)

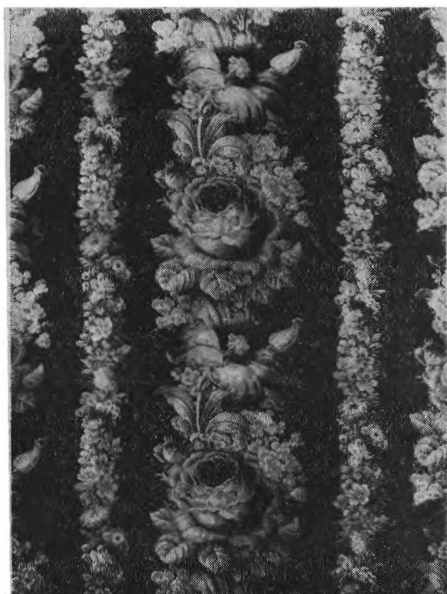
лых сцен, агитирующих за мощь и доблесть монархии или церкви. В дальнейшем эти непосредственные изображения сменились менее явными способами воздействия — покроем костюма, характером ткани и орнаментики. Несомненно, что длинная торжественная негнувшаяся одежда, покрытая громадными плоскостными орнаментами, обильно расшитыми золотыми и серебряными нитями, должна была на улице, в процессии и т. д. производить чрезвычайно импонирующее действие на массы, укреплять в них представление о мощи привилегированных классов.

Культурный рост масс, широкое приобщение их к письменности, целый ряд экономических условий и т. д. сводят постепенно до минимума классовое значение костюма и агитационное воздействие текстильного рисунка.

В течение XIX века все эти стилистические формы, утерявшие свое первоначальное значение, просочились постепенно в качестве декоративного момента в дешевые ткани массового потребления, в частности, в ситец, где осели и сохранились до сих пор.

### III

Доминирующая роль на русских текстильных фабриках долгое время оставалась за иностранными рисовальными мастерами, главным образом, французами и эльзасцами, которые давали основные рисунки почти для всех видов производства. Штат русских ри-



Набивной ситец для Средней Азии  
(Иваново-Вознесенский трест)  
Рисунок близок тканям эпохи Людовика XIV

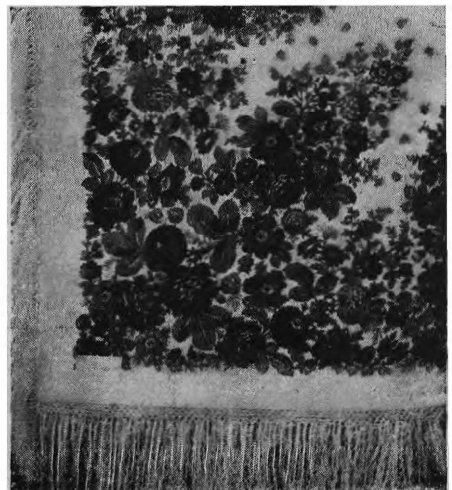


Наб. ситец («Челяби»). Идет в Среднюю Азию, Персию и в центральные губернии РСФСР на сарафаны.

рисовальщиков был занят почти исключительно механической работой. Кроме того, держалась непрерывная связь и непосредственно с Западом. Связь эта была до того тесной, что доходила порой до курьезов. Интересно, например, отметить следующий факт. Для всемирной промышленной выставки в Париже в 1900 году Цинделевская фабрика решила заготовить несколько рисунков, отражающих русский быт. Куда же обратились за этими рисунками? В Париж, в одну из наиболее известных рисовальных мастерских. Эта мастерская прислала Цинделевской фабрике довольно эффектную и очень тщательно сделанную модель, в которой, однако, было немало «развесистой клюквы». Фигурировала, например, классическая тройка. При чем, так как дуга за границей неизвестна, рисовальщик поместил ее на пристяжную лошадь, а не на козленную, и к тому же одел ее просто на шею, как хомут. Несмотря на лето, изображенные на рисунке дети — в меховых шапках и в полушубках с поясами, а их мать — казачка — в черных лакированных туфельках на высоких каблуках и т. д. Впрочем, эти промахи были исправлены русскими рисовальщиками. «Местный колорит» был восстановлен, ткань вышла в свет, как оригинальное произведение Цинделевской фабрики и фигурировала в том же Париже на международной выставке.

В первые годы революции текстильная промышленность замерла. В дальнейшем она возродилась, но не как частно-капиталистическая, а как государственная. Товарный голод в массовой текстильной продукции благоприятствовал созданию такого положения, при котором у хозяйственников выросло полное равнодушие к вопросу оформления ситцев (в широком смысле этого слова). Резко снизилось количество художников-рисовальщиков, работающих на фабриках (вместо 200 человек — 40). Сплошь и рядом нисекаются просто старые рисунки, а для удешевления их вышивают один или два вала (т. е. одну или две краски) и тем нарушают весь строй композиции. В последнее время это пренебрежение к рисунку сказалось настолько ярко, что вызвало даже проект о закрытии всех рисовальных мастерских с тем, чтобы заменить их одной небольшой при Всеобщем Текстильном Синдикате.

Искания, которые были в области текстильного рисунка за эти годы, относятся, главным образом, к городским и декоративным тканям, так как с ними могут конкурировать заграничные, а также шелка, выработываемые кустарями. Но и здесь, собственно, новаторство очень относительное. Это применимо даже к громко именуемому конструктивистами «походу на текстильное



Угол Старо-Павловского набивного платка



Набивной ситец для Сев. Кавказа. Выпускается несколькими трестами. Пользуется исключительным успехом

производство», произведенному художницами Степановой и покойной Поповой. С натяжкой можно отнести к новым тканям серию юбилейных платков (к 5-летию и 10-летию революции, к ударным кампаниям и т. д.) и несколько тканей с советской эмблематикой. Но во-первых, юбилейные платки никто не мог решиться одеть на голову. Это в сущности вариант плаката, а не платка. Во-вторых, эти издания были так эпизодичны, что на них, собственно, не стоит останавливаться.

#### IV

По материалам выставки «Бытовой советский текстиль» состояние массовой текстильной промышленности в настоящее время может характеризоваться следующим образом. Первый Хлопчатобумажный трест, в который входят

1) Настоящая статья написана до выставки текстильной секции ОМАХР'а. Эта выставка представляет собой очень интересный опыт. Молодые художники попытались включить современную тематику в текстиль и—отправляясь от этой тематики—итти к новым формам. Опыт дал ряд свежих и, действительно, новых решений.

бывшие Цинделевская и Серпуховская фабрики, характеризуется выпуском, главным образом, городских тканей: маркизета, вольта, подкладочного сатина и т. п. При нем имеется рисовальная мастерская. За бывшей Цинделевской фабрикой в дореволюционное время прочно укрепилась слава новаторской в художественном отношении. И Первая Ситцепечатная фабрика стремится поддержать эту традицию новаторства и самостоятельных исканий. Стоящий во главе рисовальни художник П. Русин безусловно обладает самостоятельной художественной физиономией. Отсюда возникает и главный недостаток его мастерской — недостаточное проявление индивидуальности со стороны рисовальщиков. Такое явление всегда наблюдается, когда во главе любой школы стоит «магистр» с сильно выраженной индивидуальностью. Мы видим это, например, в графике. Все ученики Фаворского как две капли воды походят на него. «Машковцы» повторяют Машкова и т. д. То же самое и здесь. Вторым недостатком является явно чрезмерное поглядывание за рубеж, на иностранный ассортимент.

При всем том мастерская дает все же ряд интересных мотивов. Нельзя не отметить также почти всегда грамотную, а иногда и просто блестящую колористику. На этом моменте надо остановиться, потому что колористика — это самое слабое место нашей текстильной промышленности. Дело в том, что хотя художник-рисовальщик и дает свой рисунок в определенной расцветке — эта расцветка имеет только чисто условное значение, не более, чем распределение пятен. Рисунок попадает к химику-колористу. И этот химик-колорист, загруженный работой по общему руководству производством и не имеющий обычно художественного образования, дает целую серию расцветок, руководясь в первую очередь химическими свойствами красителей, экономичностью и т. п. соображениями. Между тем, расцветка — самый ответственный момент в создании текстильного рисунка. Недаром ведь в старину рецепты красок зашифровывались и строжайше охранялись. Да и сейчас от этого периода «шифра» осталась немало своеобразных «рудиментов» в колористической терминологии. При правильной постановке работы при химике-колористе должен был бы быть помощником художник-колорист, знакомый с химическими особенностями красителей и в то же время художественно квалифицированный. Таких художников готовит текстильный факультет Вхутека. Но до сих пор они, к сожалению, не получают еще применения на производстве, хотя выставка показывает ряд не только грамотных, но и интересных расцветок дипломников (Щуко, Никитина и др.).

Какаясь модных тканей, нельзя обойти Шелкотрест. В нем работает несколько художников. Здесь влияние заграничные особенно очевидно. Но несмотря на то, что шелк чрезвычайно благодарный в декоративном отношении материал, интересные работ почти не встречается. Следует остановиться лишь на своеобразных работах художницы Л. Маяковской. Она в течение долгого времени работала на Трехгорной фабрике и только сравнительно недавно перешла в Шелкотрест Ее спе-

циальность — аэрография. В машинной и ручной набойке рисунок печатается досками или валами. В аэрографии же краска наносится в распыленном виде посредством сжатого воздуха особым пульверизатором. Этот способ дает возможность достигать богатых переливов красок при небольшом количестве основных оттенков. Маяковской принадлежит интересное усовершенствование в этой области — применение сеток, которые дают неожиданные эффекты по сравнению с обычно употребляющимися вырезными «шаблонами».

Второй трест ориентируется, главным образом, на крестьянского потребителя. В нем тоже имеется рисовальня (при б. Прохоровской, сейчас Трехгорной мануфактуре) с О. Грюном во главе. Грюн является автором самых разнообразных рисунков, начиная от сугубо реалистических, кончая стопроцентными футуристическими. По своей творческой гибкости он представляет характерный законченный образец художника-производственника. Его рисовальная мастерская значительно более разнообразна по своим работам, чем мастерская Первой Ситцепечатной фабрики. В последнее время она выпустила любопытную «производственную» серию рисунков, и также «пионерские» ситцы и т. п. Этому разнообразию способствует, конечно, и другая специфичность мастерской. Однако, расцветки здесь ниже расцветок Первой Ситцепечатной фабрики. В ряде случаев их можно считать прямо неудачными.

Интересное впечатление производит Третий трест. В нем работает систематически только один рисовальщик — Крупенин, но он дает такие разнообразные и разнохарактерные рисунки, что изделия треста кажутся продукцией целого коллектива (некоторые рисунки приобретаются, действительно, извне). Из его работ интересна маленькая серия «советский ситец» (с советской эмблематикой), некоторые из рисунков набивных вельветов и рисунок, пользовавшийся шумным успехом года 1½ назад — треугольники, пересеченные нитями.

Несколько трестов—Тверской, Ивтек-

стиль и Иваново-Вознесенский — работают попрежнему на советский рынок и на восточный экспорт. Здесь можно встретить ряд характерных подделок под шелковые бухарские халаты, а также так называемые кашемировые рисунки, состоящие из классических «огурцов», т. е. чечевицеобразных форм, сердцевина которых занята мельчайшей цветочной разработкой, рисунки для Средней Азии, западного Китая, Персии и т. д.

В Ивтекстиле с недавнего времени работает молодой художник Антонов, который пытается ввести новые элементы в отстоявшиеся типы. Он же дает ряд рисунков для подкладочных сатинов, где стремится найти новую форму «советского цветка». Эти работы, впрочем, явно созданы под сильным заграничным влиянием, при чем под новой формой он всегда полагает геометрическую форму.

Из рисунков Иваново-Вознесенского треста любопытно остановиться на чрезвычайно популярном образце для Сев. Кавказа. Этот рисунок изображает часы, указывающие половину первого, и ряд канделябров. Он пользуется настолько большим спросом, что его отпечатают целыми вагонами.

Любопытно отметить, что этот мотив — канделябры — встречается и на обоях, так же как попугай и башня на другом популярном рисунке Иваново-Вознесенского треста. Происхождение этих рисунков, повидимому, одинаковое — заграничное (по всей вероятности, германское) и относящееся к довольно отдаленному времени.

Эти рисунки отнюдь не блещут художественными достоинствами. По содержанию же они представляют курьезные образцы обывательского романтизма. Однако, их широкий успех, так же как и успех ситца «Трактор» (с изображением механизированных процессов земледелия), очень и очень показательны. Он говорит о жадной тяге к изобразительному рисунку в противоположность рисунку беспредметному. Мимо этого вывода пройти нельзя.

Таков приблизительно охват ситцепечатных фабрик. Что касается ткацкой

промышленности, в ней сейчас совсем не работают художники. Она всецело повторяет старые образцы.

Надо несколько остановиться на трикотаже. Как сто лет назад ситец выступил могучим конкурентом тканым и полотняным материалам, так сейчас выступает трикотаж, у которого бесспорно блестящее будущее. Его настоящее в Советском Союзе, впрочем, пока еще довольно скромное. На выставке фигурирует только одна фабрика «Красная Заря», на которой работает молодая художница О. Ганешина. До прихода художницы на фабрику все рисунки были заграничные, а расцветки давали сами мастера, которые работают на машинах. Сейчас тоже большинство рисунков заграничных, расцветки же делает Ганешина. И надо сказать, что шиты, находящиеся на выставке, очень наглядно демонстрируют, как дешевая пестрота и крикливость прежних расцветок сменились грамотными и мягкими сочетаниями. Работы другого молодого художника Калакутского, к сожалению, отсутствуют, так как его фабрика не приняла участия в выставке.

Из отдельных художников, участвующих себя на выставке, надо отметить Прибыльскую. У нее ярко выражено сугубо-декоративное дарование. Против принятого в последнее время обыкновения, она не ограничивается одной беспредметной композицией.

Среди художников-одиночек нужно отметить и кустаря Повсяного. С его работами хорошо знаком каждый москвич, так как они заполняют кустарный отдел Мосторга, магазин Кустарного музея и т. д. Его рисунки не отличаются оригинальностью. Это или рестаурация мотивов старой набойки или довольно наивные попытки влить новое содержание в эти старые формы. Его работы, конечно, вульгаризуют старое музейное наследие. Все же многие из них еще не перешли за ту черту, за которой начинается область вредной антихудожественной халтуры.

Этот краткий обзор дает самую сжатую характеристику главных художественных коллективов и отдельных художников, работающих в текстиле. Но

суть, в конце концов, не в их индивидуальных особенностях, а в том, что все они замкнуты в одном заколдованном кругу с заграничным абонементом в центре (город) и с архивными канонами по окружности (периферия). Современный текстильный рисунок еще в большей мере, чем архитектура прошлого столетия, является кладбищем отжитых и умерших стилей. И этот мертвый для нас груз в силу своей косности превращается сейчас в активное препятствие, мешающее развитию нового текстильного рисунка.

#### У

Пребывание Степановой и Поповой на Цинделевской фабрике носило характер партизанского налета на текстиль. Никакого значения для органического роста художественного оформления оно не имело.

Года 1½—2 назад начались первые признаки оживления в этой области. Из Вхутенна начали поступать первые пополнения.

Все выставяющиеся на выставке молодые художники вышли оттуда. Но надо сказать, что текстильный факультет Вхутенна был до сих пор для студентов скорее мачехой, чем матерью. В нем существовал чересчур сильный перегиб в сторону технологизма. Комплексы химических дисциплин поглощали почти целиком все время. Студент только урывками мог заниматься художественной работой. Только совсем недавно наметилась на факультете правильная линия — развитие в сторону своей специфичности, как художественно-технического вуза. Плоды этого нового курса скажутся, конечно, позднее. Но даже сейчас намечается целый ряд молодых художников, которые в дальнейшем обещают вырасти в новую квалифицированную силу. При этом не надо забывать чрезвычайно существенный момент. Выступает на сцену молодежь, в значительной своей части пролетарская и комсомольская. Она обладает тем органическим родством со своей эпохой, без которого немислимо создание нового стиля. Ей присуща и большая общественная активность. По ее инициативе

создалось общество художников-текстильщиков, в которое вошли в дальнейшем и фабричные рисовальщики. Этот факт очень показателен.

Один из старых производственников охарактеризовал рисовальщиков прежнего времени как «завзятых церковных певчих и страстных рыболовов». Никакого представления об общественном и культурном значении их работы у них не было. Не было и намека на какое-нибудь художественное объединение, хотя бы по принципу обычных профессиональных. Первые заседания нового общества с участием рисовальщиков по страстности и горячности могли смело претендовать на звание «исторических». Рисовальщики страстно излагали все большие стороны своей работы. Они говорили, что в рисовальнях они заперты, как в казематах, так как единственная их художественная пища — пыль архивных материалов. Производственники подавляют в них всякую творческую инициативу, бракуют их рисунки без учета их художественного качества и т. д. Великолепнейшие, виртуозные техники, они дисквалифицируются, как художники... И действительно, современные условия работы рисовальщиков — это один из важнейших тормозов для нормального развития текстильного рисунка. Ведь на глаза художников одеты архивные шоры, все их ассоциации упираются в архивные каноны.

Вслед за организацией общества текстильщиков создалась и текстильная секция ОМАХР'а. Деятельность этих объединений настолько подняла общественную активность художников-текстильщиков, что они оказались в состоянии — при поддержке Главискусства — противостоять попыткам Всесоюзного Текстильного Синдиката закрыть рисовальни при трестах. В значительной степени под давлением этого общественного роста происходит в ВТС и организация центрального Художественного Совета и художественно-проектировочной мастерской.

Все это — первые ласточки. Их надо, конечно, приветствовать, но не ограничиваться этим, а идти дальше.

## 6. ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ О ТЕАТРЕ 1)

## П. Марков

Ленинградская режиссура выдвинула в первые ряды Сергея Радлова. Его книга отнюдь не является рассказом режиссера о своей десятилетней работе. Составленная из «статей и заметок, одновременно появившихся на страницах нашей периодической печати», она носит характер фрагментарный — по форме, и декларативный — по существу. Автор предисловия — С. Мокульский — полагает, что «читатель лучше узнает из этой книги Радлова — теоретика и критика, чем Радлова — режиссера и практика театра. — тем более, что «многие значительные моменты театральной работы самого Радлова освещены в ней недостаточно полно». Однако, большинство высказываний Радлова ярко и определенно; если невозможно по приведенным статьям получить законченное впечатление о стройном театральном мировоззрении Радлова, то основные черты этого «наиболее яркого представителя специфически ленинградского направления в области нашей режиссуры» выступают с полной отчетливостью.

В качестве характерных особенностей ленинградской режиссуры Мокульский называет «отсутствие узко-ремесленного практицизма, живой интерес к формальным проблемам театра и тесную увязку практической театральной работы с достижениями научного театроведения». «Радлов объединяет в своем лице режиссера и драматурга с теоретиком и историком театра». Думаю, что особенности ленинградской режиссуры не исчерпываются приведенным определением. Еще более характерны истоки ее мастерства и точки соприкосновения с современностью. Режиссерское геллертерство — путь от университета к театру, от историко-теоретического театроведения к практической сцене — не самая значительная сторона Радлова. Истоки мастерства ленинградцев лежат в проповедях и сценическом уче

нии Мейерхольда десятих годов. Эстетическая позиция Мейерхольда тех лет во многом предопределила будущее ленинградской режиссуры. Противники «московского» психологизма (МХТ), они впитали в себя борьбу с натурализмом на сцене и утвердили ряд эстетических позиций, связанных с «театральным театром», с комедией масок — со студией Мейерхольда 1913—17 годов. Соблазны бытоизображения были им чужды. Прыжок в современность совершался первоначально во имя театра, а не во имя современности. Ленинградские художники сцены во многом повторяли путь поэтов. Они отчетливо осознали невозможность прогрессивного хода искусства вне связи с современностью. Быть контрреволюционным в политике означало контрреволюцию в искусстве: реакция в искусстве была им глубоко отвратительна. «Иные дали», раскрытые революцией, увлекали к новым поискам. Печать такого пути к современности лежит на их работах и на их мировоззрении. Оттого-то и можно говорить об особенностях наиболее ярких представителей (далеко не всех) ленинградской режиссуры. Радлов ни на секунду не позволит теме преобладать над ее эстетическим оформлением. Он требует равновесия. Он не хочет ронять темы путем снижения эстетических требований. Его радует ценность темы по одному тому, что она обязывает к ценности формы.

В конце концов, передовые ленинградские режиссеры, и в первую очередь Радлов, — наиболее типичные выразители «теории авангарда». В этом смысле — они также несомненные ученики Мейерхольда. Вполне твердый и уверенный в своих эстетических позициях, Радлов стоит на защите живых поисков театра-эксперимента, он отмечает «разжеванное и обсосанное ахронискусство», он борется с «манной кашей слюняев и эпигонов». Было бы неверно представлять его защитником «чистого» искусства, — справедливее признать в нем эстетическую ответ-

1) Сергей Радлов. «Десять лет в театре». Изд. «Прибой». Л. Стр. 328. Ц. 2 р. 20 к.

ственность за выполнение темы. «Современность» возникает в его художественном сознании как задача «эстетического оформления». Отсюда следуют и поиски Радловым ритма современности, и призыв к «электрификации» театра, и жестокое презрение к эпигонским отживающим течениям, и высокая оценка мастерства, из какого бы художественного лагеря оно ни исходило. Вражда к штампу и к закоснелости — пафос книги.

Такова декларативная позиция Радлова. Она вполне убедительна в своей негативной части — в отрицании мещанского искусства и в ненависти ко всякому «подлаживанию». Она вполне верна в требовании ответственности художника за дело, которое он делает, тем более, что она блестяще изложена и обнаруживает такое же блестящее знание Радловым театра. Она производит впечатление разорванности, когда Радлов переходит к определению театра современности и к исследованию отдельных театральных проблем. Тогда исходная эстетическая позиция обнаруживает противоречия.

Возможно, что эти противоречия являются следствием эволюции, пережитой самим Радловым. За десятилетие работы он развил одни из принципов и произвел ревизию других. Он не стоял на месте; появившиеся одновременно статьи сохраняют печать этой эволюции. Книга возникала полемически — в борьбе с «ахронискусством», — отсюда полемическая заостренность отдельных моментов.

Первоначальная позиция «эстетического восторга» перед революцией (черта, свойственная, между прочим, и Вахтангову) и возможность соединения основ эстетического театра с требованиями современности привели Радлова в первые годы Октября к созданию театра «Народной Комедии», где он пытался применить технику площадного театра к классикам народного театра и к эксцентрическим мелодрамам и комедиям собственного сочинения. В этих опытах наиболее наглядно отразился путь Радлова к современности. Та же эпоха военного коммунизма толкнула его к «массовым праздникам», которые он повторяет

в 1927 г., ставя октябрьское празднество на Неве. Оба эти жанра характерны стремлением или к большому мастерству или освобождению чистейшего «пафоса» современности путем театрального зрелища.

«Созвучие» революции он видел (подобно многим художникам начала Октября) не столько в тематической близости, сколько в адекватной переживаемой эпохе эмоциональной насыщенности и тонкости мастерства. Отсюда естественный поворот к беспредметности. В ряде статей он готов притти к утверждению беспредметного актерского искусства, к прославлению «заумной речи», таким образом отсекая глубочайшую внутреннюю работу актера. Впоследствии Радлов, рассматривая творчество Моисси и художественников, обращается не только к требованиям художественной и общественной дисциплины, но и к внутренней насыщенности актера. Однако, очень ярко и точно формулируя законы технического мастерства актера, Радлов не разрабатывает подробно точек соприкосновения внутреннего и внешнего рисунка роли. И в этом примате формализма — первое противоречие книги.

Над Радловым тяготеет его исторический багаж. Стремясь к театру современности, он видит идеал театра в прошлом и пытается по нему равняться. Но еще нигде не доказано, что прошлое театра есть его неповторимый закон. В особенности явно возникает это второе противоречие, когда Радлов задумывается над ролью драматурга. Возвращаясь к «золотым эпохам» театра, Радлов утверждает необходимость соединения режиссера и драматурга в одном лице. Пример Мольера, Шекспира и Эсхила является для него подавляющим доказательством. Он легко отбрасывает наступившую дифференциацию творчества. Единый творец театра — режиссер, драматург, организатор — разрешит всю сложность театральных проблем. Но теоретические мечты, основанные на исторических примерах, остаются мечтами. Действительность говорит другое. Радлов несогласен с нашей эпигонской драматургией. Он приветствует приход в



театр беллетристов и поэтов. Борец с литературной драмой, он вступает за поправное слово на театре, забывая, что «слово» в значительной степени было теоретически поправано неумелыми проводниками комедий масок (к каковым Радлова причислять, конечно, невозможно). Падение слова было результатом господства мешанской драматургии и театрального беспредметничества. Два врага оказались союзниками на этом участке фронта. Так остается мало надежд на осуществление мечты Радлова. Гораздо большую убедительность приобретает его второй тезис — о необходимости драматургического мастерства. Нельзя забывать, что театр не может более сам давать себе задания. Он расточительно творил из себя в первые годы революции. Сейчас он вступил на путь печальной стабилизации. Она продолжится, если не придет толчок извне. Этот толчок принесет собой драматургия. Она должна поставить сейчас новые художественные и общественные задачи театру, как это некогда сделали Чехов и Блок. Они оплодотворили театр. Не следует сейчас быть театру самонадеянным — мечта об «едином творце» бесплодна.

Эта теория «единого творца» встает в противоречие и с провозглашаемым Радловым примером Актера. Тщетно нытается Радлов примирить эти два взаимоисключающих требования. Актер разрушает мечту режиссера. Эта теория так и останется мечтой режиссера: совпадение автора и режиссера будет счастливым исключением. Радлов ответил бы парадоксально: это исключение будет «гениальностью». Но сколько серых режиссеров соблазнит теория Радлова, куда родится ге-

ний, — и сколько серых режиссеров станут просто плохими драматургами!

Противоречия не уничтожают ценности книги. Книга Радлова, при всех противоречиях, блестящая «максималистская» книга. Противоречия книги — противоречия театральной жизни и путей многих художников к современности. Я не знаю драматургических качеств Радлова, но в своей книге он превосходный стилист. Она написана жадно, страстно и живо. Радлов живет в театре. Печать этой жизни — отрывочные статьи сборника. «Десять лет в театре» — не законченный путь. Надо думать, что противоречия когда-нибудь станут ясны самому автору. На это дают надежду и острый ум автора, и ряд блестящих наблюдений, рассыпанных в книге, и его ненависть ко всякому штампу, и самый образ автора, причудливо сочетавшего в себе театрального эрудита, знатока «золотых эпох» театра и художника современности.

К сожалению, деятельность Радлова ограничена Ленинградом. Для нас отпадает возможность проверить его теории на практике, между тем как сценическая работа Радлова, включающая богатое разнообразие тем, начиная от Аристофана до Кайзера, от народной комедии до современной оперы, дала бы, конечно не менее богатые наблюдения, чем его отрывочная, но страстная, интересная и требовательная книга. С ней во многом не соглашаешься, но она над многим заставляет задумываться: в ней звучит голос театра. Я бы считал ее «прологом» к будущей книге Радлова, которая подведет итоги новым годам работы Радлова в новой, созданной современностью, обстановке.

# Книжное обозрение

1. Г. РЫКЛИН «С подлинным верно». С. Борисова. — 2. ВЛ. ЮРЕЗАНСКИЙ «Костры». А. Шафир. — 3. ПЕТР ЖЕРЕБЦОВ «Человек разных профессий». Ник. Богословского. — 4. ДАВИД ХАИТ «Перепутье. Бориса Гроссмана». — 5. МИХАИЛ ДЖАВАХИШВИЛИ «Хизаны Джако». Р. Рош. — 6. ГРИГОРИЙ КАЦ «Распахнувшийся мир». И. Поступальского. — 7. КЛОД МАККЕИ «Домой в Харлем» Я. Фрида. — 8. Н. ПИКСАНОВ «Творческая история» «Горя от ума». Н. Замошкина.

**Г. Рыклин.** — «С подлинным верно». ГИЗ. 1929 г. Стр. 267. Ц. 1 р. 90 к.

Имя Г. Рыклина хорошо известно читателям периодической печати по фельетонам на темы пашей повседневной жизни.

Наша печать, являющаяся пропагандистом, организатором и активным участником социалистического строительства, требует от фельетона особой тематики и метода обработки материала. Установка советского фельетона — не беззубый юмор или смехачество; его тематика — отражение повседневных задач строительства и борьба с искривлением их, его фактура требует простоты литературной обработки и четкости сюжетного построения.

Рецензируемая книга Г. Рыклина вполне удовлетворяет этим требованиям. Наиболее интересна она в той части, где фельетоны отражают искривления задач строительства, уродливые явления в аппарате и рисуют галерею бюрократов и просто дураков. В свое время эти фельетоны, основанные на фактах, сыграли свою роль. Они привлекали внимание советской общественности, и для многих «героев» фельетонов дела кончались печально: судом и репрессиями. Но фельетоны Г. Рыклина, выполнив общественную роль и пережив свой газетный день, войдут в литературу быта и сослужат в будущем большую пользу для историка наших дней.

Фельетоны о героике и романтике гражданской войны менее удачны. Автор напрасно свой большой фактический материал втиснул в маленькие сюжетные беллетристические рассказы. Как беллетристика, они слабы, а как фельетоны, они потеряли в своей убедительности.

Отдел об эмиграции «Дунька в Европе» принадлежит к числу наиболее острых и удачных в книге. Тупая зло-

ба и бесчестная ложь по адресу нашего Союза со стороны бывших демократов и либералов, выкинутых за борт русской жизни, вскрыта автором на простом и удачном приеме: он просто передает измышления эмигрантов, сообщает общественные причины их возмущения, а оценку предоставляет делать читателю. Чувство фельетониста спасло автора от резонерства, сползающего часто в риторику, которая губит фельетон.

*С. Борисов.*

**Вл. Юрезанский.** — «Костры». Госиздат Украины. 1929 г. Стр. 333. Ц. 2 р. 75 к.

После выхода первой книги рассказов Юрезанского в 1924 г. критика отметила ряд художественных достоинств в произведениях молодого автора и одновременно подчеркнула оторванность автора от тем современности. Последующие произведения Юрезанского если и не подходят вплотную к темам сегодняшнего дня, то, во всяком случае, отличаются несомненной актуальностью. Избранный автором жанр исторической повести идет навстречу углубляющемуся интересу к истории. В то время как революционное движение рабочих нашло отражение в ряде беллетристических произведений, богатый материал из истории освободительных движений крестьян очень мало использован в художественной литературе. «Костры» Юрезанского отчасти заполняют этот пробел. Книга содержит две повести, из которых одна — «Зарево над полями» — вышла впервые отдельным изданием в 1926 г., а вторая — «Исчезнувшее село» — представляет, очевидно, позднейшую работу автора. Материалом для повестей Юрезанского послужили крестьянские восстания, происходившие в Черниговщине и Полтавщине.



ждают то или иное мироощущение, «установку». Одни персонажи (Исаак Левгур, Хая, Мирон Акт) ищут своего личного благополучия, основанного на нескрываемом эгоизме, другие (Зинаида Штарбман) не видят никаких перспектив, они просто болеют душой за «еврейство, третьяк (Евсей Левгур) мечутся между «болью» и активным протестом

Каждый персонаж «переживает». Более других — Евсей. Евсея автор направляет по пути Якова Гросса, революционера. Сын погибшего Якова Гросса — большевик, комиссар, протягивает Евсею руку. Таким образом, из всех «страждущих» революционно определяется лишь Левгур. Но его будущее автор только намечил; в прошлом этого человека столько серьезных колебаний, что можно сомневаться: уверует ли он до конца в правду Гроссов или она для Евсея — преходящее увлечение.

Давид Хаит перегрузил «Перепутье» многочисленными «психологизмами». Каждую фразу, каждый поступок, жест действующего лица автор выделяет, гиперболизирует деталь. Деталь перестает быть деталью. Психология человека отделяется от самого человека, становится самодовлеющей. Люди становятся психологическими схемами.

Такому восприятию «Перепутья» соответствует стиль — нарочито-психологический, назойливый, манерный.

«В этом городе луга на окраинах запомнились Евсею — в утре. Плыл белый туман над лугами. Евсей шел лугами за молоком и теперь утром луга пахнут молоком. В городе течет река, зеленая и жирная, всегда зеленая и жирная. Евсей — ребенком — шел по глухому берегу, в плавнях. Он оступился, схватился руками за камыши, нога его вошла в реку. Он тогда взглянул на воду, и тогда она была — зеленая и жирная. Зеленая и жирная река, а ее почему-то называют звонкоструйной...» (стр. 138).

«Повторы» в этом отрывке не случайные, не от недосмотра. Так написана вещь — от первой до последней страницы. Так повествует автор, так разговаривают персонажи. Сюда же

надо отнести однообразие образов: «пакрахмаленная юбка», «маятник». «пыль» во всех ее видах повторяется много раз.

Некоторые места романа, однако, сделаны крепко, художественно (например, погром, похороны пяти революционеров, быт голодающих).

*Борис Гроссман.*

**Михаил Джавахишвили.** — «Хизаны Джако». Роман. Перевод с грузинского. Д. Д. Егорашвили. «Творчество народов СССР». ГИЗ. М.—Л. 1929. Стр. 173. Ц. 1 р. 25 к.

Есть у молодого Чехова маленькая, но злая вещьца — «Добродетельный кабатчик». Описывается в ней, как зубастый «крепкий мужичок», опутав сетью сдолжений, выживает из усадьбы своего никчемного и опустившегося барина. «Сию теперь, тоскую и мудрствую» — кончается «плач оскудевшего» помещика.

Эту же тему — в условиях послереволюционной грузинской действительности — с большим мастерством развивает М. Джавахишвили в своем романе «Хизаны Джако». Никчемного, безвольного и бессильного либерального болтуна Теймураза, потемка владельцев князей Хевистази «пожирает» нарождающийся буржуа, деревенский кулак — его бывший приказчик Джако Джако не только отнимает у князя его усадьбу и фамильные драгоценности, но и единственного близкого ему человека — его жену, а самого его превращает в своего батрака. Страницы, посвященные личной драме, разыгрывающейся между этими тремя действующими лицами, написанные с потрясающим реализмом, — это наиболее яркие страницы романа.

Слабее удалось схватить Джавахишвили общественный фон этой драмы. Только для первого периода революции в Грузии находит он яркие штрихи; в дальнейшем же он прибегает часто к фигуре умолчания, предоставляя читателю самому догадываться о политических экспериментах злополучного князька. Недостаточно четки зарисовки советской Грузии. Правда, в последних главах романа Джако получает заслуженное возмездие — советская

власть отбирает у него для общественных нужд усадьбу князя, а последнего спасает, дав ему место в общем труде, но главы эти как-то скомканы и недостаточно убедительны; да и проникающие их лейт-мотивы всепрощения и возмездия свыше резко диссонируют с сочным реалистическим рисунком первых частей.

Не вполне убедительна и общая позиция автора по отношению к изображаемому им событиям. Вместо здоровой насмешливой улыбки над обеими борющимися сторонами, в равной мере непривлекательными, автор почему-то стремится пробудить симпатии читателя к злополучному Теймуразу, то окружая его своеобразным мученическим ореолом, то прибегая к патетической риторике в изображении его душевных мук, то вводя в реалистическое повествование довольно прозрачную снмволику.

Нельзя не пожалеть, что переводу романа Джавахишвили не предпослано хотя бы краткое предисловие, которое характеризовало бы место этого талантливого, но не вполне выдержанного писателя в современной грузинской литературе. Небрежно сделаны и примечания, — так, обращение «кацо» встречается на первой же странице романа, раз'ясняется же только на стр. 164-й, не переведены такие слова, как «генацвала» («дорогой», буквально — «я твой заместитель»), «кало» (звательный падеж от «кали» — «женщина»). Встречаются и отдельные стилистические негладкие места в превосходном в общем переводе.

*Р. Рош.*

**Григорий Кац.** — «Распахнувшийся мир». Стихи. Изд. Сев.-Кав. отдела ВАПП. Ростов на Дону. 1928. Тир. 1.500 экз. Ц. 50 к.

Стихи Г. Каца — не лишенное кризисны зеркало, отразившее лирику Светлова.

Г. Каца выдает не только светловская ирония («поселилась грусть без права на жилплощадь...»), но только «Еврейские мотивы», перепевающие светловские «стихи о ребен», но и весь комплекс настроений и мыслей, повторяющий

уже сказанное Светловым. Совпадения иногда почти криминальны:

Я в гражданской войне нередко  
Был веселым и лихим бойцом,  
Но осталось у меня от предков  
Узкое и скорбное лицо...

(М. Светлов)

Запевать мне песню нынче надо,  
Что не зналась дедом и отцом,  
Оттого-то у меня и радость  
Вот с таким задумчивым лицом...

(Г. Кац.)

То, что у Светлова рождено опытом жизни (его размышления о современности, боязнь обывательской успокоенности и т. д.) — к Г. Кацу перекочевало скорее всего литературным путем. И как бы ни «тосковал» Г. Кац, «тоска» его подражательна. А ведь еще Бортнянский писал, что

...плач подражательный досаде,  
Смешно жеманное вытье.

К чести Г. Каца, привязанности к Светлову он не скрывает, посвящая ему свои произведения и называя его в некоторых стихах по имени и фамилии.

Стих Г. Кацу пока не дается, постоянно сбивается с размера без всяких на то оснований, бывает неуклюжим («когда вез по рельсам свои дни...»), а подчас и не вполне грамотным («озорной, хмельной и жизнью весел», «смотреть по книге и не видеть строки...»).

В «Распахнувшемся мире», однако, кое-какие стихотворения приличны целиком — «Запевать мне песню нынче надо», «Тоска», и др. Эти вещи, не будучи самостоятельными, все же довольно серьезны и заставляют отнестись к Г. Кацу требовательно.

*И. Поступальский.*

**Клод Мак-Кей.** — «Домой в Харлем». Перевод с английского Марка Волосова, с предисл. Ван Маис и В. Вильсон. Изд. «Земля и Фабрика» М.—Л. 1929. Стр. 240. Ц. 1 р. 50 к.

Харлем, негритянский квартал Нью-Йорка, — город в городе (четверть миллиона жителей). Харлем книги Клода Мак-Кей прежде всего Харлем кабака, кабачков, притонов, джина, джаза, чечетки, шулерства. Негры—

работающие, бездельничающие, сутелерствующие, охваченные любовной лихорадкой, сжигаемые своим темпераментом; негры — довольствующиеся крупными радостями и забвения, которые дает им «Харлем кабацкий», интеллигентный негр-еврастеник, понимающий, что он пария, издерганный непримиримый для участия в социальной борьбе. «Дамы и кавалеры с кожей шоколадного цвета, темно-каштанового, светло-кофейного, цвета черного дерева, светло-коричневого, желтого», «мулатка с кожей цвета оконной замазки», «юноша с кожей, напоминавшей цветом солому», негрятенка, «похожая на живую статую из оксидированной бронзы»...

Зарисовки Клода Мак-Кей выполнены в духе примитивного, наивного «реализма» Мюрже (но без сентиментальности последнего). Отсюда ясно, что ценными их можно признать, главным образом, в информационном отношении. Но и как информатор К. Мак-Кей мог бы дать больше. Например, говоря о темпераментности негров, о их любви ко всему красочному, к зрелищам, он совершенно не касается негрятянского театра.

Негров голодающих, негров, которых преследуют, насилюют, линчуют, можно найти не в данной книге, а в рассказах и повестях других негрятянских писателей (У. Уайта, Д. Матеуса, Э. Уолронда и др.), и даже у белокожего Драйзера. На фоне прежней репутации самого Клода Мак-Кей книжка «Домой в Харлем», написанная пассивным отображателем, не является шагом вперед. Подчеркивая местами «животный» оттенок темпераментности негров, силу «африканского атеизма», этот писатель как бы протягивает руку не только «французскому африканцу» Ренэ Марану, но и сверхэлегантному Полю Морану, автору антинегрятянской «Черной магии».

*Я. Фрид.*

**Н. Пиксанов.**—«Творческая история». «Горя от ума». Гос. Изд. М.—Л. 1928. Стр. 363. Ц. 4 руб.

Монументальная монография Н. К. Пиксанова, посвященная изучению процесса создания знаменитой комедии

«Горе от ума», является итогом двадцатилетних изысканий ученого — выдающегося специалиста по творчеству Грибоедова. По обилию материала, тщательности анализа, методологическим приемам изучения и результатам труд Н. Пиксанова безоговорочно следует признать выдающимся событием в историко-литературной науке.

Даже из краткого перечня основных разделов книги легко убедиться в размахе исследования. Сюда входят: историография великой комедии (попутно и других крупных произведений русской литературы), текстология (изучение и история рукописей, автографов и вариантов), творческая история «Горя от ума» в собственном смысле слова (стиль, образы, композиция, идейность) и, наконец, общая методологическая часть, чрезвычайно важная как для уразумения самого понятия творческой истории, так и для понимания исследовательской механики данного произведения.

Задержимся несколько на методологии исследования. Сущность творческой истории, как это видно из книги, заключается не в описании и классификации художественных фактов (они, конечно, тоже входят в исследовательский аппарат), а в рассмотрении развития, генезиса художественных явлений. Обоснование историзма — вот методологический упор Н. Пиксанова, столь необходимый в наше время, когда на историю литературы заявляют претензии формалисты, но самым устремлением своим чуждые и далекие от историзма. Генетический метод у Н. Пиксанова одновременно сопровождается отысканием телеологии художественных приемов и замыслов. Теоретическая и историческая поэтика, таким образом, сливаются в этом комбинированном методе. Возражать против законности, целесообразности и прогрессивности такого способа изучения, конечно, не приходится. Но ближайшее ознакомление с практическим применением приемов творческой истории вызывает ряд вопросов, имеющих существенное значение.

Замыкая себя в пределы изучения текста, Н. Пиксанов, — в целях на-

учной точности, всегда связанной с некоторым самоограничением объема исследования, — вынужден был сузить историзм своего метода рамками так сказать имманентного историзма. Обязательная же необходимость исследовать всякий объект изучения в его возникновении и развитии (см. на стр. 345 цитаты из Гёте и Энгельса) толкала ученого именно к отысканию в творческой истории причинно-социологических влияний, а не только к эволюционному пониманию принципа развития. Поэтому-то марксистское литературоведение и в праве поставить общий знак вопроса перед методологией творческой истории, генетической по своему характеру.

Конечно, превращение творческой истории в универсальную историко-литературную дисциплину грозило ей потерей самобытности и даже прав на существование, но, с другой стороны, исключение из объекта изучения общественных и литературных влияний, а также и бытовых прототипов, должно было привести ее к замкнутому внесоциологическому толкованию художественной телеологии произведения.

Так обстоит дело теоретически. Практически же Н. Пиксанову пришлось не раз нарушить чистоту метода (например, в вопросе о «декабризме» Чацкого-Грибоедова, «водевильности», т. е. литературной традиционности некоторых сцен комедии, и пр.). То же самое нарушение произошло и при отсечении лингвистики от стилистики (апелляция к бытовой речи), а также и в случаях эстетической, вполне субъективной, оценки стиля, которые допустил ученый на страницах своей монографии. Впрочем, многое, что исключается Н. Пиксановым из анализа «Горя от ума», в иных историко-литературных случаях, по его уверению, может дать яркие результаты.

Замечания, высказанные здесь, не носят характера собственно критического; они только указывают на перспективную сложность метода, выдвинутого Н. Пиксановым. Осторожность в

выводах тут тем более обязательна, что, по мысли ученого, метод творческой истории весь в будущем: только длинная серия подобных работ, посвященных изучению всех шедевров русской литературы, поможет созданию системы историко-литературных исследований. И действительно, практика революционных лет уже показала важность и популярность творческой истории, как метода (см., напр., сборник «Творческая история» 1927 г.).

Зато выводы и результаты, содержащиеся в монографии и имеющие непосредственное отношение к материалу, по своему обилию, точности и, так сказать, окончательности составляют главную ценность книги. Теперь уже можно уверенно говорить, что «Горе от ума» не является произведением социально-антагонистическим по отношению к своей эпохе («умеренность» Грибоедова и пр.), так что со стороны содержания знаменитая комедия есть не что иное, как картина любовной драмы и сатирическое изображение нравов барства, — с барской же точки зрения. Замечательна в книге постановка и разрешение проблемы смысла произведения, доступного для понимания только в свете изучения всей истории создания комедии. Не менее важен вопрос об авторском лиризме (Грибоедов-Чацкий), обусловившем структуру и тон «Горя от ума». Блестящее впечатление оставляют и такие «частности», как анализ сна Софьи и мн. др.

Творческая история «Горя от ума», вносящая ясность во многие спорные вопросы толкования и содержания комедии, может послужить образцом не только для молодых ученых историков литературы, но и явится незаменимым пособием для педагогов. Язык этого ученого сочинения прост, точен, легок и выразителен, — достоинства, не столь часто встречающиеся в академических работах.

Остается пожалеть, что монография Н. Пиксанова, законченная к печати в 1920 г., увидела свет только в 1929 г.

*Н. Замонкин.*

# КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ

- «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА»**  
**ЗОЛТА, Э.** — Простунок аббата Мура. (Собр. соч., том V). 1929 г. Стр. 455. Ц. 2 р. 25 к.
- ВЕРН, ЖЮЛЬ.** — Золотой вулкан. Роман. 1929 г. Стр. 315. Ц. 2 р. 25 к.
- ВЕРН, ЖЮЛЬ.** — Гектор Сервадак. Роман. 1929 год. Стр. 381. Ц. 2 р. 50 к.
- ОЛЕША, Ю.** — Зависть. Роман. С рис. Натана Альтмана. 1929 г. Стр. 144. Ц. 1 р. 10 к.
- КАВАНЫ.** — Необычайные рассказы из жизни диких венрей. 1929 г. Стр. 180. Ц. 70 к.
- ЭРЕНБУРГ, И.** — В проточном переулке. Роман. 1929 г. Стр. 195. Ц. 1 р. 35 к.
- НОВИКОВ-ПРИБОЙ, А.** — Соленая кушель. Роман. 1929 г. Стр. 208. Ц. 1 р. 70 к.
- ФРОЛОВ, А.** — Путанная жизнь. Повесть. 1929 г. Стр. 222. Ц. 1 р. 60 к.
- ЗОЩЕНКО, М.** — Над кем смеяться? Изд. 4-е. 1929 г. Стр. 269. Ц. 1 р. 35 к.
- СВИРОКИЙ, А. И.** — Записки босяка. 1929 г. Стр. 261. Ц. 1 р. 80 к.
- ЯКОВЛЕВ, А.** — Октябрь. 1929 г. Стр. 144. Ц. 1 р.
- ЛЯШКО, Н.** — Доменная печь. Изд. 3-е. 1929 г. Стр. 142. Ц. 1 руб.
- НОДЯРЧЕВ, О. П.** — Напел работу (биб-чка батрака). 1929 г. Стр. 43. Ц. 10 к.
- АЛЬМАНАХ «ЗЕМЛЯ И ФАБРИКА».** — Книга 5-я. 1929 г. Стр. 359. Ц. 2 р. 50 к.
- ДРОЗДОВ, А. Л.** — На мосту. Роман. 1929 г. Стр. 239. Ц. 1 р. 80 к.
- АЛТАЕВ, Ал.** — Бунтари в Сибири. Роман. 1929 г. Стр. 270. Ц. 2 р.
- УШАКОВ, М.** — Борьба. Роман. 1929 г. Стр. 290. Ц. 2 р. 25 к.
- ГОЛЬДБЕРГ, И.** — Путь, не отмеченный на карте. 1929 г. Стр. 253. Ц. 2 р.
- ШИШКОВ, Вяч.** — Цветки и ягоды. Шутейные рассказы. 1929 г. Стр. 249. Ц. 1 р. 80 к.
- ШИШКОВ, Вяч.** — Пурга. 1929 г. Стр. 263. Ц. 2 р.
- КУШНЕР, Борис.** — Южное сияние (очерки). С фотографиями. 1929 г. Стр. 124. Ц. 1 р. 20 к.
- КЕЛЛЕРМАН, Бернгард.** — По персидским караванным путям. О фотограф. 1929 г. Стр. 175. Ц. 1 р. 75 к.
- ФРАНС, А.** — Книга моего друга. Пьер Нозьер. 1929 г. Стр. 393. Ц. 2 р.
- ШУЛЯТИКОВ, А.** — Избранные литературно-критические статьи. 1929 г. Стр. 238. Ц. 2 р.
- ШТАНГЕЙ, В.** — Батрачка (биб-чка батрака). 1929 г. Стр. 45. Ц. 10 к.
- ГЛАДКОВ, Ф.** — Огненный конь. Повести и драмы. Изд. 4-е. 1929 г. Стр. 357. Ц. 2 р. 50 к.
- ГЛАДКОВ, Ф.** — Пьяное солнце. Повести и рассказы. 2-е издание. 1929 г. Стр. 393. Ц. 3 р. 25 к.
- НЕВЕРОВ, А.** — Лицо жизни. 4-е изд. 1929 г. Стр. 302. Ц. 1 р. 75 к.
- НЕВЕРОВ, А.** — Гуси-лебеди. Роман. 5-е изд. 1929 г. Стр. 247. Ц. 1 р. 70 к.
- НЕВЕРОВ, А.** — Черное и белое. 4-е изд. 1929 г. Стр. 282. Ц. 1 р. 75 к.
- НЕВЕРОВ, А.** — Авдотьяна жизнь. 4-е изд. 1929 г. Стр. 302. Ц. 1 р. 75 к.
- НЕВЕРОВ, А.** — Голод. 5-е изд. 1929 г. Стр. 230. Ц. 1 р. 75 к.
- ДРЕЙЗЕР, Ч. Т.** — Финансист. Роман. Пер. с англ. 2-е изд. 1929 г. Стр. 654. Ц. 3 р.
- МАК-КЕЙ, Клод.** — Домой в Харлем. Пер. с англ. 1929 г. Стр. 240. Ц. 1 р. 50 к.
- ГОЛОУОРСИ, Джон.** — Под тяжестью ярма. 1929 г. Стр. 210. Ц. 1 р. 25 к.
- МОИССАН, Г.** — Рассказы. Книга 5-я. Стр. 192. (Приложено к журналу «30 дней»).
- ИЗД. «КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»**  
**БЕРАНЖЕ.** — Полное собрание песен. Том 1. 1929 г. Стр. 128.
- ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СБОРНИК КРАСНОЙ ПАНОРАМЫ.** Март. 1929 г. Стр. 55.
- ШМИДТ, П. Ю., проф.** — Элементарная биология. Книга 1-я. 1929 г. Стр. 92.
- РЫМКЕВИЧ, П. А.** — Элементарное введение в физику. Кн. 1-я. Стр. 87.
- ГОС. ИЗД.**
- МОЛЬЕР.** — Избранные комедии. Ред. и комментарии Вл. Филиппова. 1929 г. Стр. 514. Ц. 2 р. 50 к.
- ИВАНОВ, Ис.** — Гибель железной и др. повести. (Собр. соч., том V). 1929 г. Стр. 300. Ц. 2 р. 50 к.
- ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, Н. Г.** — Литературное наследие. Том 2-й. Письма. Ред. и примеч. Н. Алексеева и А. Скаффынова. 1928 г. Стр. 606. Ц. 5 р. 75 к.
- ШЕВЧЕНКО, М. А.** — Нижнее Поволжье. (Экономич. география). 1929 г. Стр. 126. Ц. 1 р. 45 к.
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.** — Апрель. № 8. 1929 г. Стр. 110.
- КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.** — Май. № 9. 1929 г. Стр. 109.
- СЕРГИЕВСКИЙ, Н. Л.** — Партия русских соц.-демократов. Группа Благоева. (Ист. парт). 1929 г. Стр. 179. Ц. 1 р. 25 к.
- РЕЙОНЕР, М.** — История политических учений. Том 1. 1929 г. Стр. 453. Ц. 4 р. 25 к.
- «ПРИБОЙ»**  
**ШИЛИН, Г.** — Страшная Арват. (Совр. пролет. литер.). 1929 г. Стр. 218. Ц. 1 р. 20 к.
- ФОРШ, О.** — Под куполом. (Рассказы). Стр. 245. Ц. 2 р.
- ЕЛПАТЬЕВСКИЙ, С. Я.** — Воспоминания. За 50 лет. 1929 г. Стр. 397. Ц. 3 р. 65 к.
- КИПЕРМАН, Я. Е.** — Спутник читателя. Предметно-гемагитический указатель художеств. литературы. Стр. 520. Ц. 3 р. 50 к.
- КАЗАКОВ, М.** — Полтора хамы. Повести и рассказы. 1929 г. Стр. 357. Ц. 2 р. 70 к.
- «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»**  
**СТОНОВ, Д.** — Семья Раскиных. Роман. 1929 г. Стр. 277. Ц. 2 р. 25 к.
- КЕЛЛЕР, В. А., проф.** — По Швеции и Норвегии. Впечатления путешественника. С рис. 1929 г. Стр. 66. Ц. 45 к.
- БАХ, А.** — Записки народо-вольца. 1929 г. Стр. 253. Ц. 1 р. 65 к.
- «ФЕДЕРАЦИЯ»**  
**ЛАПИН, Борис.** — Повесть о стране Памир. 1929 г. Стр. 188. Ц. 1 р. 40 к.
- МАРКОВ, Сергей.** — Голубая лисица. Рассказы. 1929 г. Стр. 125. Ц. 75 к.
- СОКОЛОВ-МИКИТОВ, Ив.** — Собр. соч., том 2-й. Повести и рассказы. 1929. Стр. 322. Ц. 2 р. 30 к.
- БУРМАНТОВ, Евг.** — Смерть Уара. Историч. роман. 1929 г. Стр. 391. Ц. 2 р. 95 к.
- ПАВЛЕНКО, Петр.** — Азиатские рассказы. 1929 г. Стр. 291. Ц. 1 р. 55 к.
- ПЕРЕГУДОВ, А.** — Половое Рассказы. 1929 г. Стр. 179. Ц. 1 р. 30 к.
- ВЕЗЬМИНСКИЙ, А.** — Стихи о Ленине. 1929 г. Стр. 80. Ц. 1 р.
- ЛУГОВОСКИЙ, Вл.** — Мускул. Вторая книга стихов. 1929 г. Стр. 119. Ц. 1 р. 60 к.
- РАЗНЫХ ИЗДАТЕЛЬСТВ**  
**УЗВЫШША, № 3.** Часовое Мекс. Стр. 105. Ц. 80 к.
- НА РУБЕЖЕ ВОСТОКА** — литерат. ежемесячник закавказской ассоциации пролет. писателей. № 4. Изд-во «Заря Востока». Стр. 104. Ц. 50 к.
- LA REVUE MARXISTE.** № 3 Paris. Стр. 258 — 383.
- EVOLUTION.** № 40. Avriil. 1929 г. Стр. 64.
- РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВЕТСКОЙ ШКОЛЕ.** № 1. 1929 г. Изд. «Работник Провещения». Стр. 175. Ц. 2 р.
- КНИГА В ПОМОЩЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМУ СОРЕВНОВАНИЮ.** — Рекомендательный указатель книг по вопросам индустриализации СССР. Изд. ИОПС. Стр. 84. Ц. 40 к.
- РЕВОЛЮЦИОННАЯ ПОЭЗИЯ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ.** Пер. под ред. Б. Турганова. Изд. АРП. 1929 г. Стр. 45. Ц. 40 к.
- ПОПОВА, О. И.** — А. С. Грибоедов в Персии 1818—1823 гг. (по новым документам). С рис. и автографами. Изд. «Жизнь и Знание». 1929 г. Стр. 122. Ц. 1 р. 50 к.
- ДЕНИОЕНКО, Н.** — Завещание мистера Гуча. Изд. АРП. Киев. 1929 г. Стр. 95. Ц. 55 к.